АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

3

МАЙ—ИЮНЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА—1975

СОДЕРЖАНИЕ

Р. А. Будагов (Москва). Что такое общественная природа языка? . . . 3
В. З. Панфилов (Москва). Роль естественных языков в отражении действительности и проблема языкового знака 27

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ф. П. Филин (Москва). Некоторые вопросы функционирования и развития русского языка 40
Н. А. Сыромятников (Москва) Как отличить заимствования от исконных общностей в алтайских языках? 0
А. В. Филиппов (Пушкино, Моск. обл.). О косвенно-прямых знаках и описательных обозначениях в языке и других коммуникативных системах 62
С. И. Кокорина (Москва). О реализации структурной схемы предложения 73

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. И. Лыткин (Москва). Пермско-иранские языковые контакты 84
В. Г. Гузев, Д. М. Насилов (Ленинград). К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках 98
К. В. Ломтатидзе (Тбилиси). К вопросу о природе сонантов и об их коррелятивных парах 112
Н. Г. Михайловская (Москва). К проблеме нормы древнерусского языка 119

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Л. Г. Герценберг (Ленинград). Новые работы о диалектах индоевропейских языков в СССР 128
В. А. Белошапкова (Москва). «Otázky slovanské syntaxe», III . . . 130
В. И. Болотов, С. И. Зинин (Ташкент). *А. В. Суперанская.* Общая теория имени собственного 134
А. И. Чобану (Кишинев), *Н. Г. Корлэтяну.* Исследование народной латыни и ее отношений с романскими языками 136

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 141

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

О. С. Ахманова, Р. А. Будагов, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *О. Н. Трубачев, Ф. П. Филин* (главный редактор), *В. Н. Ярцева*

Адрес редакции: 103031 Москва, К-31, Кузнецкий мост, д. 9/10. Тел. 228-75-55

Зав. редакцией *Г. В. Строкова*

© Издательство «Наука»,
«Вопросы языкознания», 1975 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

Р. А. БУДАГОВ

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИРОДА ЯЗЫКА?

1

Лингвисты часто прибегают к словам, выражениям и формулировкам, которые кажутся старыми и общеизвестными, само собою разумеющимися. Между тем в действительности их сущность нередко оказывается нераскрытой, а то и неправильно понятой. В свое время классики марксизма прекрасно показали общественную природу языка. Позднее об этом же по разному поводу убедительно писал и В. И. Ленин. Однако с тех пор прошло немало времени и тезис об общественной природе языка постепенно стал не столько исследоваться, сколько декларироваться. Его можно найти в любом учебнике по языкознанию, во многих статьях и брошюрах. При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что этот тезис выдвигается либо как стандартная преамбула, с которой в дальнейшем изложении мало считаются, либо сводится к отдельным «социально окрашенным словам и выражениям». Чаще же всего проблема общественной (социальной) природы языка сводится лишь к «внешним условиям его бытования» и тем самым объявляется проблемой по существу своему нелингвистической.

Разумеется, имеется немало специальных исследований (среди них встречаются и превосходные), которые посвящены социальному осмыслению отдельных категорий и «пластов» конкретных языков, прежде всего их лексики и семантики, их стилистической норме. Подчеркивая всю важность подобного рода разысканий, я хочу заметить, что их авторы не всегда стремятся показать, в каком отношении социальная обусловленность отдельных «пластов» языка находится к общей социальной детерминации языка и в какой степени эта последняя затрагивает не только внешние «формы бытования языка», но и сущность самого языка, условия его функционирования в обществе. С этой точки зрения проблема общественной природы языка оказывается все еще очень слабо изученной.

Специальное исследование социальной обусловленности языка началось в советской лингвистике уже в двадцатые годы нашего столетия (целый ряд книг, статей и очерков). В американском языкознании эта же проблема, ныне обычно именуемая проблемой социолингвистики (sociolinguistics) возникла на тридцать лет позднее, в пятидесятых годах, о чем писал, в частности, американский лингвист В. Брайт [1]. Попытаемся

[1] См. сб. «Sociolinguistics» ed. by W. Bright, The Hague, 1966. Возникновение термина «социолингвистика» Брайт относит к 1952 г. (стр. 11). С тех пор в Америке и Западной Европе вышло немало сборников социолингвистического характера. См., в частности: «Aspekte der Soziolinguistik», hsg. von W. Klein und D. Wunderlich, Frankfurt am Main, 1971. Весьма любопытен и исторический обзор: F. Helgorsky, La sociolinguistique aux États-Unis et en France, «Le français moderne», 1973, 4, стр. 387—409. Его автор прямо заявляет: «До сих пор не существует теории отношений между языком и обществом» (советские работы на эту тему остались составителю неизвестными). По мнению одного из чешских языковедов, социолингвистика наших дней характеризуется «...скорее набором проблем...», чем прочно устоявшейся дисциплиной

обратить внимание, вокруг каких социолингвистических вопросов ведутся особенно горячие споры в наше время.

Начиная с двадцатых годов минувшего века, не прекращаются острые дебаты по вопросу о том, как следует понимать общественную природу языка. Уже у первых компаративистов возникли колебания: является ли язык биологическим феноменом или его природа обусловлена социально? Такого рода колебания наблюдались у Ф. Боппа. Ему казалось, что язык является прежде всего «биологическим организмом», который «управляется механическими законами» (предисловие автора к его «Системе спряжения в санскрите», 1816). Позднее аналогичные колебания были и у А. Шлейхера, еще позднее у младограмматиков. В 1863 г., в эпоху всеобщего увлечения естествознанием, А. Шлейхер публикует специальную работу «Теория Дарвина и наука о языке», которая в следующем 1864 г. была издана в России в анонимном переводе на русский язык [2].

К наукам о природе относил лингвистику философ и социолог Г. Спенсер. В двадцатом столетии даже такому выдающемуся лингвисту, как Г. Шухардт, казалось, что языкознание по своему материалу относится к наукам о природе и лишь по методу — к наукам гуманитарным [3]. Уже в нашу эпоху к этому взгляду близок Э. Бенвенист, а несколько раньше об этом же подробно писал Э. Кассирер, настойчиво подчеркивавший, что положение языкознания в системе естественных и общественных наук нуждается в пересмотре [4].

Подобного рода краткая справка показывает, насколько сложна проблема общественной природы языка. Всем хорошо известно, что люди говорят с помощью языка. Между тем само существительное *язык* во многих языках мира уже с древнейших времен имело по крайней мере два разных значения, впоследствии ставших словами-омонимами: *язык* — подвижный мышечный орган в полости рта и *язык* — средство коммуникации между людьми, средство выражения их мыслей и чувств, система звуковых, лексических и грамматических средств. Создавалось убеждение, что значение первого слова *язык* обусловлено биологически и физиологически, значение же второго слова — и биологически, и социально, так как звуки, без которых не может существовать ни один язык в значении второго существительного, детерминированы прежде всего физиологически. Действительно, язык как средство общения и выражения наших мыслей и чувств оказывается прежде всего общественным феноменом, тогда как язык как мышечный орган подлежит изучению в первую очередь в биологии и физиологии. Это нисколько не мешает языкознанию — науке о языке как средстве общения — считаться с физиологическим устройством языка как мышечного органа, со звуками речи, особенности которых во многом обусловлены физиологическим устройством именно данного мышечного органа человека, расположенного в полости рта.

Но само признание общественной природы языка еще мало о чем говорит. Весь вопрос в том, к а́ к и с т о л к о в ы в а е т с я общественная природа языка и какие выводы делает исследователь из самого факта

с собственным предметом исследования...» (И. К р а у с, К общим проблемам социолингвистики, ВЯ, 1974, 4, стр. 27). В настоящее время американская «Социологическая Ассоциация» стала выпускать «Sociolinguistics newsletter».

[2] А. Ш л е й х е р, Теория Дарвина и наука о языке, СПб., 1864.

[3] «Hugo Schuchardt-Brevier», 2 Aufl., Halle, 1928, стр. 334 и сл. Колебания часто наблюдались и в других гуманитарных науках. В свое время «И. Тэн и Ф. Брюнетьер были настолько опьянены успехами естественных наук», что стремились применять методы изучения этих наук к истории и теории литературы (Г. Л а н с о н, Метод в истории литературы, пер. с франц., СПб., 1911, стр. 19).

[4] E. C a s s i r e r, Structuralism in modern linguistics, «Word», 1945, 2, стр. 111.

подобного признания. Такое признание может остаться пустой фразой и не оказать почти никакого воздействия на принципы и приемы исследования языка.

Обычно считается, что французский лингвист А. Мейе был в числе первых ученых, кто последовательно и настойчиво защищал социальную природу языка. В статье, впервые опубликованной в 1906 г., Мейе всячески подчеркивал этот тезис. «Язык,— писал он,— это явление в высшей степени социальное... Задача лингвистики заключается в том, чтобы показать, как та или иная структура языка взаимодействует с той или иной структурой общества» [5]. Мейе понимал: первое положение иллюстрировать гораздо легче, чем второе. Самому Мейе так и не удалось обнаружить взаимодействие между социальными и лингвистическими структурами, хотя к этому вопросу он неоднократно возвращался, в особенности в очерке истории греческого литературного языка [6].

Нет ничего удивительного, что на этом пути А. Мейе подстерегала неудача. Вопрос был поставлен максималистски. Получалось так, будто бы ученый обязан либо обнаружить параллелизм между «социальными и лингвистическими структурами», либо тезис о социальной природе языка остается лишь общим постулатом, за которым совсем необязательно следовать в процессе конкретных лингвистических разысканий. Подобное «либо — либо» оказалось необоснованным. Положение о социальной природе языка можно успешно развивать на конкретном лингвистическом материале и без принятия положения об особом соответствии между социальной структурой общества и грамматической структурой языка. На мой взгляд, именно в этом неразграничении была ошибка А. Мейе — выдающегося исследователя почти всех индоевропейских языков мира.

Что же касается первого тезиса Мейе («язык — явление в высшей степени социальное»), то сам по себе он не был оригинален, так как широко встречался уже и в прошлом столетии, в особенности у русских ученых. В 1849 г., в частности, И. И. Срезневский в своих «Мыслях об истории русского языка» подчеркивал: «Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем. Народ и язык, один без другого, представлен быть не может... Народ действует; его деятельностью управляет ум; ум и деятельность народа отражаются в языке его» [7].

Подобные признания встречались и встречаются у многих выдающихся лингвистов как прошлого, так и нынешнего века. Гораздо труднее оказалось другое: перейти от общих положений («язык — явление в высшей степени социальное», «народ и язык неразрывны») к их конкретному исследованию или к тому, что Мейе не совсем удачно назвал взаимодействием «общественных и лингвистических структур». В другой формулировке проблема сохраняется и в наше время: ученые обязаны показать, как следует понимать слишком общий тезис о социальной природе языка применительно к его разным сферам и уровням — к лексике, грамматике и стилистике, к норме и ее вариантам и т. д. Здесь-то и возникают серьезные трудности. Рождаются расхождения между самыми различными учеными и в способах подхода к проблеме, и в ее освещении.

---

[5] A. Meillet, Linguistique historique et linguistique générale, Paris, 1926, стр. 16—18. Впервые общественная природа языка была показана и научно обоснована в 1846 г. К. Марксом и Ф. Энгельсом в их совместно написанном исследовании «Немецкая идеология». По-своему понимали общественный характер языка многие выдающиеся русские филологи прошлого столетия.

[6] A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, Paris, 7 éd., 1965, стр. 119—131.

[7] И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, М,. 1959, стр. 16—17.

Уже в начале нашего столетия социолингвистика должна была осмыслить сразу две и, как до сих пор обычно считают, во многом различные проблемы: с одной стороны, надо было показать особенности общих социологических вопросов в науке о языке, а с другой — обнаружить и очертить контуры внутренних тем, характерных для самой этой науки в отличие от других наук, тоже занимающихся изучением общества и человека. Учитель А. Мейе Ф. Соссюр окончил свой знаменитый «Курс» такими словами: «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассмотренный в самом себе и для себя» [8]. Подобная концовка резко осложняла всю постановку проблемы социологических аспектов языка. Оказывалось совершенно неясным, как же может лингвистика ограничиться изучением языка «в самом себе и для себя», если сам язык является феноменом «в высшей степени социальным» и служит средством общения между людьми? Между тем Соссюр не только сформулировал подобный противоречивый тезис, но и настаивал на том, что никаких других научных задач у лингвистики нет и не было («единственный и истинный объект лингвистики»). Социолингвистика, не успев окрепнуть, сразу же оказалось в трудном положении.

2

Поиски специфики языка прямо столкнулись с попытками истолкования социальной природы языка. Это столкновение, очевидное уже у Соссюра, стало еще более очевидным у многих зарубежных лингвистов тридцатых и сороковых годов нашего столетия. Так, например, Л. Ельмслев стал «освобождать» лингвистику от филологии и от истории. Ему казалось, что именно эти сферы человеческого знания мешают лингвистике превратиться в самостоятельную науку [9]. Строгое разделение синхронии и диахронии, подробно обоснованное Соссюром и сыгравшее известную положительную роль в привлечении внимания к современным языкам мира, к их структуре и бытованию в определенную историческую эпоху, вместе с тем, при одностороннем истолковании самого принципа «синхрония абсолютна», стало играть и отрицательную роль: структура языка приходила в столкновение с общественными функциями языка, присущими ему органически.

Вопрос ставился так, будто бы язык и общество антагонистичны, поэтому специфику языка надо искать з а п р е д е л а м и его общественных функций. Никто не формулировал вопроса иначе: н е о б р а з у ю т л и о б щ е с т в е н н ы е ф у н к ц и и я з ы к а с п е ц и ф и к у с а м о г о я з ы к а? Ведь язык существует лишь в обществе, он служит людям, живущим в обществе. Почему же его специфику надо искать за пределами его общественных функций? Создавалось впечатление, что тезис об общественной природе языка — это всего лишь фраза, за которой ничего не следует и которая ни к чему не обязывает. До сих пор никто не ставил вопроса иначе: нет ли в общественных функциях языка специфики самих общественных категорий, не приобретают ли эти последние определенное своеобразие на лингвистическом уровне? Быть может, общественное «начало» и языковое «начало» соотносятся не только в плане «внешнего» и «внутреннего», но и в ином плане, при котором «внеш-

[8] «Курс общей лингвистики», М., 1933, стр. 207. Споры вокруг этой знаменитой концовки соссюровского «Курса» проанализированы в комментарии итальянского знатока Соссюра Тульо де Мауро: F. de S a u s s u r e, Cours de linguistique générale. Édition critique préparée par T. de Mauro, Paris, 1973, стр. 476—477.

[9] L. H j e l m s l e v, Prolegomena to a theory of language, Baltimore, 1953, § 57.

нее» способно выступать как «внутреннее», а «внутреннее» находит свое «внешнее» выражение? На мой взгляд, именно так происходит в действительности, в реальных национальных языках. Поэтому так следует ставить вопрос и в науке о языке.

Между тем одностороннее противопоставление внешнего (социального) и внутреннего (языкового) характерно для большинства лингвистов как у нас в стране, так и за рубежом. Приведу пока только один пример, но весьма типичный.

Исследуя историю существительного *цивилизация*, Э. Бенвенист объясняет причину позднего появления этого слова, без которого людям нашего времени трудно представить историю культуры. Слово *цивилизация* (*civilisation*) возникает во Франции лишь в 1757 г. По мнению французского ученого, столь позднее появление этого слова определяется двумя причинами: во-первых, тем, что суффикс *-isation* в ту эпоху был мало продуктивен (существительные типа *organisation* исчислялись единицами), и, во-вторых, новизной самого понятия *цивилизация* [10]. Здесь очень характерна последовательность причин: сначала непродуктивность суффикса, а затем «новизна понятия» (*la nouveauté de la notion*). Между тем, если верен тезис, согласно которому «язык — явление в высшей степени общественное», тогда неверна сама последовательность причин позднего появления того или иного слова, в нашем случае — *цивилизации*. Малая продуктивность данного суффикса смогла бы задержать появление существительного *цивилизация* лишь при условии отсутствия самой общественной потребности в подобного рода наименовании. При наличии же подобной потребности никакая «малая продуктивность суффикса» не смогла бы задержать возникновения в языке столь важного слова, как *цивилизация*. Если анализируемого суффикса в словообразовательной системе языка не было бы вовсе, то существительное оформилось бы иначе, с помощью другого суффикса. Как общее правило, не суффиксы регулируют появление новых слов, как получается у Бенвениста, а общественные потребности в подобных словах. Суффиксы же п о д ч и н я ю т с я э т и м п о т р е б н о с т я м: если нельзя воспользоваться одним из суффиксов, на помощь приходят другие суффиксы, другие ресурсы словообразовательной системы языка.

Рассуждение Э. Бенвениста представляется тем более антисоциальным, что до возникновения *civilisation* язык уже располагал образованиями типа *organisation*, *fertilisation*, *thésaurisation* и некоторыми другими. И все же исследователь подчеркивает, что именно «суффиксальные затруднения» задерживали появление такого важнейшего слова, каким оказалось слово *цивилизация*. Ошибочность подобных рассуждений очевидна: все социальное в языке относится к «внешним факторам» его бытования и поэтому оказывается будто бы «менее существенным» для внутренней жизни самого языка. Материал многих языков опровергает подобное заключение.

Противопоставление внешних и внутренних факторов в теории и истории языка сыграло роковую роль в процессе истолкования общественной природы языка. Все социально обусловленное в языке исследователи относят к внешним факторам и тем самым выводят проблему социальной обусловленности языка за пределы лингвистики. При этом не учитывается, что, как любил подчеркивать Гегель, внешнее на одном этапе развития может выступать как внутреннее на другом его этапе, точно так же,

[10] É. B e n v e n i s t e, Problèmes de linguistique générale, Paris, 1966, стр. 340. Об истории слова *цивилизация* см.: Ю. С. С т е п а н о в, Слова *правда* и *цивилизация* в русском языке, ИАН ОЛЯ, 1972, 2, и специальную главу в моей книге «История слов в истории общества», М., 1971, стр. 108—133.

как внутренние факторы в состоянии трансформироваться во внешние факторы в процессе движения [11].

Не так давно авторы коллективной монографии «Русский язык и советское общество» сделали попытку преодолеть одностороннее и метафизическое противопоставление «внешнего и внутреннего» в функционировании языка. Составители этой монографии правильно отметили, что «...внутренние двигатели развития языка социально отнюдь не инертны», но значение этого положения тут же было сведено на нет утверждением: «Выражения „социальные факторы", „внеязыковые факторы", „внешние факторы"... употребляются как синонимические» [12]. После этого вопрос о том, как же следует понимать положение о социальной сущности внутренних закономерностей языка, остался, разумеется, без ответа. Сближение «внутреннего» и «социального» понадобилось авторам лишь для общей декларации, для того, чтобы тут же опровергнуть самую возможность подобного сближения.

На мой взгляд, тезис — внутренние закономерности развития языка, как и все другие его закономерности, остаются в конечном счете социальными — является основным тезисом, без правильного и глубокого понимания которого невозможна сама постановка вопроса об общественной природе языка. Между тем до наших дней этот тезис остается почти совершенно не обоснованным и материал, к нему относящийся, все еще почти совсем не изученным.

3

Еще в 1888 г. Поль Лафарг в своих ярких очерках «Французский язык до и после революции», вызвавших одобрение Ф. Энгельса [13], стремился показать, как повлияла французская революция 1789—1793 гг. на французский язык той же эпохи. Лафарг опирался главным образом на материал лексики (новые слова, новые значения старых слов, новые словосочетания), хотя выводы свои строил в общем плане, подчеркивая глубокие изменения всего языка, а не только его лексики. Получалось так: революция в общественном строе сопровождалась революцией в области языка. Но как в таком случае следует осмыслять революцию языка? Французы после 1793 г. говорили на языке, на котором они изъяснялись и в середине восемнадцатого века. Допустимо ли изменения в лексике отождествлять с изменениями всего языка, в том числе и его грамматического строя? Блестяще написанная и интересная по материалу, работа Лафарга все же не давала ответов на эти вопросы [14].

Эта проблема очень важна, в частности и потому, что она до сих пор выдвигается учеными, желающими подчеркнуть чисто внешний характер влияния всяких общественных факторов, в том числе и социальных революций, на язык. Совсем недавно тот же Э. Бенвенист повторил пример, неоднократно встречавшийся и до него у других исследователей. Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 г. в России привела к

[11] Г. Гегель, Соч., 5, М., 1937, стр. 629.

[12] См.: «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка». М., 1968, стр. 34.

[13] См. письмо Ф. Энгельса к П. Лафаргу от 11 апреля 1888 г. Идеи П. Лафарга попытались дальше развить: К. Н. Державин, Борьба классов и партий в языке Великой французской революции, «Язык и литература», II, 1, Л., 1927; Р. А. Будагов, Развитие французской политической терминологии в XVIII веке, Л., 1940.

[14] Задолго до Лафарга о «революции в языке» писал Виктор Гюго в своем знаменитом стихотворении «Ответ на обвинение» (1834). Здесь неравенство между классами общества прямо сравнивалось с неравенством слов в языке. До 1789 г. «слова высокого и низкого происхождения жили замкнутыми кастами» (В. Гюго). Но и у великого поэта речь здесь шла только о словах и их значениях, но не о языке в целом.

изменению всего общественного строя в нашей стране. Ну а язык?— спрашивает Бенвенист. И отвечает: язык остался прежним, возникли лишь отдельные новые слова [15].

На первый взгляд аргументация Бенвениста кажется неотразимой. Между тем она ошибочна, поверхностна. Конечно, и после 1917 г. русский язык продолжал оставаться, как он продолжает оставаться и теперь, «языком Пушкина и Льва Толстого». Этот язык «велик и могуч». Нельзя, однако, при этом не видеть глубокой зависимости языка от общественного строя. Что произошло с русским языком после Октября 1917 г.? Проблема не сводится только к лексике, как считают Бенвенист и большинство других ученых. Прежде всего, глубоко изменилось отношение людей к своему литературному языку, стало постепенно меняться и положение литературного языка в его взаимодействии с народной речью, диалектами и жаргонами, сама норма литературного языка (при всей ее подвижности) стала доступной более широкому кругу говорящих на данном языке людей. Все это факторы, как и многие другие, отнюдь не внешние по отношению к языку: изменились социальные условия жизни общества — изменились сфера и характер функционирования языка, в первую очередь — литературного языка.

Я глубоко убежден в неправомерности обычной постановки вопроса: нет существенных изменений в грамматическом строе языка, следовательно, нет изменений в языке вообще, все остальное, относящееся к языку, будто бы несущественно и третьестепенно. Нет, сфера функционирования языка и характер подобного функционирования не менее существенны для языка, чем «все остальное». Условия же функционирования языка, его различные стили и «варианты стилей» определяются условиями жизни общества, т. е. социальными факторами.

Разумеется, нельзя недооценивать и лексики. Обычно, когда говорят о влиянии социальных событий на язык, имеют в виду возникновение новых слов. Однако еще важнее другое: возникновение огромного количества новых значений у старых слов, формирование новых словосочетаний, изменения в соотношении между разговорной и письменной речью, вторжение «просторечия» в сферу литературного языка и многое другое. Во всем этом легко убедиться, если сравнить, например, состав четырехтомного «Толкового словаря русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (1935—1940) с составом любого толкового словаря, опубликованного до 1917 г.

Социальные импульсы языка обнаруживают себя даже тогда, когда сами они дают о себе знать как бы в обратном отношении к импульсам собственно языковым. Один из испанских диалектологов показал, что в Андалусии, где социальные контрасты в обществе выражены особенно резко, не наблюдаются столь же очевидные контрасты в речи. И наоборот: где речевые контрасты выступают более отчетливо, там социальная дифференциация приобретает более «умеренные формы». Социальная дифференциация общества в известных случаях как бы «погашает» дифференциацию речевую [16]. «Перекличка» общества и языка выступает здесь со знаком минус. Но даже и в этом случае, несмотря на минусовый показатель, воздействие социальных факторов на язык очевидно. Во всяком обществе, в том числе и в классовом, обычно борются тенденция к объединению и тенденция к дифференциации (социальной, «духовной», языковой, индивидуальной, профессиональной). Столкновение этих тен-

[15] É. Benveniste, Structure de la langue et structure de la société, сб. «Linguaggi nella società e nella tecnica», Milano, 1970, стр. 18.

[16] См. об этом: Г. В. Степанов, Социально-географическая дифференциация испанского языка Америки на уровне национальных вариантов, сб. «Вопросы социальной лингвистики», Л., 1969, стр. 298.

денций приводит к самым различным результатам в зависимости от характера данного общества и особенностей исторической эпохи.

Как видим, расширение сферы влияния различных социальных факторов на язык не должно привести к упрощению самого понимания взаимодействия между общественными и языковыми категориями. Взаимодействие может быть весьма различным, и само несходство в этой области должно стать предметом тщательных конкретных исследований.

Отметим еще одно типичное осложнение на пути изучения проблемы. Известно, что многие диалектные членения старых индоевропейских языков часто совпадали в древности с феодальными границами. Между тем подобные совпадения наблюдались отнюдь не всегда, в частности, в истории славянских языков. Границы тех и других членений могли расходиться и осложняться [17]. Из самого факта подобного рода расхождений (несовпадений) можно сделать два противоположных вывода: либо вовсе отвергнуть зависимость диалектного членения от членения социального, либо, учитывая подобные несовпадения, попытаться их осмыслить и показать, что процесс непрерывного взаимодействия тех и других факторов время от времени приводит к их же осложнению: социальное «перехлестывает» языковое (в данном случае диалектное), а языковое иногда «не дотягивает» до социального. И все же сами эти расхождения обнаруживают социальную природу языка. Она дает о себе знать подобными «перетяжками» и «недотягиваниями». Если социальные и лингвистические границы не совпадают, то, как правило, именно социальные причины и объясняют такие несовпадения. К сожалению, и эта проблема все еще очень мало изучена, хотя отдельные лингвисты уже делали попытки в ней разобраться на конкретном языковом материале.

Распределение тех или иных ресурсов языка тоже детерминируется социально. Один из исследователей уже обратил внимание на то, что арготические слова особенно часто появляются в тех случаях, когда процесс труда протекает плохо, а изделия этого труда получаются недоброкачественными. У наборщиков недоброкачественный набор называется *мухой*, а у бухгалтеров о плохо составленных расчетах говорят, что они *не танцуют*, *не пляшут*, что они *разъехались*. Нелюбимую учительницу (плохие результаты труда) Наталью Михайловну школьники могут назвать *Натмихом* и т. д. Широко известны аналогичные явления и в других языках [18].

Здесь мы встречаемся с новым осложнением. Многие филологи утверждают, что в эпоху научно-технической революции язык утрачивает свое единство. Каждый большой национальный язык распадается на множество разных языков. Один из известных западногерманских лингвистов так и пишет: «Каждый язык — это собственно конгломерат языков» [19]. С аналогичной точкой зрения встречаемся и у других исследователей. Сторонники подобной концепции, однако, не объясняют, как же один язык может заключать в себе множество языков? В каких значениях выступает здесь слово *язык* в первом и во втором случаях? Разумеется,

[17] Ф. П. Филин, Происхождение русского, украинского и белорусского языков, Л., 1972, стр. 626—630; «Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров», под ред. В. Г. Орловой, М., 1970.

[18] Д. С. Лихачев, Арготические слова профессиональной речи, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка», М., 1964, стр. 353 и сл.

[19] «Jede Sprache ist ein Konglomerat von Sprachen» (M. Wandruszka, Interlinguistik. Umrisse einer neuen Sprachwissenschaft, München, 1971, стр. 8). Несколько дальше этот же автор подчеркивает «многоязычность внутри нашего родного языка» («Mehrsprachigkeit innerhalb unserer Muttersprache», стр. 123).

научно-техническая революция осложняет само понятие единства языка: в литературный язык постоянно вливается большое количество новых слов, возникающих в разных областях науки и техники, старые слова приобретают новые значения, формируются новые словосочетания, особые синтаксические построения (в частности, номинативные предложения), изменяется соотношение между стилями языка, в особенности — между интонациями разговорной и письменной речи и т. д. Все это бесспорно. Но все это не дает никаких оснований для того, чтобы говорить о «разных языках в одном языке» или о «конгломерате языков в каждом отдельном языке».

В действительности подобные различия, сами по себе важные и интересные, никогда не разрывают единства общенационального языка, имеющего длительную традицию. Во всех подобных случаях надо говорить, разумеется, не о разных языках в одном языке (contradictio in adjecto), а о вариантах единого языка, о его функциональных расслоениях, о его многоаспектности и многогранности. Если бы вопрос решался иначе, то никакое понимание между людьми, говорящими на одном языке, было бы невозможным. Между тем и в эпоху научно-технической революции, как и раньше, люди, говорящие на одном языке, как правило, прекрасно понимают друг друга, несмотря на постоянные осложнения самого языка и его увеличивающуюся многоаспектность. Разумеется, если специалист в области математики или астронавтики будет беседовать на свои строго научные темы с неспециалистами в этих областях, последние многого не поймут. Но когда говорят о языке, разумеют прежде всего язык повседневных сношений между людьми, по отношению к которому терминология тех или иных научных дисциплин (при всей ее важности) выступает как низшее, находящееся в зависимости от высшего (общелитературного языка).

Известно, что современная наука становится все в большей и большей степени непосредственной производительной силой, необходимым фактором самого производственного процесса. Как же «откликаются» национальные языки разных народов на это важнейшее общественное явление?

Западногерманский лингвист Е. Косериу дает отрицательный ответ на подобный вопрос [20]. Он считает, что наука и техника совершенно иначе развиваются и изменяются, чем язык. Язык всегда традиционен, он связывает разные поколения людей. Наука и техника, напротив, революционны, они способны отрицать то, что еще совсем недавно казалось незыблемым. Поэтому могут быть с о в р е м е н н а я к у л ь т у р а и с о в р е м е н н а я т е х н и к а, но нельзя себе представить с о в р е м е н н ы й я з ы к. Такова логика рассуждений исследователя. На мой взгляд, Е. Косериу прав только в одном: язык действительно связывает различные поколения людей и дает возможность не только отцам понимать детей, но обычно сохраняет преемственность на протяжении многих веков. И все же язык не оказывается в стороне от науки и техники. Сама многоаспектность современных национальных языков народов мира обусловлена в значительной степени влиянием научно-технической революции, происходящей в обществе. Присмотримся, как это происходит.

4

Хорошо известно, что общественная природа языка обнаруживается прежде всего в лексике. И дело здесь не только в том, что в языке постоянно возникают новые слова. Как я только что отметил, не менее важно и

[20] E. C o s e r i u, Das Phänomen der Sprache und das Daseinverständnis des heutigen Menschen, Sonderdruck aus Heft 1—2 der «Pädagogischen Provinz», 1967, стр. 9.

другое: старые слова постоянно обновляются в своих значениях. Общественная природа языка здесь постоянно напоминает о себе двояким образом: и в создании собственно нового и в обновлении старого, в процессе приведения старого в соответствие с нуждами людей, живущих в обществе. Старое обновляется от одного присутствия нового. Ввиду того, что общественная природа лексики больше изучена, чем общественная природа других уровней языка, в последующих строках я вернусь к лексике лишь в особом ракурсе [21].

Здесь, однако, нельзя не опровергнуть одно, широко распространенное заблуждение. Часто вопрос ставится так: да, разумеется, лексика подвижна, лексика во многом социально обусловлена, но она не имеет прямого отношения к языку, выступающему как определенное структурное целое [22]. При всей кажущейся неотразимости подобных рассуждений в действительности они ошибочны. Во-первых, сама лексика «структурно оформлена», она существует лишь в системе того или иного языка. Во-вторых, структура языка для того, чтобы называться «языковой структурой», а не «структурой вообще», должна «наполняться» лексикой. В-третьих, наконец, критикуемое заключение покоится на одностороннем понимании внешнего и внутреннего в языке, при котором не учитывается их постоянное и глубокое взаимодействие. Поэтому тезис «лексика социальна, но структура языка антисоциальна» должен быть признан совершенно ошибочным. Дальше будет сделана попытка показать, что структура языка не может быть антисоциальной.

В самой лексике, однако, есть такие социальные аспекты, на которые обычно не обращают внимания. И если я не хотел бы говорить об очевидных социальных основах лексики, то об ее не столь очевидной социальной окраске необходимо сказать несколько слов.

В свое время А. Мейе заметил, что в глубоком прошлом все слова индоевропейских языков выступали либо в функции воздействия на окружающих людей (le mot-force) либо, и притом гораздо чаще, в более «спокойной» функции обозначения окружающих нас предметов и явлений (le mot-signe) [23]. Когда в языке Гомера существительное ὄπνος употреблялось и в значении «сна» и в значении «гипноза», то читатель сталкивался не только с обычной для языка полисемией, но и со стремлением говорящего оказать воздействие на слушателя, объяснить, какие силы могут вызвать явление сна. Известно, что подобного рода семантической палеонтологией интересовались в свое время многие выдающиеся ученые, в том числе Н. Я. Марр, Л. Леви-Брюль, Э. Кассирер и другие. В наши дни аналогичными вопросами стали заниматься главным образом историки первобытного общества и религии и гораздо меньше лингвисты. Как бы ни объяснять древнюю полисемию подобного рода (вопрос этот достаточно сложен), несомненно только одно: лексика естественных языков человечества социальна не только в ее настоящем состоянии, но и в ее прошлом. Что же касается самого положения о «слове-силе» и о «слове-знаке», положения о том, как, когда и почему

---

[21] Подробнее см.: Р. А. Будагов, Проблемы развития языка, М.—Л., 1965, стр. 41—53; несколько иначе в интересной книге: G. Matoré, L'espace humain, Paris, 1962, стр. 205—236.

[22] Так рассуждает, например, Ж. Мунен (G. Mounin, Clefs pour la sémantique, Paris, 1972, стр. 160—161).

[23] A. Meillet, Aperçu d'une histoire de la langue grecque, 7 éd., Paris, 1965, стр. 235 (первое издание этой книги вышло еще в 1913 г.). Развитие сходных идей: F. Paulhan, La double fonction du langage, Paris, 1929, стр. 17 и сл. См. новую постановку вопроса в монографии: И. М. Тронский, Вопросы языкового развития в античном обществе, М., 1973, стр. 103—120.

«выветриваются» одни слова и удерживают свое «наполнение» другие слова, то данный тезис еще станет предметом специальных углубленных разысканий в будущем. Даже такие «выветренные» названия, как собственные имена, обычно не случайны. Пушкин, например, успел закончить первую главу своего «Онегина», прежде чем окончательно остановился на имени *Евгений*:

Я думал уж о форме плана,
И как героя назову;
Покамест моего романа
Я кончил первую главу.

А как же быть с грамматикой? Если социальные аспекты лексики готовы признать те лингвисты, которым сама лексика представляется «чисто внешней сферой языка», то грамматику обычно не связывают с обществом. Больше того. Всякие попытки разобраться в общественных функциях грамматики заранее объявляются вульгарно-социологическими. Здесь действует тактика «упреждающего удара».

Между тем социальные аспекты грамматики, хотя и не столь очевидные, как в лексике, не менее существенны и важны для понимания общественной природы языка в его целостности.

Чтобы разобраться в этом, необходимо устранить одно широко распространенное заблуждение. Обычно рассуждают так: вы хотите связать падежи или предлоги со структурой общества? Разве вы не понимаете, что это самая настоящая вульгарная социология? Действительно, каждый, кто попытался бы связать падежи или предлоги, времена или наклонения непосредственно со структурой общества, не мог бы не оказаться по крайней мере в смешном положении. Здесь нет двух мнений. Но вопрос поставлен неправильно. Речь идет не о том, чтобы «связать» отдельные грамматические категории со структурой общества. Речь идет совсем о другом — о степени развития грамматических средств языка в разные исторические эпохи. Допушкинская грамматика русского языка располагала меньшими выразительными возможностями (в самом широком смысле), чем грамматика самого Пушкина и тем более грамматика после Пушкина. В этом общем плане «сдвиги» в грамматике русского языка были тесно связаны со «сдвигами» в культуре общества, с огромными успехами отечественной художественной литературы, науки и т. д. В этом же плане движение самой грамматики определенной эпохи выступает как движение социальное. Грамматика развивалась и совершенствовалась вместе с развитием языка, вместе с развитием культуры общества. Следовательно, дело не в том, «лучше» или «хуже» предлоги или падежи. Речь идет об общем направлении развития грамматики конкретного языка в конкретную историческую эпоху[24].

Само разграничение разговорной и письменной речи обусловлено прежде всего общественными причинами. Коммуникация в процессе разговора протекает во многом иначе, чем в процессе письма. Мы говорим не совсем так, как пишем, хотя и говорим и пишем на одном языке. Различия вариантов в пределах единого языка, оставаясь вариантами одного языка, все же остаются значительными. Между тем разговорная речь отличается от письменной не только своей лексикой, но и своей грамматикой (особенно синтаксисом), своими интонациями, всем своим

[24] В этой связи я хочу обратить внимание на прекрасную книгу Л. П. Якубинского («История древнерусского языка», М., 1953).

построением [25]. Если в разговорной речи широко представлены, например, номинативные конструкции, то они оказываются обусловленными особенностями самой разговорной речи, которая в свою очередь всегда детерминирована социально. Так через посредство ряда звеньев специфика синтаксических построений оказывается зависимой от специфики коммуникации. Общественная же обусловленность коммуникации в целом не может быть взята под сомнение.

Стремление переложить все социальные функции языка на лексику должно быть признано несостоятельным по многим причинам. Причины теоретического характера были подчеркнуты в предшествующих строках. Обратим теперь внимание на причины практического характера, связанные с анализом языкового материала.

Обычно считается, что лексика — показатель степени развития языка, что лексика всегда подвижнее грамматики. Нисколько не беря под сомнение подвижность лексики, я хочу подчеркнуть, что в определенные эпохи грамматика может быть социально более показательна, чем лексика. Русскими людьми первой половины XVIII в. церковнославянские элементы в морфологии воспринимались как более архаичные формы, чем сами церковнославянские слова, к которым уже успели привыкнуть. Формы именительного падежа единственного числа причастий мужского рода без суффиксального *щ* в настоящем времени и *ш* в прошедшем времени (типа *даяй*, *давый* и т. п.) были, по свидетельству многих современников, явно архаичными. В очерке русской грамматики, приложенной к немецко-латино-русскому словарю Вейссмана 1731 г., читаем: «Ныне всякий славянизм, особливо в склонениях, изгоняется из русского языка». Немного позднее, в 1747 г., об этом же писал и Тредиаковский в своем трактате об орфографии [26]. В эту эпоху морфология оказалась чувствительнее к разграничению понятий «старое — новое», чем лексика. Сами же эти понятия (старое — новое) относятся, разумеется, к сфере социального. Аналогичные явления наблюдаются и в истории других, самых разнообразных языков.

Общественные функции грамматики менее заметны, чем аналогичные функции лексики. Для того чтобы заметить влияние науки и научно-технической революции на формирование новых значений у слов типа, например, *спутник* («космический аппарат») или *головной* («ведущий в группе» — *головное* учреждение), не требуется никаких специальных знаний и нет необходимости в специальных разысканиях. Для того же, чтобы обнаружить социальную функцию таких, например, грамматических категорий, как категории рода или числа в разных языках мира, требуются и специальные знания и специальные разыскания.

В истории романских языков, в частности, категория грамматического рода была отчетливо обусловлена социально. При наименовании животных женский род оказывался маркированным лишь в тех случаях, когда соответствующее животное-самка играло в хозяйстве более заметную роль, чем животное-самец. Многочисленные примеры такого рода приводит Г. Рольфс в своей известной работе, посвященной лексической дифференциации романских языков. Разумеется, проблему эту нельзя упрощать, тем более вульгаризировать, но нельзя также не

---

[25] См., в частности: «Русская разговорная речь» под ред. Е. А. Земской, М., 1973; Н. А. Шигаревская, Очерки по синтаксису современной французской разговорной речи, Л., 1970; О. А. Лаптева, Изучение русской разговорной речи в отечественном языкознании последних лет, ВЯ, 1967, 1.

[26] См.: Г. О. Винокур, Русский литературный язык в первой половине XVIII века, в его кн.: «Избранные работы по русскому языку», М., 1959, стр. 126—127.

обращать на нее внимания, не замечать, игнорировать [27]. Социальные функции категории рода оказываются живыми не только в прошлом, но и в современном состоянии многих языков [28]. Mutatis mutandis то же следует сказать о социальных функциях других важнейших грамматических категорий, известных разным языкам мира.

Я меньше всего хочу создать такое впечатление, что общественные функции грамматики сводятся к сумме примеров: вот иногда категория рода социально обусловлена, а вот число, а вот модальность. Дело не в сумме примеров, а в грамматических функциях в целом. В последующих строках будет сделана попытка вернуться к этим целостным функциям грамматики. Сейчас же продолжу «серию примеров». Наши известные японисты — Н. И. Конрад и А. А. Холодович — в свое время писали об особом «социальном спряжении в японском языке», в котором выбор типа спряжения обусловливается не только тем, кто и к кому обращается, но и тем, идет ли речь об отношении «я к не-я» или «не-я к я» [29]. Совсем недавно В. М. Алпатов в своей монографии «Категория вежливости в современном японском языке» (М., 1973) убедительно показал, что многообразные «категории вежливости» имеют в японском языке не только лексические, но и отчетливо грамматические формы выражения. В связи с этим возникает и интереснейшая общелингвистическая проблема: то, что в одних языках передается преимущественно лексически, в других языках транспонируется грамматически. Соответственно могут укрепляться и расширяться социальные функции грамматики. Эта проблема в сравнительном плане до сих пор остается почти совсем не изученной [30].

5

Как я стремился показать, существует множество пониманий общественной природы языка. Если не сводить одно из таких пониманий к простой и ни к чему не обязывающей декларации — язык есть общественное явление,— то само признание подлинно общественной природы языка должно неминуемо вести к целому ряду других общих и специальных положений. Общественная природа языка означает, в частности, что язык самым тесным образом связан с самим обществом, с людьми, составляющими общество, живущими в нем. Известен старый эксперимент: в прекрасный солнечный день вы приходите в гости к вашему другу, у которого в квартире опущены все шторы. *Добрый вечер* — произносите вы, даже не замечая вашей ошибки. Ситуация встречи (действительность) подсказывает вам не *день*, а *вечер*.

Но такими примерами еще ничего не докажешь. Во-первых, говорящий мог и при опущенных шторах произнести *добрый день*, во-вторых — и это главное,— влияние ситуации на характер разговора, на выбор тех или иных слов и грамматических конструкций еще не раскрывает сложных взаимоотношений между языком и действительностью.

---

[27] G. Rohlfs, Diferenciación léxica de las lenguas románicas, Madrid, 1960, стр. 112; Ю. С. Степанов, От имени лица к имени вещи — стержневая линия романской лексики, сб. «Общее и романское языкознание», М., 1972, стр. 115—118.

[28] И. Ф. Протченко, О родовой соотнесенности названия лиц, сб. «Развитие грамматики и лексики современного русского языка». М., 1964; G. Wienold, Genus und Semantik, Meisenheim, 1967.

[29] Н. И. Конрад, Синтаксис японского языка, М., 1937, стр. 77—80; А. А. Холодович, Очерки по японскому языку, «Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, 10, 1946, стр. 173—177.

[30] Ср. в другой связи анализ «языкового существования в Японии» (см.: С. В. Неверов, Об одном направлении лингвистической науки в Японии, ВЯ, 1963, 6).

«Язык не отражает действительности», «язык прямо не связан с действительностью»— такого рода утверждения часто приходится встречать в работах современных лингвистов определенного направления [31]. При этом приводятся такие доводы: каждый язык по-своему «членит» окружающий нас мир. В одних языках имеется категория грамматического рода, в других ее нет совсем, в одних языках различается несколько прошедших времен, в других имеется лишь одно такое время или его нет совсем, в одних языках для понятия «братья и сестры» бытует особое слово (нем. *Geschwister*), в других подобного слова найти нельзя, а соответствующее понятие приходится передавать описательно; одни языки располагают десятками гласных фонем, а в других их только пять или еще меньше и т. д. На основе подобных данных часто делается ошибочный вывод: мир вещей и мир идей в том виде, в котором и те и другие передаются в языке, существуют параллельно и никак не взаимодействуют.

Если стоять на материалистических позициях, то с таким выводом никак нельзя согласиться. Каждый язык в самом деле имеет свои особенности и в фонетике, и в грамматике, и в лексике. Это хорошо известно каждому школьнику. И все же существует глубокое и постоянное взаимодействие между языком и действительностью, между «миром языка» и окружающим нас миром. Положение: каждый национальный язык по-своему «членит» окружающий нас мир [32] — может быть интерпретировано с двух противоположных точек зрения. В одном случае признается независимость языка от действительности (теоретически и практически неприемлемая концепция), а в другом устанавливается, что имеется как общая связь всякого естественного языка с действительностью, так вместе с тем и специфическая связь языка с действительностью, характерная для данной конкретной языковой системы и нехарактерная или менее характерная для другой языковой системы. Практика показывает, что именно эта последняя точка зрения соответствует истине, она подтверждается анализом языковых фактов и опирается на твердые основания.

Приведенный несколько раньше пример (*добрый вечер* — при свете яркого солнца) может быть интерпретирован и в пользу тезиса о связи языка с действительностью, и в пользу противоположного тезиса, согласно которому язык все терпит: можно сказать что угодно — и *добрый день*, и *добрый вечер*, и *слоеный день* или *неслоеный вечер*.

Справка из истории вопроса и здесь окажется нелишней. Уже в 1855 г. известный немецкий лингвист Штейнталь в первом издании своей книги «Грамматика, логика и психология» настаивал, что грамматика и логика не имеют между собой ничего общего. Поэтому, по убеждению Штейнталя, предложение *этот круглый стол четырехугольный* является совершенно правильным: в нем соблюдается правило грамматического согласования (стол *круглый*, а не *круглая*, *этот*, а не *эта* или *это*), правило грамматического определения существительного (*стол*) с помощью прилагательного (*круглый*) и т. д. И так как логическое и понятийное содержание предложения лингвиста интересовать «не может и не должно», то перед нами «прекрасная правильная фраза, выраженная с помощью данного языка» [33]. Поначалу аргументация Штейнталя кажется неотразимой: лингвист действительно занимается «формами грамматики». При более внимательном рассмотрении, однако, оказывается, что аргумента-

[31] См., например: A. M a r t i n e t, Éléments de linguistique générale, Paris, 1960, стр. 15.

[32] На этой основе строится, как известно, так называемая гипотеза Сепира — Уорфа.

[33] H. S t e i n t h a l, Grammatik, Logik und Psychologie. Ihre Principien und ihr Verhältnis zu einander, Berlin, 1855, стр. 220.

цию автора могут принять лишь те ученые, которые неправомерно истолковывают и существо грамматики, и общественную природу языка.

Штейнталь считал, что грамматика не знает категории значения, что ее область — это сфера «чистых форм». «Язык возник не из потребности в общении, а из потребности в самосознании» [34]. В этом ракурсе очевидно, что коммуникативное содержание предложения не может интересовать лингвиста, тем более, что и основа языка — грамматика — предстает перед нами лишь как сфера уже знакомых нам «чистых форм, не обремененных значением». Только в свете таких взглядов построение типа *этот круглый стол четырехугольный* может быть признано «прекрасной русской фразой» (resp. «прекрасной немецкой фразой»).

Эксперимент Штейнталя много раз повторялся в истории языкознания, как правило без ссылки на первоисточник. В 1897 г., почти через пятьдесят лет после Штейнталя, его воспроизвел Мишель Бреаль в своей книге «Опыт исследования семантики». Считая, что построения типа *четырехугольный круг* (*un cercle carré*) в языке возможны, Бреаль вместе с тем призывал проникнуть в содержание таких грамматических категорий, как род, число, артикль и т. д. Бреаль уже не согласен со Штейнталем (без ссылки на него), что грамматика оперирует лишь «чистыми формами». Само заглавие книги французского исследователя заставляло его обратиться к содержанию грамматических форм и категорий [35]. Бреаль оставил, однако, без ответа вопрос о том, какую коммуникативную функцию могут выполнять построения типа *четырехугольный круг*.

Почти через тридцать лет к эксперименту Штейнталя вернулся датский лингвист О. Есперсен. Построения типа *два плюс два пять* (*two and two are five*) ему казались «грамматически правильными, но лексически ошибочными» [36]. Как видим, Есперсен уже решительнее выступает против «прекрасной немецкой фразы» Штейнталя, хотя и предлагает весьма наивное решение: построения типа *два плюс два пять*, сохраняющие грамматическую правильность, кажутся исследователю ложными лишь в лексическом плане. Как и Бреаль, Есперсен, однако, не ставит вопроса о том, какую коммуникативную функцию могут иметь построения типа *два плюс два пять*. Через полтора десятка лет новое истолкование конструкций типа *четырехугольный круг* предложил итальянский ученый Бенедетто Кроче. Он внес в их интерпретацию новый критерий — эстетический. Признавая подобные конструкции «грамматически возможными», Кроче лишал их какой бы то ни было эстетической функции. Больше того. Подобные построения представлялись итальянскому философу «эстетически невозможными» [37]. И уже в наши дни советский лингвист И. Ф. Вардуль, вновь возвращаясь (без сносок на своих многочисленных предшественников) и вновь защищая представление о грамматике как сфере «чистых форм», стал утверждать, что сочетания слов типа *Волга впадает в Индийский океан* выступают в функции правильного русского предложения [38].

Такова краткая история проблемы грамматических построений типа *этот круглый стол четырехугольный*, *четырехугольный круг*, *дважды два пять* и т. д. Как мы видели, лингвисты разных философских ориентаций давали и дают разные ответы на вопрос о том, можно ли считать подоб-

---

[34] Там же, стр. 316, 360.

[35] M. B r é a l, Essai de sémantique, 6 éd., Paris, 1913, стр. 224.

[36] O. J e s p e r s e n, Mankind, nation and individual from a linguistic point of view, Oslo, 1925, стр. 116 («right grammatically, but lexically wrong»).

[37] B e n e d e t t o C r o c e, Probleme di estetica, Bari, 1940, стр. 173.

[38] И. Ф. В а р д у л ь, Об изучении семантического аспекта языка, ВЯ, 1973, 6, стр. 14—15.

ного рода конструкции «прекрасными русскими предложениями» или так считать нельзя. Диапазон разных ответов очень широк. Особенно важно подчеркнуть, что ответы на данный вопрос находятся в прямой зависимости от понимания общественной природы языка и его функций.

Нередко выдвигаются доводы: ну а как быть с различного рода религиозными убеждениями, как быть с теми, кто верит в существование ведьм, колдунов, фей, леших, эльф, русалок, домовых, кто верит, например, в «высшие небесные силы». Ведь для таких людей предложения типа *злая воля колдуна* или *добрые пожелания феи* представляются вполне возможными и даже реальными. Подобные возражения бьют, однако, мимо цели. У людей, разделяющих такие взгляды, разграничение мира реального и мира воображаемого проходит по другой плоскости, чем у людей, с позиции современной цивилизации нормальных. Разумеется, построения типа *добрые пожелания феи* людям первой категории кажутся вполне возможными, вполне коммуникативными. Но это уже совершенно другой вопрос, обусловленный сложностью культурного развития человечества, неоднородностью его социального, профессионального, возрастного, полового и прочего состава.

Ну а как быть с поэзией, с поэтическим языком? — спросят защитники «четырехугольного круга». Ведь в поэзии каждого народа широко встречаются такие слова, словосочетания и предложения, которые кажутся необычными и даже невозможными с позиции нашего обычного, повседневного языка. Как быть с *телегой жизни* Пушкина, *хрустальным днем* Тютчева, *золотыми звездами* Есенина, *облаком в штанах* Маяковского? Ведь в жизни *день* не бывает *хрустальным*, а во вселенной *звезды* не превращаются в *золото*. Эти возражения тоже бьют мимо цели. Хорошо известно, что стиль художественной литературы и, особенно, стиль поэзии прочно опираются на образные средства общенародного языка. Подобные средства есть и в нашей повседневной разговорной речи: на каждом шагу мы прибегаем к таким выражениям, как *ножка кресла* или *спинка стула*, *глубокое содержание* или *бездонное небо*. В стиле же художественной литературы, казалось бы, аналогичные средства приобретают, однако, качественно иное значение: они активно осмысляются прозаиками и поэтами, которые с помощью подобных выразительных средств усиливают воздействие на читателей, углубляют содержание и совершенствуют форму своих произведений. Именно поэтому *хрустальный день* или *золотые звезды* в поэзии выступают одновременно и как факты языка, тогда как *четырехугольный круг* или *дважды два пять* такими фактами уже не являются. Если *дважды два пять* признать «прекрасной русской фразой», то такими же «прекрасными фразами» надо будет признать и построения типа *дважды два верблюд*, *дважды два телефон* или *дважды два завтрашний день* [39]. Если язык действительно общественный феномен и его коммуникативная функция (в самом широком смысле) действительно является его основной функцией, тогда последние приведенные конструкции не имеют отношения к языку, ибо они не выполняют никаких общественных функций и в процессе коммуникации выступают всегда со знаком минус. Следовательно, нельзя одновременно утверждать, что построение *этот*

[39] Уже Платон заимствовал у Демокрита особый прием опровержения, согласно которому предложение *все высказывания ложны* несостоятельно прежде всего потому, что содержание самих предложений подобного типа тоже должно быть признано ложным. См.: П. С. Попов, Н. И. Стяжкин, Развитие логических идей от античности до эпохи Возрождения, М., 1974, стр. 33—34. В споре Пигасова с Рудиным в романе И. С. Тургенева («Рудин», гл. 3) первый диспутант заявляет, что «убеждений не существует», Рудин парирует: «Это ваше убеждение? Да. Как же вы говорите, что их нет. Вот вам одно на первый случай».

круглый стол четырехугольный «правильное русское предложение» и что вместе с тем основная функция языка является коммуникативной, а природа языка — социальной. Проблема выступает не в форме «и то, и другое», а в форме «либо то, либо другое».

В свое время американский философ и математик Чарлз Пирс (1839—1914), много сделавший для разработки теории знаков, вместе с тем ошибочно утверждал, что порядок и связь вещей не имеет ничего общего с порядком и связью идей [40]. Пирс постоянно боролся с принципом Декарта, который усматривал слишком прямолинейную связь между рядом вещей и рядом идей. После Пирса в идеалистической философии разъединение ряда вещей и ряда идей превратилось в своеобразное знамя, в принцип независимости идей от всего «земного», от реальной действительности. В лингвистике влияние этого философского направления обнаруживается прежде всего в стремлении изолировать язык от действительности, от его общественных функций, превратить язык в царство замкнутых в себе форм.

Проблема осложняется еще и тем, что сама действительность истолковывается совсем неодинаково. В некоторых направлениях современной семиотики проводится настойчивая мысль о том, что существуют различные типы действительности: особая автономная действительность, как бы замкнутая рамками данного контекста и резко отличающаяся от реальной действительности. Затем следуют действительность читателя, действительность слушателя, а иногда и некоторые другие «виды и типы действительности» [41]. При подобном расчленении действительности становится совершенно неясно, с какой же действительностью соотносится язык. Делается все для того, чтобы отделить язык от подлинной (реальной) действительности. Вопрос ставится так: если язык и соотносится с действительностью, то не в ее явном бытовании, а лишь в сознании читателя или слушателя, лишь в рамках одного контекста. Между тем разработка проблемы различных видов действительности, сама по себе вполне возможная в семиотике, будет лишь тогда успешной для лингвистики, когда поможет понять подлинные взаимоотношения (часто очень сложные) между языком и реальной действительностью.

В свое время Л. В. Щерба совершенно справедливо настаивал, что проблема понимания — центральная проблема науки о языке [42]. В свете этой проблемы становится очевидным, что построения типа *четырехугольный круг*, разрушая основы всякого понимания, не могут считаться «лингвистически правильными, но логически ошибочными». Специфику языка в отличие от логики надо искать не в том, что язык будто бы разрушает все основы логики и сам по себе алогичен и даже антилогичен, а в том, что язык по-своему передает логические законы нашего мышления. «Изучение грамматики,— писал Гегель,— составляет начало логического образования» [43]. Если бы язык был антилогичен, то с его помощью, во-первых, нельзя было бы выразить логические законы и логические понятия и, во-вторых, проблема понимания

---

[40] «Collected papers of Charles Sanders Peirce», VI, Harvard University Press, 1960, § 426.

[41] О них см. яркую статью польского филолога: Э. Чаплеевич, Целостен ли структурный анализ?, «Вопросы литературы», 1974, 7, стр. 218—220.

[42] Л. В. Щерба, Языковая система и речевая деятельность, Л., 1974, стр. 25—30. С иных методологических позиций проблема понимания как лингвистическая проблема сейчас усиленно разрабатывается в американской науке. См., например: W. L. Chafe, Language and conscience, «Language», 1971, 1, стр. 111—133.

[43] Гегель, Работы разных лет, I, М., 1970, стр. 406.

между людьми не могла бы находиться в центре науки о языке. Язык не имел бы важнейшей коммуникативной функции.

Хочу еще раз подчеркнуть [44], что сказанное отнюдь не означает, будто бы язык приравнивается к идеологии. С помощью языка люди добиваются понимания (именно добиваются, нередко преодолевая трудности) между всеми членами общества, в том числе и между представителями разных идеологий. Предложение *революция открывает народу путь к знанию* может истолковываться представителями разных идеологий неодинаково. И все же каждому ясно, о чем идет здесь речь. Построение же типа *этот круглый стол четырехугольный* неясно само по себе, оно не выполняет никакой языковой функции (коммуникативной, функции названия, функции выражения мысли или чувства) и поэтому к языку не относится. Так одно положение оказывается связанным с другим. Социальная природа языка не дает никакой возможности признать построение типа *этот круглый стол четырехугольный* предложением русского языка. Нельзя одновременно защищать тезис об общественной природе языка и считать только что приведенное построение фактом языка, сама природа которого всегда общественного характера.

6

Еще в восьмидесятых годах прошлого столетия один из замечательных русских лингвистов Н. В. Крушевский (1851—1887), рано умерший, в своем прекрасном «Очерке науки о языке» писал: «Развиваясь, язык вечно стремится к полному общему и частному соответствию мира слов миру понятий» [45]. Этими полными глубокого смысла словами Крушевский заканчивал свой «Очерк», тем самым отмечая всю важность приведенного тезиса. Любопытно, что уже в наши дни Р. О. Якобсон подчеркивает новаторский характер данного тезиса Н. В. Крушевского не только для современной лингвистики, но и для «будущих жарких дискуссий о назначении человеческого языка» [46].

К сожалению, Р. О. Якобсон, совершенно справедливо выделяя важность и актуальность «новаторского тезиса Крушевского», вместе с тем ничего не говорит о том, что подобный тезис резко противоречит всей формалистической лингвистике во всех ее вариантах и разновидностях [47]. Подобная лингвистика находит опору уже у Соссюра, в «Курсе» которого можно было прочитать: «...язык не есть механизм, созданный и приспособленный для выражения понятий» [48]. Совершенно очевидно, что в свете концепции Крушевского построение *этот круглый стол четырехугольный* к языку не относится, а в свете только что приведенного тезиса Соссюра вполне относится.

Между тем, если принять действительно новаторский и для нашего времени тезис Крушевского (типичный для русского и советского языкознания и только затемненный отдельными его представителями за последние двадцать лет), то из самого этого тезиса следует сделать множество выводов. Прежде всего нельзя согласиться с тем, что все функции

---

[44] См.: Р. А. Будагов, Категория значения в разных направлениях современного языкознания, ВЯ, 1974, 4.

[45] Н. В. Крушевский, Очерк науки о языке, Казань, 1883, стр. 149 (приведенные слова — заключительный тезис книги, в другом месте которой (стр. 69) читаем: «Соответствие мира слов миру мысли есть основной закон развития языка»).

[46] R. Jakobson, Essais de linguistique générale, 2, Paris, 1973, стр. 256—257.

[47] Необходимо строго различать понятие «формального» и понятие «формалистического» в науке о языке. См. об этом в моей статье «Категория значения...» (стр. 17—18).

[48] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 92.

языка одинаково существенны и равноправны. В свое время Р. О. Якобсон перечислял шесть таких функций: познавательная, коммуникативная, экспрессивно-эмоциональная, побудительная или апеллятивная, фатическая или непосредственно-контактная, поэтическая [49]. В ракурсе тезиса Крушевского надо признать центральными функциями языка функцию коммуникативную и функцию выражения наших мыслей и чувств. То же подчеркивали, как известно, К. Маркс и Ф. Энгельс в своем определении природы и назначения языка [50].

Разумеется, язык многогранен и многоаспектен. Здесь не может быть спора. Вместе с тем в этой многогранности и многоаспектности следует уметь видеть главное и неглавное, ведущее и неведущее, более типичное и менее типичное.

Подобное разграничение следует проводить по всем уровням языка. Приведу здесь только один пример. Хорошо известно, что значения полисемантических слов реализуются в контексте. То же следует сказать и о синонимах. На этом основании теперь часто утверждают, что слова не имеют объективных значений, ибо действительными они становятся только в определенной ситуации, только при определенных отношениях. Здесь вновь обнаруживается переоценка категории отношения. Между тем в свое время В. В. Виноградов был безусловно прав, когда писал: «Вне зависимости от его данного употребления, слово присутствует в сознании со всеми своими значениями...» [51]. Развивая это бесспорное положение, которое, к сожалению, представители формалистического языкознания теперь всячески стремятся оспорить, другой исследователь справедливо различал: «Перед нами — два взаимодействующих фактора: значение слова и его сочетаемость. Как бы ни было тесно и постоянно взаимодействие этих факторов, в работе по теоретической семантике они обязательно должны быть разграничены: изучение и разграничение значений слова не может подменяться изучением его сочетаемости» [52].

Здесь мы вновь подходим к проблеме, вокруг которой ведутся жаркие дебаты в разных направлениях современной лингвистики. «Слово за пределами данного контекста ничего не означает, оно ложно»,— замечает западногерманский лингвист Вайнрих [53]. «Значение слова — это сумма его контекстов»,— пишет французский филолог Мунен [54]. «...в идеале каждому отдельному значению соответствует отдельный языковой знак в его материальном воплощении»,— заявляют составители первого выпуска коллективной работы о русском языке [55]. Во всех этих случаях значение слова и, в особенности, значения полисемантических слов сводятся к сумме контекстов. Обобщающая сила слова — мощь и украшение любого национального языка с большой литературной традицией — либо прямо отрицается, либо ставится под сомнение. Получается так, будто бы слова вообще нет вне контекста и языка — вне ситуации.

Во всех приведенных случаях исследователи стремятся упростить язык для того, чтобы облегчить приемы и методы его формализации. Многозначное слово не поддается формализации, поэтому многозначность

---

[49] Сб. «Linguaggi nella società e nella tecnica», стр. 11.

[50] См., в частности, их совместную раннюю книгу «Немецкая идеология», М., 1933, стр. 434—435.

[51] В. В. Виноградов, Русский язык, М.—Л., 1947, стр. 14.

[52] Н. Ю. Шведова, Несколько замечаний по поводу статьи Ю. Д. Апресяна «Синонимия и синонимы», ВЯ, 1970, 3, стр. 41.

[53] H. Weinrich, Linguistik der Lüge, Heidelberg, 1966, стр. 33.

[54] G. Mounin, Clefs pour la sémantique, стр. 241.

[55] «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка», стр. 121.

объявляется нехарактерным для языка феноменом [56]. Каждый отдельный контекст формализовать легче, поэтому за пределами данного контекста слова признаются как бы несуществующими. Этот же метод переносится и на другие языковые категории, на фонетику и на грамматику.

В наше время в формалистической лингвистике широко распространена модная теория, согласно которой естественные языки человечества будто бы характеризуются двусмысленностью. Пишутся даже целые книги о двусмысленности и избыточности языка [57]. Возникают утверждения, что все языковые категории, все единицы языка всех его уровней сами по себе, вне данного контекста, ничего не означают: в лучшем случае они двусмысленны, в худшем — ложны и ничего не выражают.

Я убеждён, что доводы сторонников концепции «язык и речь сами по себе двусмысленны» совершенно несостоятельны. Чем больше развит язык, чем глубже его история, чем богаче литература, на нем созданная, тем менее вероятна сама возможность возникновения двусмысленности. Как общее правило, двусмысленными бывают, разумеется, не национальные языки, а лишь отдельные слова и отдельные конструкции в устах людей, по тем или иным причинам плохо владеющих данным языком. Обратим внимание на доводы сторонников двусмысленности самого языка.

Предложение *Он ее видел*, по мнению приверженцев упомянутой концепции, может «означать что угодно», в частности, «мужчина видел женщину», «мальчик видел девочку», «кот видел кошку» и т. д. Вывод: язык двусмыслен. Подобного рода «вывод» может убедить лишь поверхностных филологов. Предложение *Он ее видел*, разумеется, имеет строго определенное значение и вне данного контекста, вне данной ситуации. Оно означает: «некто мужского пола видел существо женского пола». Здесь может отсутствовать конкретная расшифровка подобных *некто* и *существо*. Но в том-то и сила языковых обобщений, что они способны передавать определенные значения вне всяких конкретных ситуаций. Эти последние лишь уточняют, лишь реализуют обобщенные значения: речь может идти и о мужчине (*он*) и о мальчике (*он*) и о коте (*он*), но во всех подобных случаях контекст лишь конкретизирует то, что совершенно точно, хотя и без конкретизации, выражено вне данного контекста. Поэтому предложение *Он ее видел* как синтаксическая конструкция не заключает в себе ничего двусмысленного. Если мы станем на противоположную точку зрения, то неизбежно будем вынуждены лишить язык, в том числе и его грамматику, всякой абстрагирующей силы.

Разумеется, разные языки по-разному устраняют чисто теоретическую возможность возникновения двусмысленности. Испанец скажет ***su*** *madre* «его (ее) мать», по-русски подобная конструкция дифференцирована (*его*, *ее*), как дифференцирована она и по-английски (***his*** *mother* — ***her*** *mother*). Но если испанцу нужно специально подчеркнуть притяжательное местоимение *его* или *ее*, он скажет *la madre* ***de el***, *la madre* ***de ella***. Какая же здесь двусмысленность? Как общее и незыблемое правило развитой язык всегда располагает возможностями уточнить ту или иную конструкцию, если это необходимо по условиям коммуникации. Если все же двусмысленность возникает, то вина здесь падает на говорящего или пишущего, недостаточно владеющего всеми огромными ресурсами языка. Сообщая, о чем беседовала со своим возлюбленным Рудольфом Эмма роман «Госпожа Бовари»), Флобер замечает: «она рассказывала ему

[56] См., например: А. А. Ветров, Методологические проблемы современной лингвистики, М., 1973, стр. 39—41.

[57] См., например: J. G. Kooij, Ambiguity in natural language, Amsterdam, 1971; D. Worth, Ambiguity in Russian derivation, сб. «The Slavic Word», The Hague — Paris, 1972, стр. 120—141.

о *своей* матери и распрашивала о *его* матери». В оригинале: «elle l'entretenait de sa mère, *à elle*, et de sa mère, *à lui*». Одинаковое местоимение *sa* вызывает необходимость уточнения (*à elle*, *à lui*). Следовательно, надо только владеть языком, и никакой двусмысленности не возникнет.

Знаменитый, ставший трафаретным пример, который в таких случаях приводят,— *страх врагов*, как раз и обнаруживает антисоциальный принцип его истолкования. Утверждают, что словосочетание типа *страх врагов* означает и «страх перед врагами» и «страх, который испытывают сами враги». Между тем здесь-то и выступает на первый план социальный фактор. Язык предоставляет возможность говорящим точно передать свою мысль. Если возникает опасность двусмысленности, сам язык предлагает выбор: страх *перед* врагами, страх, *внушаемый* врагами, страх, *испытываемый* самими врагами, страх, *переживаемый* врагами и т. д. и т. п. Разумеется, словосочетание *страх врагов* возможно и вне всякого контекста (все единицы и категории языка существуют объективно). В этом абстрактном плане язык как бы говорит человеку: «если словосочетание *страх врагов* в исключительной ситуации можно будет истолковать и как *страх перед врагами*, и как *страх, который испытывают сами враги*, то я, язык, предоставляю тебе, человеку, многочисленные возможности для уточнения твоей же мысли. Ты только знай об этих возможностях и умей быть моим повелителем». При таком условии двусмысленность устраняется до самой вероятности ее возникновения.

Здесь происходит то же, что и в лексике. Полисемантичное слово типа *земля* имеет множество значений и объективно бытует в языке во всем многообразии этих значений (с главным в основе: *земля*, на которой мы живем). Нет никаких оснований считать, что существительное *земля* вне контекста двусмысленно, хотя само слово действительно имеет множество значений. Вместе с тем в контексте, в процессе выполнения своей коммуникативной (общественной) функции, это слово всякий раз уточняется, выступая то в одном из своих значений, то в другом. Как общее правило, никакой двусмысленности при этом не возникает. И это естественно: полисемия в лексике — одно из самых типичных свойств любого национального языка [58].

Несколько иначе в грамматике, где удельный вес конструкций типа *страх врагов*, теоретически допускающих разные истолкования, очень невелик в структуре разных развитых языков. Но даже независимо от степени характерности подобных построений, само утверждение о двусмысленности языка и утверждение о социальной природе языка теоретически несовместимы. Одно из них резко противоречит другому. Сама общественная природа языка обеспечивает точность и недвусмысленность всех его ресурсов, в частности, и в области лексики и в области грамматики.

Убеждение, согласно которому все естественные языки человечества (в отличие от искусственных языковых построений) являются сами по себе во многом двусмысленными, фактически ошибочно, теоретически, антисоциально. Языки не могли бы выполнять своей важнейшей функции в обществе — средства общения и средства выражения мыслей и чувств

[58] См. об этом главу «Закон многозначности слова» в моей книге «Человек и его язык», М., 1974, стр. 117—124. Доктрина, согласно которой слово вне контекста ничего не означает, безусловно ошибочна и практически, и теоретически. Между тем эту доктрину защищают многие ученые, в том числе и С. Д. Кацнельсон (см. его книгу «Типология языка и языковое мышление», М., 1972, где он пишет: «Слово само по себе, вне предложения, ничего не высказывает о реальных фактах, не воспроизводит их. Называя предметы и признаки предметов, мы лишь намекаем на некоторые факты, но не отображаем их» — стр. 140). Опасная для языка концепция, очень обедняющая его.

людей, живущих в этом обществе, если бы они были сами по себе двусмысленными. Между тем генеративная грамматика Н. Хомского исходит из предположения, что для национальных языков типична, с одной стороны, двусмысленность, а с другой — избыточность [59].

7

Как мы видели, имеется множество истолкований общественной природы языка. Среди них можно выделить *две полярные доктрины*: согласно одной из них общественная природа языка — это лишь внешние условия его существования плюс небольшая доля слов, «социально окрашенных» (такую концепцию защищает большинство зарубежных лингвистов и некоторые советские лингвисты в последние два десятилетия), согласно другой — общественная природа языка определяет не только условия его бытования, но *и все его функции*, особенности его лексики и фразеологии, грамматики и стилистики. В предшествующих строках была сделана попытка обосновать именно это второе понимание общественной природы языка.

Что же мешало до сих пор такому подходу к общественной природе языка? Боязнь упреков в вульгарной социологии. К сожалению, вплоть до наших дней действует тактика упреждающего удара: Вы хотите осмыслить общественную природу языка не только в связи с внешними условиями его функционирования, но и в связи с самим языком? Если так, то Вы — вульгарный социолог, Вы связываете язык прямо с обществом. Это вздорные обвинения, ибо язык и в самом деле прямо связан и с обществом, и с людьми, составляющими данное общество. Что же касается вульгарной социологии, то она возникает не в результате соотнесения языка и общества, а в результате ошибочной трактовки подобного соотнесения. Это совсем разные явления. И об этом всегда следует помнить.

К сожалению, до сих пор многие ученые, в том числе и очень известные, считают, что объяснить какое-либо лингвистическое явление ссылкой на социальный фактор, вызвавший это явление, значит признать свое бессилие как лингвиста [60]. Близки к такому противопоставлению и некоторые советские лингвисты. Так, например, А. С. Чикобава перечисляя, какие науки находятся рядом с лингвистикой, называет и социологию языка («помимо лингвистики возникли. . . социология языка, социолингвистика. . . » [61]). Но если социология языка существует «помимо лингвистики», то нет ничего удивительного, что всякая социальная интерпретация лингвистической категории, лингвистического процесса, должна быть признана интерпретацией нелингвистической, как бы посторонней. Автор «с другого конца» приходит к тому же противо-

---

[59] См. об этом помимо ранее указанной книги голландского исследователя («Ambiguity in natural language», стр. 32—36) хрестоматию: M. Arrivé, J. Chevalier, La grammaire. Lectures, Paris, 1970, стр. 221—222.

[60] См. об этом: U. Weinreich, M. Labov, M. Herzog, Empirical foundations for a theory of language change, New York, 1968, стр. 177—179.

[61] Арн. Чикобава, *О философских вопросах языкознания*, ИАН ОЛЯ, 1974, 4, стр. 312. Не так прямо, более «осторожно» выносят социологию языка за пределы лингвистики и другие советские лингвисты наших дней. Так, например, Г. В. Колшанский в своей работе о паралингвистике (о несобственно языковых средствах в процессе речевой коммуникации), справедливо подчеркивая, что паралингвистика является частью самой лингвистики, вместе с тем неправомерно противопоставляет первую социолингвистике как относящейся (по мнению автора) к внешним особенностям функционирования языка (Г. В. Колшанский, Паралингвистика, М., 1974, стр. 20). Социолингвистика оказывается тем самым чем-то внешним не только по отношению к науке о языке, но и по отношению к самому языку.

поставлению лингвистического и общественного (социального), которое наблюдается и у большинства зарубежных исследователей.

При такой, на мой взгляд, глубоко ошибочной постановке вопроса становится совершенно неясно, что же такое общественная природа языка. Как можно утверждать, что природа языка общественна, но общественное истолкование языковых фактов и процессов признавать при этом истолкованием нелингвистическим? Я убежден, что так поступать нельзя. Сказанное отнюдь не означает, что лингвистические факты, категории и процессы не имеют своей лингвистической специфики. Разумеется, они ее не только имеют, но и немыслимы без подобной специфики. Я только хочу подчеркнуть, что языковая специфика может быть правильно осмыслена лишь на фоне общественных функций самого языка. Поэтому уменье установить, какие социальные импульсы вызывают ту или иную специфику отдельного языка, или группы языков, или многих языков, обнаруживает не бессилие лингвиста, а его силу, силу проникновения в языковые категории и языковые процессы. В этом случае тезис об общественной природе языка перестает быть простой, а нередко и пустой, преамбулой, а становится действительным тезисом, с позиций которого рассматриваются в принципе все языковые явления.

В этом плане становится очевидным, что понятия «лингвистический», с одной стороны, и «общественный» (социальный) — с другой, это не антагонистические, а постоянно, всесторонне и глубоко взаимодействующие понятия.

Уже само определение языка (средство коммуникации между людьми, средство выражения их мыслей и чувств) ко многому обязывает. Хотя этому определению свыше двух тысяч лет, оно остается «вечно молодым», так как функции языка, несмотря на их постоянное совершенствование, остаются коммуникативными. Вместе с тем старое определение языка внутренне обогащается в связи с успехами изучения теории языка, в связи со все более широким исследованием различных языков народов мира, в связи с новыми научными открытиями. Как современная наука все в большей степени становится непосредственной производительной силой, необходимым фактором производственного процесса, так и социальные функции языка в жизни современного общества постоянно расширяются[62].

Понятие общественного (социального) гораздо шире понятия идеологического. Объясняя самые различные лингвистические явления социальными факторами, мы не должны «замыкать» язык рамками одной идеологии, одного социального класса. Язык всегда стремится быть средством общения между всеми классами общества, хотя идеология различных классов оказывает заметное воздействие на отдельные сферы и области языка, прежде всего на его лексику, фразеологию, стилистику.

В. И. Ленин всегда считал, что сознание людей и отражает объективный мир и активно на него воздействует. При чтении «Науки логики» Гегеля В. И. Ленин, в частности, сделал такую запись: «Сознание чело-

---

[62] «Язык — средство выражения современных знаний, поэтому лингвисты находятся на линии огня» (in the line of fire) (D. Bolinger, Truth is a linguistic question, «Language», 3, 1973, стр. 541). Успехи науки и техники, сами по себе замечательные, вызывают, к сожалению, иногда и панику у отдельных ученых. В 1958 г. в связи с первыми опытами машинного перевода некоторые авторы пытались доказать, что «традиционное языкознание — это труха» (так и сказано — труха), которая рассыпается в свете новых идей машинного перевода (сб. «Материалы по машинному переводу», 1, Л., 1958, стр. 5—9). С тех пор прошло много лет, и читатели могут убедиться, что в большей степени подверглось процессу «устаревания».

века не только отражает объективный мир, но и творит его» [63]. Mutatis mutandis это же можно сказать и о языке. Наш язык связан с нашей действительностью в широком смысле и вместе с тем оказывает на нее известное воздействие: возникающие в языке новые слова, новые значения старых слов, новые словосочетания, новые синтаксические конструкции, новые осмысления старых стилистических построений и т. д. помогают людям лучше, полнее, адекватнее осмыслять окружающий их мир, точнее передавать друг другу свои мысли и чувства. В этом тоже обнаруживается общественная природа языка и его творческий характер. Поэтому нет никакой необходимости сводить творческий характер языка лишь к «способности языка» автоматически воспроизводить те или иные грамматические конструкции по аналогии с уже существующими образцами, как это настойчиво предлагает делать Н. Хомский и его последователи. Творческие возможности языка, разумеется, не сводятся лишь к возможностям автомата.

Н. В. Крушевский был безусловно прав, когда сформулировал основной закон языка как *закон соответствия мира слов миру мыслей*. Чем больше развивается и совершенствуется язык, тем ближе он подходит к этому идеалу. При этом «мир слов» Крушевский понимал очень широко, вкладывая в это словосочетание все ресурсы языка, все его разнообразные — реальные и потенциальные — возможности. В этом плане по-новому осмысляется и общественная природа языка. Я глубоко убежден, что представление об общественной природе языка нельзя сводить лишь к внешним условиям его бытования. На вопрос, поставленный в заглавии настоящей статьи, я отвечаю так: *общественную природу языка надо уметь обнаруживать в самом функционировании любого национального языка, во всех его областях и сферах*. Здесь открываются новые области лингвистики, не только не внешние по отношению к ней, как науке, но составляющие ее существо, формирующие ее «душу». Эти новые области ждут своих будущих исследователей.

---

[63] В. И. Ленин, Полн. собр. соч., 29, стр. 194. О том, как толковал Гегель взаимоотношения языка и сознания, см.: J. Simon, Das Problem der Sprache bei Hegel, Stuttgart, 1966, стр. 25—35.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

В. З. ПАНФИЛОВ

РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ В ОТРАЖЕНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВОГО ЗНАКА *

Возможность абстрактного, обобщенного мышления и познания обеспечивается наличием материальной стороны языковых единиц, которые выступают своего рода посредниками между познающим субъектом и познаваемыми объектами, благодаря чему процесс абстрактного, обобщенного мышления приобретает в известной мере самостоятельный характер по отношению к непосредственным воздействиям внешней действительности.

Знаковый характер материальной стороны языковых единиц, т. е. отсутствие подобия между материальной стороной языковой единицы и ее идеальной стороной (десигнатом), а следовательно, и теми явлениями объективной действительности (денотатом), с которыми она соотносится, является необходимым условием осуществления процессов абстракции и обобщения, образования обобщенного по своему характеру десигната.

Если бы материальная сторона языковых единиц не обладала знаковой природой, то не существовало бы принципиального различия между характером отражения действительности в процессе чувственного познания и того отражения, необходимым средством осуществления которого является язык.

Наличие элементов звукового символизма (первичного и, тем более, вторичного) не изменяет знаковой природы материальной стороны языковых единиц.

В рамках теорий, полагающих, что билатеральная языковая единица является языковым знаком в целом, идеальная сторона языковой единицы (значение, десигнат) также рассматривается как знаковая по своей природе, т. е. утверждается, что она не является образом (в гносеологическом смысле) тех явлений объективной действительности, с которыми эта языковая единица соотносится.

Поскольку естественный язык выступает как необходимое средство осуществления абстрактного, обобщенного человеческого мышления и познания, постольку результаты этого познания не могут быть принципиально иной природы, чем идеальная сторона языковых единиц. В самом деле, содержание понятий выражается посредством слов или словосочетаний, содержание суждения — посредством предложения, и если эти языковые единицы являются знаками в обеих их сторонах — материальной и идеальной,— то и содержание понятий и суждений, содержание мышления человека, его сознание также не может не быть знаковым по своей природе. Высказывается мнение, что из принципа знаковости би-

* Основные положения настоящей статьи были доложены на Всесоюзной научной конференции по теоретическим вопросам языкознания 11 ноября 1974 г. См.: «Тезисы докладов и сообщений пленарных заседаний»,М., 1974, стр. 105—112.

латеральных языковых единиц в целом еще не следует, что человеческое мышление и познание также является знаковым, так как формы чувственного познания объективной действительности (ощущения и восприятия) являются результатом ее непосредственного воздействия на органы чувств и, следовательно, не зависят от языка [1]. Не говоря уже о том, что процессы чувственного и абстрактного, обобщенного познания происходят в постоянном взаимодействии друг с другом, положение о знаковом характере второго из них и незнаковом — первого означает лишь, что на высшей ступени человеческого познания результаты его низшей ступени преобразуются таким образом, что приобретают знаковый характер. Таким образом, из положения о знаковом характере идеальной стороны языковой единицы неизбежно следует вывод (его и делают многие авторы) о знаковом характере специфически человеческого, т. е. абстрактного, обобщенного познания, вывод о том, что в процессе этого познания не происходит отражения объективной действительности.

Выход из этой трудности кардинального гносеологического характера многие авторы (как лингвисты и специалисты по семиотике, так и философы) видят в том, что, сохраняя положение о знаковой природе билатеральной языковой единицы в целом, вторую, не материальную сторону языковой единицы (десигнат, значение, обозначаемое) следует рассматривать как отношение материальной стороны языковой единицы к соответствующим явлениям объективной действительности (денотату) или понятию о них, или к тому и другому одновременно [2].

При этом, однако, остается неразъясненным, во-первых, как отношение материальной стороны языковой единицы к денотату или понятию может войти в состав и быть второй стороной этой языковой единицы (отношение не может быть компонентом только одного из членов отношения) и, во-вторых, какой природой оно обладает (идеальной или материальной). Далее, если, например, значение слова есть отношение его материальной стороны к понятию или денотату, или к тому и другому одновременно, то должно быть столько различных отношений этого рода, сколько существует различных лексических значений. Но очевидно, что, на самом деле, во всех случаях указанное отношение в принципе остается одним и тем же — звуковая сторона слова *стол* относится к соответствующему понятию или денотату так же, как и звуковая сторона слова *стул* относится к понятию *стул* или денотату этого слова и т. п.[3], — во всех подобных случаях это отношение будет отношением знаковой функции.

Самое существенное здесь, однако, заключается в том, что мыслящий субъект может относить материальную сторону языковой единицы к тем или иным явлениям объективной действительности за одним исключением, о котором ниже, только при условии знания совокупности общих признаков этих явлений, т. е. при наличии у него в мозгу их образа (в гносеологическом смысле). В этом отношении имеется существенное

---

[1] См., например: Л. С. Ермолаева, Неогумбольдтианское направление в современном буржуазном языкознании, сб. «Проблемы общего и частного языкознания», М., 1960, стр. 64.

[2] По-видимому, одним из наиболее ранних в советской лингвистике определений подобного рода является определение значения, данное В. Н. Волошиновым. «Значение,— пишет он,— является выражением отношения знака, как единичной действительности, к другой действительности, им замещаемой, представляемой, изображаемой. Значение есть функция знака, поэтому и невозможно представить себе значение (являющееся чистым отношением, функцией) существующим вне знака, как какую-то особую, самостоятельную вещь» (В. Н. Волошинов, Марксизм и философия языка, Л., 1929, стр. 36).

[3] См.: В. М. Солнцев, Язык как системно-структурное образование, М., 1971, стр. 104—105.

различие между собственными и нарицательными именами. Употребление нарицательного имени для обозначения какого-либо единичного конкретного объекта возможно и в том случае, если тот или иной субъект не имеет предварительного знания о том, что это имя относится к данному конкретному объекту, благодаря наличию у субъекта образа объектов данного рода.

В то же время наименование какого-либо конкретного объекта собственным именем возможно лишь при условии знания этим субъектом того, что соответствующий объект является денотатом этого собственного имени, т. е. факта отнесенности последнего к этому объекту.

Таким образом, положение о том, что значение (десигнат) языковой единицы есть отношение к денотату ее материальной стороны, по-видимому, можно считать справедливым только применительно к собственным именам, однако, с той оговоркой, что, поскольку эта отнесенность осуществляется мыслящим субъектом, то правильнее будет говорить о десигнате собственного имени как знании этой отнесенности.

Положение о знаковой природе билатеральной языковой единицы в целом логически вытекает из той концепции о сущности языка, согласно которой языковые единицы есть лишь продукт тех отношений, в которых они находятся в языковой системе, так что их качественная определенность целиком порождается этими отношениями. Аналогичным образом и принцип рассмотрения языка как имманентного явления представляет собой лишь логическое следствие этого понимания природы языковых единиц и языков в целом. В философском плане такой подход к сущности языка и языковых единиц может быть охарактеризован как антисубстанционализм, или релятивизм [4], поскольку здесь утверждается не только примат отношения над субстанцией, но эта последняя сводится к отношениям. Это понимание сущности языка и языковых единиц идет в общем русле с неопозитивистской философией, отождествляющей значение с отношением между знаками, абсолютизирующей логико-синтаксическую трактовку значения.

В последние годы было предпринято немало попыток, если не доказать, то декларировать, что подобный подход к языку, развиваемый в структуральном языкознании, не только не противоречит диалектическому материализму, но даже представляет собой конкретное применение его основных принципов к исследованию языка [5].

Понятия системы и структуры, действительно, широко использовались в марксистской философии, в произведениях К. Маркса и Ф. Энгельса [6], и в этом смысле структурный метод, получивший в последние десятилетия широкое распространение в языкознании, этнографии, литературоведении и некоторых других общественных науках, не может претендовать на оригинальность.

---

[4] См. также сб. «О соотношении синхронного анализа и исторического изучения языков», М., 1960, стр. 114—115. Не следует смешивать термин «релятивизм» (синоним термину «антисубстанционализм»), употребляемый здесь в онтологическом смысле для характеристики одного из философских направлений, основным принципом которого является утверждение о примате отношения, а не субстанции, с гносеологическим термином «релятивизм», который употребляется для характеристики того направления в гносеологии, которое отрицает, что в процессе человеческого познания достигается объективная истина, и утверждает, что человеческое знание имеет относительный характер. Кроме того, есть также «релятивизм этический» и «релятивизм» в области эстетики. Об этом приходится напоминать, так как некоторые лингвисты не разграничивают двух первых терминов (см., например: С. К. Шаумян, Философские вопросы теоретической лингвистики, М., 1971, стр. 149—151).

[5] В этом отношении из представителей отечественного структурализма особенно много усилий прилагал С. К. Шаумян.

[6] См., например: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 20, стр. 35—36, 392, 513.

Более того, понятия системы и структуры могут рассматриваться как производные от такого диалектического принципа, как принцип всеобщей связи и взаимообусловленности явлений. Однако между пониманием системы и структуры, которое развивалось в структуральном языкознании, и марксистским пониманием системы и структуры, существуют глубокие принципиальные различия. С точки зрения структурализма как определенного лингвистического направления, языковые явления на всех уровнях представляют собой результат тех отношений, в которых они находятся друг к другу, так что качественная определенность языковых явлений целиком определяется этими отношениями. Иначе рассматривается вопрос о роли отношений в создании качественной определенности объектов в марксистской философии.

С позиций диалектического материализма отношение есть всегда отношение в е щ е й по какому-либо свойству, присущему каждой из них. Не существует отношения вне отношений в е щ е й. Эта точка зрения диалектического материализма противопоставляется положению объективного идеализма об особой, «надвещественной» реальности отношений. Но именно положение о языке как сети отношений, которая формирует субстанцию (звуковую и семантическую) и для которой характер «вещной» формы ее воплощения безразличен, является методологической, философской основой структурального направления языкознания или по крайней мере таких его течений, как соссюрианство, глоссематика, дескриптивная лингвистика и др.

(Дескриптивная лингвистика по сравнению с этими двумя направлениями структурализма занимает как бы особое положение, так как, во всяком случае, некоторые ее представители наряду с отношениями выделяют в языке также и качественно определенные элементы, находящиеся в этих отношениях. Однако в основе предложенного в этом направлении принципа дистрибутивного анализа языка, согласно которому для описания языковой единицы достаточно установить ее синтагматические связи в речевой цепи, также лежит тезис о том, что языковая единица есть порождение тех отношений, в которые она вступает в синтагматическом ряду.)

Противопоставляя структуральный подход к анализу языка таковому же с позиций «наивного реализма», Л. Ельмслев писал: «и рассматриваемый объект, и его части существуют только в силу этих зависимостей; рассматриваемый объект как целое может быть определен только через их общую сумму; каждая из его частей может быть определена только через зависимости, связывающие ее с другими соотносимыми частями следующего уровня, и через сумму зависимостей, которые связывают части этого следующего уровня друг с другом. При таком рассмотрении „объекты" наивного реализма, с нашей точки зрения, являются не чем иным, как пересечением, пучком подобных зависимостей. Иными словами, объекты могут быть описаны только с их помощью и могут быть определены и научно рассмотрены только таким путем. Зависимости, которые наивный реализм рассматривает как вторичные, предполагающие существование объектов, становятся с этой точки зрения первичными, предопределяемыми взаимными пересечениями. Постулирование объектов как чего-то отличного от терминов отношений является излишней аксиомой и, следовательно, метафизической гипотезой, от которой лингвистике предстоит освободиться» [7].

Отношения (зависимости по Л. Ельмслеву), действительно, имеют статус реального существования, но лишь постольку, поскольку они есть

[7] Л. Е л ь м с л е в, Пролегомены к теории языка, сб. «Новое в лингвистике», 1, 1960, стр. 283; см. также стр. 333, 337.

отношения вещей [8]. Диалектика вещи и отношения состоит именно в том, что не существует отношений помимо вещей, но не существует и вещей, их свойств вне отношений. К. Маркс, анализируя понятие стоимости, писал, что «свойства данной вещи не возникают из ее отношения к другим вещам, а лишь обнаруживаются в таком отношении» [9]. В самом деле, когда устанавливается отношение равенства по весу двух различных предметов (например, 1 кг чая и 1 кг железа в виде гири), то тяжесть обоих этих предметов существовала до того, как они были поставлены в это отношение — она является результатом их притяжения к земле. Аналогичным образом, отношение равенства по стоимости 1 кг чая и 10 м материи не означает, что стоимость в этих предметах появилась в результате установления этого отношения — она была создана благодаря одинаковым в обоих случаях затратам труда, общественно необходимого для производства соответствующих потребительских стоимостей.

В приведенной выше формулировке в понятие отношения К. Марксом не включаются каузальные, причинно-следственные отношения, но здесь следует иметь в виду, что эти последние по самой сути своей исключаются из того понятия языка как системы, которое развивается в структуральном языкознании, и учитываются лишь при диахроническом подходе к исследованию языка.

Диалектический принцип всеобщей связи и взаимообусловленности предполагает далее, что язык, как и все другие общественные и природные явления, не является чем-то изолированным, а, наоборот, в своем существовании и развитии подвержен воздействию неязыковых явлений, нелингвистических факторов, к числу которых прежде всего относятся человеческое мышление, познающее действительность, и общество. Следовательно, понятия системы и структуры, которое развивалось структурализмом применительно к языку, принципиально отличаются от соответствующих понятий в марксистско-ленинской философии тем, что, абсолютизируя роль отношений, в которых находятся друг к другу языковые единицы, в формировании их качественной определенности, структурализм вместе с тем отрицает связи, отношения и взаимодействия языковых явлений с неязыковыми, т. е. ограничивает действие принципа всеобщей связи и взаимодействия лишь пределами языка.

Основанный на чисто реляционном подходе тезис о языке как имманентном явлении, а о его составляющих языковых единицах как знаковых по своей природе в обеих их сторонах позволяет рассматривать язык не как орудие, посредством которого осуществляется абстрактное, обобщенное мышление и в сознании человека отражается объективная действительность, а как такое явление, которое жестко определяет сам характер (тип)

---

[8] С. К. Шаумян (см. его «Философские вопросы теоретической лингвистики», стр. 149—151), доказывая свою приверженность марксистско-ленинской философии, утверждает, что разделяемый им тезис о языке как сети отношений вполне совместим с этой философией, так как при этом признается объективность отношений. Из его рассуждений следует далее, что в силу этого отношения должны включаться в материю. Правда, несколькими строками ниже он же утверждает, что отношения есть свойство материи. Но, во-первых, язык включает в себя как материальную, так и идеальную стороны, а следовательно, и разного рода отношения — между материальными его элементами, между идеальными его элементами и между теми и другими,— в силу чего язык, даже если мы будем рассматривать его как сеть отношений, никак не может считаться только материальным явлением. Во-вторых, категория отношения коррелирует с категорией вещи, а не материи, как это получается у С. К. Шаумяна, и тезис о языке как сети отношений не может быть принят с позиций марксистско-ленинской философии потому, что он противоречит одному из ее основных положений, согласно которому отношения есть всегда отношения вещей.

[9] См.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 23, стр. 67.

мышления, его логический строй и результаты познания человеком объективной действительности. Такого рода понимание языка в его отношении к мышлению, человеческому познанию и действительности развивается в неогумбольдтианстве (европейском и американском), в общей семантике и лингвистической философии, которые являются ведущими направлениями неопозитивизма, а также в экзистенционалистской герменевтике и в некоторых направлениях семиотики [10]. «Для всех этих течений,— отмечает Ф. П. Филин,— характерна общая черта — возведение языка как системы знаков в абсолют, своеобразная магия языка» [11].

Аналогичным образом в эстетике и литературоведении получили широкое распространение взгляды, согласно которым произведения искусства представляют собой особого рода знаковые системы, основной чертой которых является их имманентность, их самодовлеющий характер [12].

Как отмечает М. Б. Храпченко, в структуральном литературоведении существуют два направления. Представители первого из них (Й. Мукаржевский и др.), утверждают, что литературно-художественное произведение есть система знаков, так как основным ее средством является словесный знак. Сторонники второго направления (Ю. Лотман и др.) полагают, что художественная литература обладает своим специфическим «языком», надстраивающимся над словесным языком [13].

При всех различиях этих двух направлений их объединяет положение о том, что художественная литература, будучи имманентной знаковой системой, не является специфической формой отражения действительности.

Как пишет М. Б. Храпченко, «такое умозаключение обусловлено даже не известной совокупностью фактов, а тем распространенным в наше время „знаковым фетишизмом", с которым, в частности, связано стремление видеть в семиотике современную гносеологию» [14].

Тенденция абсолютизировать роль знаков и знаковых систем находит свое наиболее яркое выражение в той точке зрения, согласно которой всякое знание и в том числе научное знание есть лишь определенным образом организованная система знаков — «язык», не имеющий отношения к объективной действительности, т. е. к своеобразной форме идеализма, который можно назвать лингвистическим (или шире: семиотическим).

Внутренняя слабость концепций, в основе которых лежит принцип имманентности, абсолютной независимости знаковой системы того или иного рода состоит в том, что этот принцип находится в явном противоре-

[10] См. об этом: В. З. Панфилов, Язык, мышление, культура, ВЯ, 1975, 1.

[11] Ф. П. Филин, О некоторых философских вопросах языкознания, сб. «Ленинизм и теоретические проблемы языкознания», М., 1970, стр. 9.

[12] История возникновения, основные этапы развития этой концепции в эстетике и литературоведении, а также ее интересный и убедительный критический анализ дается в книге: Ю. Барабаш, Вопросы эстетики и поэтики, М., 1973.

[13] См.: М. Б. Храпченко, Семиотика и художественное творчество. Статья первая, «Вопросы литературы», 1971, 9.

[14] М. Б. Храпченко, указ. соч., стр. 80. О размерах «знакового фетишизма» и его социальной направленности в современной буржуазной науке можно судить по следующему высказыванию: «... социологи говорят о том, что в последнюю четверть XX века человеческое общество из „металлургического" превратится в „семиургическое", иными словами, на смену системе, основой которой были производство, распределение и обмен товаров, придет система, где предметом производства, распределения и обмена станут знаки и символы (свидетельством приближения такой эпохи считают, например, возрастание значимости упаковки, товарных знаков и т. д. в производстве потребительских товаров).

Унаследованные от XIX века теории не могли, что вполне понятно, учесть воздействия этого феномена, к изучению которого экономисты и социологи только приступили. Но сейчас, с появлением видеозаписи, правомерно спросить: не становится ли уже в порядок дня рождение новой экономической науки — исследования роли знаков?» (А. Дьёзед, Видеозапись и жизнь, «Курьер ЮНЕСКО», октябрь 1974, стр. 33).

чии с основным понятием семиотики — понятием знака. Сущность знака, его основная функция заключается в том, что он представляет, замещает нечто, находящееся вне этого знака и той знаковой системы, к которой он принадлежит. Поэтому не может быть такой знаковой системы, которая бы была замкнута на саму себя и компоненты которой ни с чем не соотносились бы вне нее. Как пишет М. Б. Храпченко, «знак, который ничего не обозначает и существует будто бы вне связи с материальной действительностью или определенными представлениями, намерениями людей, реально знаком не является. Он потому и носит название знака, что обозначает собой какие-то объекты, идеи, действия. Без такой связи знак теряет свой смысл, свое значение» [15].

В достаточно отчетливой форме принцип, согласно которому языковая единица в целом и ее идеальная сторона, в частности, является всецело продуктом ее отношений к другим языковым единицам, был сформулирован в языкознании Ф. де Соссюром. Определяя языковый знак как комбинацию понятия и акустического образа, или, иначе, означаемого и означающего [16] и указывая, что «связь, соединяющая означаемое с означаемым, произвольна», Ф. де Соссюр делал из этого вывод о произвольности языкового знака в целом [17].

Однако, если не сводить сущность языкового знака к связи означающего и означаемого [18], то из самого факта ее произвольности, состоящей в том, что между означающим и означаемым нет никакого подобия, по-видимому, еще не следует, что признак произвольности будет свойствен не только означающему, но и означаемому. И у Ф. де Соссюра мы находим иное обоснование принципа произвольности означаемого как компонента языкового знака. Говоря об означаемом, Соссюр оперирует терминами «понятие» (=«идея»), «значение» и «значимость» (= «ценность»). Под «значением» он имеет в виду «понятие», взятое в его отношении к акустическому образу, т. е. означающему [19]. То же самое «понятие», но рассматриваемое уже в его отношении к другим компонентам языковой системы того же порядка определяется им как «значимость» [20]. Именно понятие значимости оказывается центральным в соссюровской теории языкового знака и сущности языка в целом. Именно из того понимания значимости, которое развивается Ф. де Соссюром, и следует вывод о произвольности не только означающего, но и означаемого.

«Говоря, что они (значимости.— *В. П.*) соответствуют понятиям,— пишет Ф. де Соссюр,— следует подразумевать, что эти последние чисто дифференциальны, т. е. определены не положительно своим содержанием, но отрицательно своими отношениями с прочими элементами системы.

[15] М. Б. Храпченко, указ. соч., стр. 72—73. Ср. утверждение президента Международной ассоциации семиотики Э. Бенвениста о том, что семиотика принципиально не интересуется отношением знака с референтом и языка с действительностью в целом (см.: E. Benveniste, La forme et le sens dans le langage, сб. «Recherches sur les systèmes signifiants. Symposium de Varsovie, 1968», presentées par J. Rey-Debove, The Hague-Paris, 1973, стр. 95).

[16] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 78.

[17] Там же, стр. 79.

[18] Как об этом можно судить по некоторым его высказываниям, сам Ф. де Соссюр отождествлял отношение, связь означаемого и означающего со знаком (см., например, стр. 114 указанного сочинения). Отношение между материальной и идеальной стороной языковой единицы не может рассматриваться как языковой знак хотя бы уже потому, что оно само по себе не способно выступать в знаковой функции, замещать, представлять что-либо, существующее вне языкового знака. К тому же при таком определении языкового знака материальная и идеальная сторона языковой единицы все равно рассматриваются как компоненты языкового знака, что никак не следует из определения знака как отношения этих ее сторон.

[19] Там же, стр. 78, 114.

[20] Там же, стр. 114.

Характеризуются они в основном именно тем, что они — не то, что другие» [21].

В другом месте Ф. де Соссюр утверждает, что «значимости остаются целиком относительными» и их «единственное обоснование ... сводится к обычаю и общему согласию» [22], что «язык не может не быть системой чистых значимостей (ценностей)» [23].

Такое понимание роли фактора системности в конституировании обозначаемого языкового знака (как, впрочем, и означающего) вытекает из развиваемой им концепции о сущности мышления в его отношении к языку и действительности. «Характерная роль языка в отношении мысли,— пишет Соссюр,— не заключается в создании материального звукового средства для выражения идей, но в том, что он служит посредником между мышлением и звуком и притом таким образом, что их объединение неизбежно приводит к обоюдному разграничению единиц. Мышление, хаотичное по природе, принуждено уточняться, разлагаясь.... Все сводится к тому в некотором роде таинственному явлению, что „мысль — звук" требует наличия делений, и что язык вырабатывает свои единицы, оформляясь между двумя бесформенными массами» [24]. В другом месте Ф. де Соссюр выражается еще более определенно. «Взятое само по себе,— пишет он,— мышление похоже на туманность, где ничто не разграничено» [25].

Таким образом, по Ф. де Соссюру, язык как система значимостей, сводимая к сети отношений, играет определяющую роль по отношению к мышлению, так что все возникающие в мышлении разграничения, т. е. понятия, суждения и т. п., есть не результат в той или иной степени адекватного отражения действительности, а результат воздействия на него языка. Следовательно, здесь Ф. де Соссюр выступает как предшественник концепции о соотношении языка, мышления, познания и действительности, которая в последующий период получила развитие в неогумбольдтианстве и неогумбольдтианской этнолингвистике, в основных направлениях неопозитивистской философии — общей семантике и лингвистической философии, а также в некоторых направлениях семиотики.

Итак, в понимании Ф. де Соссюра идеальная сторона языковой единицы (обозначаемое), сводимая им в конечном счете к значимости (valeur), является произвольной в том смысле, что она не есть результат отражения объективной действительности, поскольку она представляет собой всецело продукт внутрисистемных языковых отношений. Сам Ф. де Соссюр выразил эту мысль в следующей итоговой формулировке: «*Произвольность и дифференциальность* суть два соотносительных качества» [26]. Получив широкое распространение в различных направлениях языкознания [27], этот принцип, в частности, послужил теоретической основой метода

[21] Там же, стр. 116. Этот тезис Ф. де Соссюра повторяет в своем докладе на симпозиуме по семиотике в Варшаве в 1968 г. Э. Бенвенист. «Быть дифференциальным и быть значимым,— пишет он,— это одно и то же» (E. B e n v e n i s t e, La forme et le sens dans le langage, стр. 95).

[22] Там же, стр. 113.

[23] Там же, стр. 112.

[24] Там же.

[25] Там же.

[26] Ф. д е С о с с ю р, указ. соч., стр. 117.

[27] Наиболее последовательно этот принцип Ф. де Соссюра развивается в глоссематике Л. Ельмслева, для которого, в частности, значение есть чисто контекстуальное явление (см.: Л. Е л ь м с л е в, указ. соч., стр. 303). Нашел он поддержку и в неогумбольдтианской этнолингвистике Б. Уорфа, по мнению которого язык имеет алгебраическую природу и объект лингвистики есть мир отношений (см.: B. W h o r f, Language, thought and reality, New York, 1956, стр. 259, 231), и в других лингвистических направлениях.

дистрибутивного анализа, согласно которому для установления качественной определенности языковых единиц различных уровней достаточно учесть дистрибуцию этих языковых единиц, т. е. то окружение, в котором они выступают в синтагматическом ряду. Первоначально делались попытки на этом же принципе построить и алгоритмы машинного перевода с одного языка на другой.

Практика лингвистических исследований и опыт машинного перевода показали, что языковое значение невозможно определить не только на основе учета синтагматических связей [28], но и всей совокупности системных связей соответствующих языковых единиц и что, следовательно, идеальная сторона языковой единицы не может рассматриваться только как продукт ее отношений с другими языковыми единицами.

Идеальная сторона билатеральной языковой единицы, имея ту же природу, что и содержание абстрактного, обобщенного мышления, формируется в связи с отражением объективной действительности, является ее образом в гносеологическом смысле и не может рассматриваться как знаковая по своему характеру.

Вместе с тем в формировании идеальной стороны языковых единиц известную роль играет также фактор системности языковых явлений, в связи с чем в ней наряду со значением, являющимся результатом отражения объективной действительности, следует выделять значимость как результат действия фактора системности [29] (в таком случае идеальную сторону языковой единицы в целом можно было бы назвать десигнатом).

Роль каждого из этих компонентов, т. е. значения и значимости в конституировании идеальной стороны языковых единиц будет различной на различных языковых уровнях.

Так, на морфемном уровне существует немало морфем, по существу полностью лишенных значений, которые являлись бы отражением каких-либо сторон объективных явлений, и их идеальная сторона сводится к значимости. Таковы, например, в русском языке морфемы, выражающие род существительных, род, число и падеж у прилагательных, род и число у глагола, т. е. морфемы с чисто формальной функцией.

В образовании идеальной стороны других единиц морфемного уровня фактор отражения, однако, играет основную роль. Таковы, например, морфемы, выражающие число у существительных или вид и время у глаголов в русском языке и т. п. Наконец, можно выделить и морфемы такого типа, в образовании идеальной стороны которых играет роль как фактор

[28] Ср. следующее относительно недавнее высказывание И. А. Мельчука: «...вопрос о возможности полностью описать язык чисто дистрибутивными методами остается открытым; однако путь к решению проблемы идет не через философские контроверзы, а через деловое экспериментирование, которое только и может показать, в какой степени чисто дистрибутивное описание языка будет удовлетворительным» (разрядка наша.— *В. П.*) (И. А. Мельчук, [рец. на кн.:] «Автоматизация в лингвистике», ВЯ, 1968, 1, стр. 143—144). Очевидно, что при своевременном осознании философской, методологической несостоятельности релятивистского понимания языка, на котором базируются как концепция о возможности полного описания языка чисто дистрибутивными методами, так и соответствующие алгоритмы машинного перевода, не было бы нужды прибегать к «деловому экспериментированию», потребовавшему больших затрат времени, материальных средств и духовных сил.

[29] См. также: V. Z. Panfilov, Reflecting function of natural languages, «Proceedings of the IV International Congress for logic, methodology and philosophy of science», 2, Bucharest, 1971. Здесь кажется уместным напомнить также следующую мысль В. Гумбольдта: «Язык — одновременно изображение и знак, он не только результат действия предметов, но и не только продукт произвола говорящего» (W. Humboldt, Über das vergleichende Sprachstudium in Beziehung auf die verschiedenen Epochen der Sprachentwicklung, «Gesammelte Werke», 3, Berlin, 1841—1852, стр. 264).

отражения, так и факторы системного характера. К ним относятся, например, некоторые морфемы, выражающие залоговые отношения. Так, формами действительного и страдательного залогов глагола выражаются одни и те же отношения субъекта и объекта к действию, т. е. отражаются одни и те же отношения действительности (ср. *Рабочие построили дом* и *Дом построен рабочими*). Различие между действительным и страдательным залогами состоит лишь в том, что в первом случае субъект и объект действия выражаются соответственно подлежащим и прямым дополнением, а во втором случае соответственно — косвенным дополнением и подлежащим. Иначе говоря, оба эти залога глагола и две соответствующие конструкции предложения можно рассматривать как два различных языковых способа представления одних и тех же отношений действительности.

На более высоком языковом уровне, каковым является лексический, в конституировании идеальной стороны лексических единиц определяющую роль играет фактор отражения объективной действительности, хотя ей в той или иной степени могут быть свойственны и реляционные моменты [30].

Таким образом, методологическая несостоятельность той трактовки языка в целом и идеальной стороны языковых единиц в частности, которая развивалась Ф. де Соссюром и в последующей традиции, состоит в абсолютизации относительной самостоятельности языка в его отношении к мышлению, познающему объективную действительность, в абсолютизации фактора системности языка, тех реляционных свойств, которые в той или иной степени присущи языковым единицам как элементам языковой системы.

Языковая единица (типа слова) как единство материальной и идеальной стороны существует в том отрезке речевой цепи, который локализуется или в мозгу говорящего, или мыслящего субъекта (внутренняя речь) и включает в себя кинестезические раздражения от органов речи (материальная сторона) и идеальную сторону в виде образов (в гносеологическом смысле), или она (языковая единица) локализуется в мозгу слушающего и включает в себя раздражения от органов слуха и кинестезические раздражения от скрыто артикулирующих органов речи (материальная сторона) и идеальную сторону в виде тех же образов.

Противопоставление идеальной и материальной стороны языковых единиц в этих отрезках речевой цепи не имеет абсолютного характера, так как идеальная сторона является продуктом определенных физиологических (материальных) процессов в головном мозгу человека и противостоит материальной стороне только в той мере, в какой она является результатом отражения вне и независимо от субъекта существующей действительности.

Отрезок речевой цепи, локализующийся между говорящим и слушающим, включает в себя только материальную сторону языковых единиц в виде определенным образом организованных звуковых волн. Не включая в себя идеальной стороны, этот отрезок речевой цепи вместе с тем несет в себе определенную информацию, также материальную по своему характеру, благодаря чему, по-видимому, в мозгу слушающего и возникают те же, что и у говорящего или в той или иной степени близкие ему образы как идеальная сторона соответствующих языковых единиц.

Языковая единица (типа слова) вне акта коммуникации или внутренней речи локализуется в мозгу как следы в памяти человека в нейронах и ней-

---

[30] Этот вопрос детально рассматривается в статье: Р. А. Будагов, Категория значения в разных направлениях современного языкознания, ВЯ, 1974, 4.

ронных связях головного мозга, в которых кодируется ее идеальная сторона (образ в гносеологическом смысле) и ее материальная сторона (кинестезические раздражения от артикулирующих органов речи), а также слуховой образ звучащего слова.

Существует точка зрения, согласно которой объективность языка как общественного явления проявляется в его интерсубъектном существовании, в существовании вне и помимо тех индивидуумов, которые пользуются этим языком. Так, отвергая как абстрактный объективизм подход к языку как социальному явлению, свойственный Ф. де Соссюру и его последователям, В. Н. Волошинов полагал, что «действительность слова, как и всякого индивидуального знака, расположена между индивидами» [31] и что «действительной реальностью языка — речи является не абстрактная система языковых форм и не изолированное монологическое высказывание и не психофизиологический акт его осуществления, а социальное событие речевого взаимодействия, осуществляемое высказыванием и высказываниями» [32]. Детально развивается понимаемый таким же образом принцип *объективности существования языка как общественного явления* Л. Анталом. Он пишет: «язык — это вторая форма объективности. Эта вторая форма есть социальная объективность и может быть также названа объективной реальностью, так как она удовлетворяет основному определению объективности, именно, что она существует не в сознании индивидов, но обособленно от него и независимо от него» [33]. Этот же автор утверждает далее, что «вместилищем языка не может быть сознание индивида» [34]. Теория языка «как знаковой, или семиотической, системы, о б ъ е к т и в н о с у щ е с т в у ю щ е й в н е о т д е л ь н о г о ч е л о в е к а, в о б щ е н и и и н д и в и д о в, т. е. и м е ю щ е й и н т е р и н д и в и д у а л ь н о е, с о ц и а л ь н о е с у щ е с т в о в а н и е» [35] (разрядка наша.— *В. П.*) разделяется также Ю. С. Степановым и некоторыми другими авторами.

Действительно, есть широкий круг общественных по своей природе явлений, которые существуют вне индивидов, составляющих данное общество, как отчужденные результаты их деятельности. Таковы, например, объекты материальной культуры человечества, включая производительные силы.

Язык также принадлежит к числу общественных явлений. Однако его социальная природа проявляется не в том, что он существует вне индивидов, а в том, что он существует в головах индивидов, которые как носители специфически человеческого мышления и того средства его осуществления и существования, каковым является язык, представляют собой продукт социального, общественного развития, являются социальными существами.

Человеческое мышление «...существует только как индивидуальное мышление многих миллиардов прошедших, настоящих и будущих людей» [36]. Аналогичным образом тот или иной язык существует как язык индивидов, образующих данную языковую общность.

Принцип, согласно которому язык существует как интерсубъектное явление, предполагает, что вне мозга человека находится не только мате-

---

[31] В. Н. В о л о ш и н о в, Марксизм и философия языка, стр. 22.

[32] Там же, стр. 113.

[33] L. A n t a l, Questions of meaning, The Hague, 1963, стр. 12.

[34] Там же, стр. 10

[35] См.: Ю. С. С т е п а н о в, Проблема общего метода современной лингвистики, сб. «Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. Тезисы докладов и сообщений пленарных заседаний», М., 1974, стр. 126.

[36] К. М а р к с и Ф. Э н г е л ь с, Соч., 20, стр. 87.

риальная, но и идеальная сторона языковых единиц. Но если решать этот вопрос материалистически, а не с позиций платоновского объективного идеализма, то «нельзя отделить мышление от материи, *которая* мыслит» [37]. Идеальная сторона языковых единиц также не может существовать вне мозга человека, продуктом которого она является. Противоположное же утверждение предполагает, что идеальное имеет независимое от материи существование и эта точка зрения находит свое логическое завершение как в основном принципе двух ведущих направлений неопозитивизма — общей семантики и лингвистической философии,— согласно которому язык есть единственная данная человеку реальность, так и в концепциях неогумбольдтианской лингвистики и глоссематики, в которых язык рассматривается как некая независимая от индивида и его мышления сущность.

Вместе с тем тот факт, что мышление человека и идеальная сторона языковых единиц существуют только в связи со своим материальным субстратом — человеческим мозгом, не означает, что они представляют собой чисто субъективное явление. Мышление одного индивида и идеальная сторона используемых им языковых единиц для другого индивида предстает как объективное явление, существующее вне и независимо от него.

Если в конституировании идеальной стороны таких языковых единиц как слово, определяющую роль играет фактор отражения объективной действительности, а вместе с тем и прежде всего объективная действительность отражается в таких единицах абстрактного, обобщенного мышления, как понятия, то возникает вопрос об отношении этих двух форм отражения действительности в процессе мышления и познания, вопрос о том, не предполагает ли такого рода допущение двух параллельных видов отражения.

Прежде всего следует указать, что теоретически вполне допустимо положение о наличии нескольких уровней структурно-семантической организации абстрактного, обобщенного мышления и познания (ср. в этой связи наличие кратковременной и долговременной памяти). Можно полагать, что наряду с системой десигнатов, фиксируемых лексикой языка, существует система понятий, поскольку средством ее фиксации являются не только такие языковые единицы, как слова, но и речевые произведения в виде словосочетаний и предложений, конкретное содержание которых *является принадлежностью не языка, а речи.*

Поэтому можно предполагать, что система понятий, фиксируемая как словами, так и речевыми произведениями указанного типа, будет значительно больше по объему, чем система лексических значений. Уже сам факт различия по объему систем понятий и лексических десигнатов предполагает, что при отсутствии изоморфизма между ними существуют определенные различия между соответствующими понятиями и лексическими десигнатами.

Одна из основных ошибок концепции неогумбольдтианства в обоих его разновидностях — европейской (Л. Вейсгербер и его последователи) и американской (гипотеза Сепира — Уорфа) состоит именно в том, что из несомненного факта несовпадения систем лексических значений (по нашей терминологии — лексических десигнатов) различных языков в этой концепции делается прямолинейный вывод о различии систем понятий носителей этих языков, в основе чего лежит тезис о тождестве системы лексических десигнатов языка и системы понятий его носителей. Конечно, между системой понятий носителей одного языка и системой понятий носителей

[37] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 2, стр. 143. Эта формулировка дается К. Марксом, характеризующим материалистические взгляды Гоббса. Позднее она повторяется Ф. Энгельсом во «Введении к английскому изданию» его работы «Развитие социализма от утопии к науке» (см.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., 22, стр. 301).

другого языка существуют определенные и нередко весьма существенные различия, однако эти различия не могут рассматриваться как результат различий систем лексических десигнатов соответствующих языков хотя бы уже потому, что определенные различия есть между системами понятий носителей одного и того же языка или даже между системами понятий одного и того же индивида в различные периоды его жизни.

Высказывается мнение, что различие между понятием и значением слова (десигнатом в принятой здесь терминологии) состоит в том, что понятие в совокупности составляющих его содержание признаков изоморфно соответствующему объекту действительности (денотату) в совокупности характеризующих его признаков, в то время как десигнат и денотат не находятся в изоморфном отношении друг к другу, так как десигнат отражает лишь некоторую часть присущих денотату признаков [38]. Под изоморфным отношением двух систем имеют в виду такие случаи, когда «каждому элементу первой системы соответствует лишь один элемент второй и каждой операции (связи) в одной системе соответствует операция (связь) в другой и обратно» [39]. Очевидно, однако, что изоморфное соотношение между понятием и денотатом в принципе осуществляется лишь как предел человеческого познания и можно говорить лишь о непрерывном процессе приближения к такому их соотношению (иными словами — к абсолютной истине) в ходе человеческого познания, так что на каждом его этапе то или иное понятие адекватно отражает лишь некоторые из признаков денотата, т. е. достигается лишь относительная, а не абсолютная истина. Таким образом, едва ли есть основания считать, что, если понятие и денотат находятся в изоморфном соотношении друг с другом, то десигнат и денотат в отличие от этого не находятся в таком соотношении. Тем не менее, понятия и десигнаты слов существенным образом отличаются по той их роли, которую они играют в процессах мышления. Так, десигнаты слов не являются структурными компонентами логических форм мышления. Суждение как форма мышления, фиксирующая относительно законченный акт мысли, в качестве своих компонентов включает не десигнаты слов, а понятия, и слово в составе предложения, выражающего суждение, обладает лишь способностью выразить понятие как структурный компонент этой формы мышления [40].

Далее следует отметить, что содержание абстрактного, обобщенного мышления в целом исчерпывается содержанием речи (внешне выраженной или внутренней), однако это последнее не сводится к сумме десигнатов языковых единиц, используемых в процессе речи.

Таким образом, существование наряду с понятиями, суждениями и другими неязыковыми категориями также и языкового десигната, в формировании которого определяющую роль играет фактор отражения объективной действительности, не означает, что есть два самостоятельных, парсаллельных и независимых друг от друга вида отражения действительно ти.

Вместе с тем необходимы дальнейшие исследования, которые бы более конкретно показали, каковы роль и соотношение указанных рядов явлений в едином процессе человеческого мышления и познания.

---

[38] Эта точка зрения, по-видимому, восходит к концепции А. А. Потебни о ближайшем (формальном) значении слова и его дальнейшем значении (понятии), из которых предметом языкознания является лишь первое (см.: А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, М., 1958, стр. 19—20).

[39] См.: «Философский словарь», М., 1968, стр. 107.

[40] См. подробнее: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971, стр. 6—10.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Ф. П. ФИЛИН

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Ускоряющиеся за последние десятилетия темпы научно-технической революции привели и все более приводят к лавинообразному росту информации во всех областях знаний, производственной и научной деятельности. Это влечет за собой огромный рост новых понятий и соответственно их наименований. Происходит двоякий процесс: резкое увеличение доступных только для специалистов специальных терминов, число которых в каждом высокоразвитом языке чрезвычайно разрастается и исчисляется миллионами, во много раз превосходя общепринятую лексику, и в то же время интенсивное проникновение специальной терминологии в общелитературный язык. Специальная терминология становится главным источником пополнения словарного состава литературного языка. Естественно, что внимание к ней — и не только лингвистов, но и всей общественности — должно резко возрасти. Проблема нормализации и регулирования терминологии приобретает большое научное и общественное значение.

Гигантское увеличение терминологии и всякого рода номенклатурных обозначений (обозначений товаров широкого потребления и специальных изделий, промышленных, сельскохозяйственных, научных, бытовых и иных) в каждом языке происходит не изолированно от других языков. В век научно-технической революции резко увеличивается лексическое взаимодействие языков, возрастает роль билингвизма. Огромной становится роль переводчиков научно-технической литературы. На каждом крупном предприятии, в научных учреждениях, в торговле, в обслуживании иностранцев, особенно в связи со все возрастающим туризмом, появляются кадры переводчиков, потребность в которых непрерывно растет. Положение осложняется тем, что круг языков, на которых появляется необходимая современному обществу информация, постоянно расширяется. Становится недостаточным знать традиционно общепризнанные европейские языки. Большая и нужная литература появляется на японском языке, возрастает роль хинди, арабского и ряда языков других развивающихся стран. Лингвистический изоляционизм безвозвратно уходит в прошлое, не имеет никакой исторической перспективы. Билингвизм, который зародился на заре человечества и имел разные ступени своего развития, теперь является жизненной потребностью человеческого общества, важным регулятором языкового развития. Скорее даже не билингвизм, а полилингвизм. Разумеется, речь идет не о том, чтобы каждый человек владел многими языками (полиглоты были и будут явлением редким, исключительным). Речь идет об обществе и его нуждах, о каждой нации и народности. В наше время ни одна цивилизованная нация и народность не может не иметь в своем составе людей, знающих иностранные языки, иначе ее прогресс окажется невозможным.

Разумеется, билингвизм и полилингвизм проявляются в разных странах неодинаково. В нашей стране эта проблема успешно решается на основе ленинской национальной политики. У нас осуществляется расцвет всех национальных языков и распространение среди всех наций, народностей и этнических групп русского языка как общепризнанного средства межнационального общения. Такое сочетание функций языков СССР приводит к интенсивному воздействию русской научно-технической терминологии на терминологию всех других языков. Русский язык стал могучим средством приобщения всех граждан нашей страны к достижениям советской и мировой научно-технической мысли и культуры. В свою очередь русское население пользуется научно-техническими и культурными богатствами, создаваемыми на языках других народов СССР: промышленность, сельское хозяйство, наука и культура имеют огромные успехи во всех союзных и автономных республиках, автономных областях. Переводы самого разнообразного характера с национальных языков на русский — явление обычное и продолжающее развиваться. Широко распространена и практика изучения национальных языков русскими учащимися, проживающими в национальных республиках. Наука, техника и культура в нашей стране являются общим достоянием, составляют единую советскую науку, технику и культуру новой исторической общности — советского народа.

Нам предстоит осуществить задачу огромной важности: каждый советский гражданин нерусского происхождения, владея своим материнским языком и содействуя его расцвету и распространению, должен также свободно владеть языком межнационального общения — русским языком. Для выполнения этой задачи предстоит сделать еще многое. В частности, Институту русского языка АН СССР совместно с Институтом языкознания АН СССР предложено, координируя свои действия со всеми заинтересованными организациями, разработать и осуществлять план содействия улучшению преподавания русского языка в союзных и автономных республиках и областях, повышения его функционирования как средства межнационального общения. Гармонический, лишенный и тени антагонизма, билингвизм и полилингвизм — вот наша программа. Программа эта выдвинута всем ходом исторического развития нашей страны, строящей коммунистическое общество, общество глубоко интернациональное, общество дружбы и товарищества всех советских народов, больших и малых.

Как известно, русский язык является также одним из международных языков. За русским языком стоит авторитет великой советской державы. Чем больше будет укрепляться этот авторитет, чем больше будут достижения советской науки, техники и культуры, тем больше будут потребности в изучении русского языка во всех странах мира. Между этими явлениями существует самая прямая зависимость. Для всех становится все более очевидным, что без советской науки, техники и культуры не может существовать мировая наука, техника и культура. Переводы с русского языка нашей громадной политической, научно-технической и иной литературы, прямые или опосредствованные (т. е. через другие языки), существуют во всех цивилизованных странах. А вслед за переводами последует и активное овладение русским языком определенной части населения во всем мире. Прежде всего, русский язык начинает выдвигаться как общий язык в социалистических странах, в большинстве которых он стал обязательным предметом школьного преподавания. Правда, преподавание это, как и преподавание иностранных языков в наших школах, не всегда дает желаемые результаты. В социалистических странах школьники и лица, окончившие среднюю школу, знают русский язык по-разному. Некоторые из них неплохо объясняются по-русски (таких меньшинство), другие только понимают напечатанное по-русски, а у третьих

знания оказываются очень слабыми. Далеко не удовлетворительно поставлено дело подготовки преподавателей русского языка и нужных пособий.

Но главное — дело начато. Интенсивность хозяйственно-культурного общения между социалистическими странами непрерывно возрастает, усиливается обмен учащимися и специалистами, сама жизнь подсказывает пути интеграции социалистических стран, и все это несомненно будет повышать роль русского языка как языка общего, особенно для славянских стран. Очень хорошо сказал о роли русского языка в Болгарии Тодор Живков: «Если заглянуть в ближайшее будущее, перед нами предстанет Болгария, где каждый человек, кроме своего родного языка, будет владеть и пользоваться для своего духовного роста и языком великого русского народа, тем более, что на этот язык, как ни на какой другой, переведено и непрерывно переводится все ценное, созданное и создающееся на языках других народов — больших и малых» [1]. Во всяком случае, русский язык в странах социализма одновременно изучают миллионы людей. Перед нами, советскими русистами, стоят большие и ответственные задачи всячески помогать процессу становления этого нового типа билингвизма; при этом национальные чувства населения социалистических стран должны полностью учитываться и уважаться.

Русский язык признан одним из международных языков в ООН, он начинает звучать на многих международных съездах и совещаниях, его изучают в школах, вузах, кружках, по радио и разными иными способами в развитых капиталистических и развивающихся странах всех континентов земли. Никому в точности неизвестно (и вряд ли может быть известно), сколько в мире людей говорит на русском языке или так или иначе пассивно владеет им. Вероятно, сотни миллионов. Это меньше, чем говорят на китайском языке. Однако китайский язык как международный язык для некитайского населения несомненно уступает русскому языку. Русский язык в наше время во всяком случае не менее распространен, чем испанский, французский и немецкий (если брать общее количество пользующихся этими языками в целом). Он лишь пока заметно уступает английскому языку. Конечно, мы кровно заинтересованы в усилении познаний русского языка как средства международного общения. У нас начинают приниматься меры, которые должны способствовать большему распространению русского языка на всех континентах земли. В частности, создан Институт русского языка имени А. С. Пушкина, целиком ориентированный на преподавание и пропаганду русского языка за рубежом, издательство «Русский язык» для тех же целей, выходит научно-методический журнал «Русский язык за рубежом», подготавливаются и издаются (правда, далеко не в полном объеме) нужные пособия, в наших вузах обучаются русскому языку многие тысячи иностранных студентов, работают курсы и кружки при многочисленных советско-иностранных обществах дружбы за границей и т. д. Но это только начало большой и ответственной работы. Мы, советские лингвисты, еще в большом долгу перед русским языком.

Обусловленный научно-технической революцией информационный взрыв и соответствующий ему гигантский рост наименований неизбежно влечет за собой интенсивный обмен языковыми ценностями, усиление межъязыковой интерференции. В пределах нашей страны особенно заметно воздействие русской научно-технической терминологии на терминологию других языков. В младописьменных языках эта терминология, можно сказать, создавалась заново, и тут воздействие русской терминологии

[1] «Болгарская русистика», София, 1974, 1, стр. 6.

особенно значительно. Единство народного хозяйства СССР, единство советской науки, техники, политики и идеологии с неизбежностью приводит к созданию общего для всех языков терминологического фонда, который становится общим культурным достоянием всего советского населения. Это, конечно, вовсе не означает, что не нужно способствовать развитию национальных терминологических систем с должным использованием национальных словообразовательных средств. Важно лишь, чтобы общепринятые термины, понятные населению, не заменялись искусственно придуманными словечками, которые создаются порой только для того, чтобы препятствовать укреплению общетерминологического фонда, и из узкоместных соображений создавать то, что было бы непохоже на общее, чего нет в языке межнационального общения. К сожалению, нужно отметить, что участие лингвистов в терминотворчестве пока еще очень незначительно, создание и распространение новых терминов происходит в основном стихийно, без какого-либо заметного регулирования. То же можно сказать и о терминологических системах средства межнационального и международного общения — русского языка. Между тем, тут происходит такое, о чем следует серьезно подумать.

Сначала приведу небольшую историческую справку. Заимствования, в том числе и терминологические, — явление нормальное и неизбежное. Происходили и происходят они неравномерно: по разным историческим причинам одни языки заимствуют из других языков больше, другие меньше, причем в разные исторические периоды как языки-источники на первый план выдвигается то один язык, то другой. Всем известна огромная роль греческого и латинского языков в Европе, старославянского в славянском мире, арабского на мусульманском Востоке и т. д. В основе интернационального словарного фонда лежит греческая и латинская лексика, которая и теперь является важным источником новообразований. Интенсивное проникновение западноевропейской лексики в русский язык началось в Петровскую эпоху. Причины его вполне понятны: научно-технические терминологические системы в России создавались почти заново, России нужно было догонять Запад во многих отношениях. Словообразовательные средства русского народного и книжнославянского языков были недостаточны, чтобы во всем удовлетворить огромные потребности новообразований. Русские переводчики научных и технических книг находились подчас в крайне затруднительном положении. Появилось множество непереведенных слов и калек. Тысячи из них вошли в состав русского литературного языка, хотя было много попыток изгнать их из употребления. В знаменитый первый академический словарь русского языка 1789—1794 гг. было сознательно не включено большое число иностранных слов, которые в XVIII в. уже прочно вошли в обиход. Конечно, было много и излишеств, впоследствии бесследно (или почти бесследно) исчезнувших. Ср. *бедекен* «прикрытие» (в военном деле) (нем. *Bedecken*), *радикс* «корень» (лат. *radix*), *маппа* «карта» (лат. *mappa* — первоначально «кусок полотна»), *триангулум* «треугольник» (лат. *triangulum*), *арей* «площадь» (лат. *area*), *антворт* «ответ» (нем. *Antwort*) и т. п.[2]. Таких примеров из письменности XVIII в. можно было бы привести тысячи. Русский язык, осваивая массу заимствований, в то же время освобождался от иноземного языкового шлака, не обогащавшего, а засорявшего речь. Однако нужно иметь в виду, что очистка его далеко не всегда была стихийной. Происходила острая борьба мнений, многое публично осуждалось, что сказывалось на судьбе тех или иных слов и выражений. Особенно высок

[2] Много подобного рода примеров приводится в содержательной книге Л. Л. Кутиной «Формирование языка русской науки (терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII в.)», М.—Л., 1964.

был авторитет крупнейших писателей, весьма важной оказывалась их языковая практика. Известно, что со второй половины XVIII в. начался массовый наплыв галлицизмов, многие из которых вошли в словарный состав русского языка, а многие отброшены. Фонвизин, Новиков и другие создавали отрицательное общественное мнение к неумеренной галломании. Великий Пушкин своим творчеством утвердил национальную основу русского литературного языка, преградил путь галломании карамзинистов и иных западников, вовсе не отказываясь от всего ценного, что получал русский язык от французского. Возникло выражение «французско-нижегородское наречие», которым обозначалось неумеренное смешение русского и французского языков, баловство и щеголяние французскими словами и выражениями, имеющими равноценные эквиваленты в русском языке.

Известное влияние французского языка на русский, то усиливающееся, то уменьшающееся, продолжалось вплоть до двадцатых годов нашего столетия. Теперь оно решительно сменилось воздействием английским. Среди международных языков на первое место вышел английский. В век научно-технической революции на английском языке формулируется множество открытий и достижений. Английским языком овладевает все большее и большее число людей. Японцы, индусы, многие западноевропейцы, приезжающие в нашу страну, обычно говорят не на своих родных языках, а на английском. Международные спортивные соревнования сопровождаются комментариями не только по-русски, но и по-английски. То же можно сказать о речи стюардесс на международных авиалиниях, обслуживающего персонала в гостиницах и ресторанах для иностранных туристов, гидов, сопровождающих иностранцев, и т. д. и т. п. А за рубежом английский распространен еще более. На английском языке печатается огромная научно-техническая литература, без которой нельзя обойтись специалисту, этикетки на многих заграничных товарах, инструкции и наставления к машинам и прочее. Такое распространение английского языка не может не оказывать воздействия на другие языки, особенно на их терминологические системы. Это воздействие часто встречает протесты и вызывает попытки активного вмешательства. Покойный генерал де Голль даже пытался административным путем запретить наплыв англицизмов во французский язык. Резумеется, никакие административные меры тут не помогут. Нужна терпеливая разъяснительная работа, повышение уровня филологического образования населения страны, подготовка достаточных кадров терминологов для активного вмешательства в стихийный терминологический процесс, создание соответствующего общественного мнения, особенно среди ученых и инженерно-технических работников, веское слово писателей. А нужно ли все это?

Недавно Н. Т. Федоренко выступил в «Литературной газете» со статьей «Не перевести ли на русский?» и привел тревожные факты бездумного терминологического подражательства иностранному в литературоведении. Но так обстоит дело не только в литературоведении, а и во всех отраслях науки и техники [3]. Завязалась оживленная дискуссия. Заключить эту

[3] Очень верно говорит С. П. Трапезников о языке некоторых работ по философии: «Не секрет, что некоторые философские работы излагаются таким тяжелым, заумным языком, который создает искусственные препятствия для их понимания. Их содержание подчас настолько обволакивается различными псевдоучеными словечками, что теряется суть и смысл излагаемых вопросов. Получается, будто эти философы пишут не для широкого круга читателей, а для себя, пуская в оборот столь сложную терминологию, что в ней бывает трудно разобраться без специальных словарей. Конечно, имеется ряд сложных философских понятий, а научно-техническая революция ввела в оборот много новых терминов. Но здесь должны быть свои границы; нельзя допускать, чтобы излишней усложненностью изложения, словесным жонглированием прикрыва-

дискуссию газета предоставила мне. После выхода в свет моей статьи я получил много писем от читателей — представителей разных специальностей и разных возрастов. Подавляющее большинство корреспондентов отнеслось к положениям моей статьи одобрительно, однако были и возражения. Некоторые читатели считают, что английские термины удобны, так как не вызывают никаких побочных ассоциаций, какие вызывают слова родного языка, что их внедрение в русский язык облегчает чтение научно-технической литературы на английском языке, что делать ничего не нужно, так как русский язык сам со всем справится и вообще никакой проблемы нет. Что плохого в таких словах, как *компьютер* или *лайнер*, тем более что они созданы на латинской основе — базе интернациональной лексики, а главное, точно обозначают соответствующие понятия?

В таких рассуждениях много верного. Русский язык освоил огромные пласты иноязычной лексики и многие способы словообразования и от этого не перестал быть русским языком. В словах типа *компьютер*, *лайнер* или *бит* и *байт* (разные единицы информации) ничего плохого нет; они уместны в русском языке. Проблема состоит не в качестве отдельного слова, а в количестве заимствованных англицизмов. Англицизмы (точнее, американизмы) входят в нашу научно-техническую терминологию и разного рода номенклатуру не сотнями и не тысячами (в таких количествах заимствовались западноевропейские слова в Петровскую эпоху и в более позднее время; в XVIII в. в русский язык было заимствовано что-то около пятнадцати тысяч иноземных слов, многие из которых отмерли), а сотнями тысяч, если не больше. Такого потока иноязычной лексики русский язык не испытывал никогда. Это не может не вызывать определенной тревоги за судьбы словарного состава русского языка.

Из специальной лексики англицизмы широко проникают в общую прессу. Буквально в каждом номере газеты и журнала появляются все новые и новые чужеземцы в английском обличии. Ср., например, *ро-ро* (сокращение из *roll on — roll off* «вкатывать — выкатывать» — новый тип судна, для погрузки и разгрузки которого не нужны портальные краны, так как в судне устраивается подъемная часть, откуда выбрасывается мостик, по которому грузы доставляются авто- или электропогрузчиками), *копимайстер* — сортировщик информации на телетайпе, *копирайт* — авторское право, *телекс* — абонентная телеграфная связь, осуществляемая при посредстве телефонной сети, и аппарат, предназначенный для такой связи, *телекар* — автомобиль с телевизионной установкой, *телетайп*, *телетайпный*, *хали-гали* (танец), *буги-вуги* (танец), *стрикеры* (любители появляться в общественных местах в голом виде) и т. д. и т. п. Ср. еще *бойлер* — водоподогреватель, *бойлерная* — котельная, *бойлерщик* — истопник, *бройлер* — цыпленок (соответственно *бройлерная фабрика* — фабрика, выращивающая мясных цыплят, *бройлерное производство* и пр.),

---

лись порой банальные мысли, а то и просто бессодержательность» (С. П. Трапезников, Общественные науки — могучий идейный потенциал коммунизма, М., 1974, стр. 46—47).

С. П. Трапезников приводит из некоторых философских работ такие примеры засорения языка, как *тело социума*, *социокультурный гомоморфизм*, *социостав*, *социабельность*, *методологическое конструирование* и другие темные словечки и выражения, взятые главным образом из иностранных источников. «Но беда состоит не только в засорении языка. Иногда дело обстоит гораздо серьезнее. Бывает, что в среду философов проникает убеждение в том, что подобная мнимая новизна и словесная эквилибристика и есть якобы средства творческого развития марксистско-ленинской философии. Те, кто пользуется этим, называют себя даже новаторами. Однако возведение подобных методов „философской работы“ в принцип есть сплошная вульгаризация марксизма-ленинизма и опошление его творческой сущности. Пора положить этому конец, решительно бороться за повышение качества научных исследований» (там же, стр. 48).

слайд — диапозитив, *микрослайд*, *киллеры* — тельца Т, «клетки-убийцы» (в иммунологии), *пресс-релиз* и многие другие англицизмы, имеющие точные соответствия в русском языке. Даже в фантастической литературе замелькали названия несуществующих еще орудий, машин, приборов и пр., взятые напрокат из американской фантастики, например, *бластер* — ручное оружие, извергающее сильную струю огня, *глайдер* — небольшая ракета на одного или несколько человек для передвижения в космосе (например, у Виктора Колупаева в его «Качелях отшельника» — М., 1974 и у ряда других писателей) и многое другое в этом роде. Даже собственные имена создаются на английский образец. В одной из фантастических повестей описывается кот *Найт* (англ. *night* «ночь»), обитающий в квартире русского человека, живущего на самой короткой улице Москвы — Ленивке.

У фантастов не хватает воображения, чтобы создавать собственные фантастические предметы и их русские наименования. Недавно в газетах было сообщено (без перевода), что т. N. провел для советских и иностранных журналистов «первый *брифинг*» (англ. *briefing* «инструктаж, инструктивное совещание»). Показательно также, что среди некоторой части студенчества распространяется жаргон, пестрящий английскими словечками, переделанными на русский лад. «Моя *герла*» (англ. *girl* «девушка»), «она меня не *лавит*» (англ. *love* «любить») и т. д. и т. п. (как об этом сообщил мне Л. В. Малаховский). *Супермен* заменяет *стилягу* (ср. «*супермен* из Жмеринки» в повести А. Круглова и Ю. Кларова «За строкой приговора», М., 1974). Совершенно прав писатель Л. В. Успенский, когда заявляет: «Неприятной бывает и нередко встречающееся в наши дни замена доброкачественного русского слова более „интеллигентным“ — иностранным. Особенно печально, когда в результате таких замен старое, чисто русское слово ни с того ни с сего выпадает вдруг из речи. Почему все чаще и чаще вместо „поле“ или вместо просто „огород“ встречаешь слово „плантация“» (Е. Фадеев, Слово о словах, Пр. 7 I 75). *Плантация*, конечно, из английского *plantation*. По-видимому, для некоторых писателей (и не только писателей) англицизмы, в которых нет особой нужды, выглядят «модней», «культурней», «импозантней».

Такие примеры из нашей общей прессы и из других средств массовой информации можно было бы приводить бесконечно. Какую бы область науки и техники мы ни взяли, всюду англицизмы в их американском варианте встречаются в изобилии. Ср. *ноу-хау* — непубликуемые сведения о технологии изготовления изделия, *нью-арт* — новая область техники, *роялти* — периодическое отчисление (за право пользования патентом) и т. д. и т. п. Даже тогда, когда научные и технические новинки впервые появляются в нашей стране, их нередко стараются именовать по-английски. Например, в микробиологии, как свидетельствует акад. В. Энгельгардт, мы сумели «опередить зарубежную промышленность — первые наши наборы ревертазного китт'а появились раньше и были более полными, чем те, что впоследствии стала выпускать одна из крупнейших фирм в США, „КАЛБИОХЕМ“» [4]. И все же набор всех препаратов и реактивов, позволяющий проводить определение активности ревертазы, получил у нас английское обозначение *китт*. То же произошло с полученным синтетическим веществом, необходимым для того, чтобы заставить ревертазу действовать. Русское обозначение *затравка* заменяется английским *праймер*. Сама идея ревертазы, когда при определенных условиях можно проводить в генах клетки обратный синтез, впервые в науке была высказана советским ученым С. М. Гершензоном в 1960 г.

[4] В. Энгельгардт, Проект «ревертаза», «Наука и жизнь», 1974, 6, стр. 4.

В век научно-технической революции в США происходит не только информационный взрыв, но и взрыв в создании научно-технической и связанной с наукой и техникой бытовой терминологии, причем термины создаются не обязательно на греко-латинской основе, но и из чисто английских слов, которым почему-то не мешают излишние побочные семантические ассоциации. Иностранное (не греко-латинское) влияние на создание миллионов новых терминов и названий-этикеток ничтожно, воздействие русского языка близко к нулю. Между тем грандиозное развитие социалистической экономики, науки и культуры для всех очевидно. Экономика стран СЭВ — одна из самых мощных в мире. В некоторых видах экономической деятельности наша страна не только догнала, но и перегнала США. Во всяком случае разрыв в науке и технике дореволюционной России и Запада был неизмеримо больший, чем теперь. Казалось бы, что объективных условий для о д н о с т о р о н н е г о движения английской (т. е. американской) лексики не существует. Между тем лингвистическая действительность находится в резком противоречии с научно-технической ситуацией. На то, конечно, есть различные причины.

Словообразовательные средства русского языка не оскудели, возможности их неограниченны, но используются они в гигантском росте научно-технической терминологии очень недостаточно. Проще, бездумней использовать вычитанную и непереведенную из литературы на английском языке терминологию, чем создавать свою собственную. Не изжиты еще и иные психологические основания: чем иностранней и непонятней, тем якобы ученей и цивилизованней. Бывает, что за темнотой языка удобно прятать пустоту содержания. За примерами ходить недалеко: самим лингвистам, по-моему, до смерти надоели языковедческие работы, крайне перенасыщенные иностранной лексикой. Кстати, то же самое можно сказать и о всякого рода без надобности употребляемых математических формулах [5]. И все же такие работы продолжают появляться и в довольно большом числе.

Конечно, время пуризма прошло. Интенсификация международных связей во всех областях деятельности, развитие двуязычия и многоязычия неизбежно влечет за собой и заимствования, в том числе и из английского языка. Конечно, каждая наука имеет свои терминологические системы, многие звенья которых иноязычны, интернациональны и для непосвященных непонятны. Никто не может призывать к отказу от иноязычной терминологии, но всему должны быть свои пределы. Беспрецедентное в истории русского языка по своей массовости вторжение англицизмов в русскую научно-техническую терминологию нельзя считать нормальным. Ненормально равнодушное и тем более одобрительное отношение к этому явлению. Предел иноязычному вторжению можно положить только тогда,

[5] Конечно, нужно всячески поощрять применение математических методов в языкознании, поскольку в языке имеются явления, поддающиеся количественному учету. И в то же время нельзя терять чувства меры. Известный математик Гуго Штейнгауз в статье «Что такое математический метод?» («Наука и жизнь», 1974, 10, стр. 53) пишет: «Люди, далекие от математики, склонны приписывать ей непогрешимость, которой она не обладает, и усматривать в математических формулах своего рода „философский камень“... Действительно, если биолог оперирует такими расплывчатыми понятиями, как „влияние окружающей среды“, „наследственность“, „раса“, „приобретенный признак“ и обозначает их математическими символами, то от этого понятия не становятся лучше определенными». И далее: «Часто совершают еще одну ошибку: считают „величиной“ то, что не поддается измерению. Формула, являющаяся отнюдь не конечной целью прикладной науки, а лишь средством для описания и понимания известных и предсказания новых явлений, становится при этом надгробием мысли, на котором следовало бы написать: „торжество науки над здравым смыслом“. Интересно заметить, что математики таких недоразумений не любят и часто предостерегают от переодевания нематематического содержания в математический наряд».

когда вокруг него будет создано должное общественное мнение, когда все проникнутся ответственностью за судьбы великого русского языка.

Вряд ли можно считать нормальным, когда вместо уже укрепившихся русских слов в футболе вновь возвращаются старинные знакомцы *стопер*, *хавбек*, *голкипер* и прочие, которые опять замелькали в речи комментаторов и в спортивной прессе. Мода в жизни общества — явление, с которым надо или приходится считаться. Однако разные бывают моды. Одним из них стоит подражать, против других надо бороться. Когда речь идет о дани языковой моде, нужно всегда иметь в виду, что за лексическими передвижениями из одного языка в другие стоят важные экстралингвистические факторы — научно-технические, идеологические, моральные и иные. Мы за укрепление и расширение интернациональной терминологии. В то же время прискорбно наблюдать, когда во многих текстах в специальной и даже в общей прессе русскими оказываются только служебные слова и грамматическое оформление. А в век научно-технической революции специальная терминология стала главным источником пополнения словарного состава общелитературного языка. В этой обстановке особенно актуальны слова В. И. Ленина в защиту русского языка от вредного его засорения ненужными иностранными словечками. Конечно, русский язык может многое переработать и освоить, как это бывало не однажды в его многовековой истории. Но полагаться только на его стихийное самоочищение — дело опасное. Наше будущее в наших руках. Каждый, вводя в свою речь неологизмы иностранного происхождения, должен проникнуться чувством ответственности за будущее великого русского языка. И уж вовсе не к лицу серьезным ученым «птичий язык», который малопонятен даже специалистам. Если когда-то справедливо осуждалось «французско-нижегородское наречие», то еще более отрицательной оценки заслуживает «американо-нижегородский сленг», который не имеет никакого оправдания. В «Литературной газете» был поднят вопрос об этом в статье Н. Т. Федоренко «Не перевести ли на русский?».

После окончания дискуссии в «Литературной газете» (22 V 74) была помещена юмореска В. Егорова «Ту би ор нот ту би», которую я позволю себе привести здесь (с некоторым сокращением) без комментариев (они излишни): «— Хэлло,— сказала она и достала „лаки-страйк“.— Хэлло, бэби,— я щелкнул лайтером „ронсон“. В баре висел смог, как над картинговым треком. Эркондишн, как всегда, не фурыкал. Да и вообще бар был не тип-топ — какой-то поп-артистский по дизайну. Я заказал двойной скотч и драймартини.— Как бизнес? — спросил я.— Хреново, никакого профита! Она опустила голову. Всего на инч. Но я недаром вкалывал в „Ллойд, ллойд энд Прайс лимитэд“ — „Спешиал сёрвис фор резидентс“: я заметил, как она опустила голову. Всего на инч. Не больше. Биг-битбэнд свинговал „Кам бэк ту Вирджиниа“, любимую тему эпохи „бебопа“. Тинэйджеры в джерси, джемперах, блейзерах и блуджинсах „Ли“, „Ливайз“, „Рэнглер“ потягивали хайболлы, джусы и оранджусы, уминали хотдоги, совмещая ланч с файвоклоком. Гёрлс давали шоу со стриптизом.— Потопали до хаты! — вдруг сделала она оффер.— А что там? ТВ с его вестернами и паблисити обрыдло хуже горькой редьки! Опять кока-кола, „Марлборо“ и слайды? Ты знаешь, Мэри, мне ненавистен истэблишмент! — Мне тоже, Билл. Может, послушаем „Роллингов“ на твоем новом „хайфай“ квадрофонике? — О кей, едем. Мы вышли в холл. Бой-ниггер торговал дайджестами, бестсэллерами и прочими мэгэзинами. Пьяные джи-ай горланили непристойные сонги и по-дурацки хохмили.— Ты меня любишь? — спросил я, открывая дверцу своего тарантаса — не то джипа, не то багги, словом, фанни-кара.— Nein,— почему-то по-ненашенски ответила она.— Пипл, вы не в центр?— спросил какой-то

джокер, должно быть, просто крэйзи.— Нет, мы в парадиз! — горько сострил я, включая стартер и дефростер. Мы мчались по каким-то авеню, стритам, байстритам, дистриктам и риверсайддрайвам... На спидометре спид — 200 миль. Тайм из мани! Ту би ор нот ту би... Какой-то нас ждал энд?.. Хэппи? Что-то не беливилось».

Все или почти все слова, приведенные в юмореске, действительно употребляются во многих наших изданиях, причем без кавычек и не только при описании американской жизни. Вот вам и «американо-нижегородский сленг»! Что с ним делать, roll-on? Нет, roll-off. Не вкатывать, а выкатывать!

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

Н. А. СЫРОМЯТНИКОВ

КАК ОТЛИЧИТЬ ЗАИМСТВОВАНИЯ ОТ ИСКОННЫХ ОБЩНОСТЕЙ В АЛТАЙСКИХ ЯЗЫКАХ?

Какие бы сомнения ни возникали относительно генетических связей алтайских языков, никто не вправе сомневаться в том, что в каждом из них имеется некоторое число как древних, так и более новых заимствований. Противники алтайской гипотезы пытаются даже объявить все общие для тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских языков полнозначные и грамматические морфемы заимствованиями. Однако при этом игнорируется огромный материал корейского и японского языков, фиксируемый с довольно древней эпохи (японский с VIII в.), прекрасно лингвистически изученный и фонетически интерпретированный [1]. Мнение Е. Д. Поливанова о гибридном (алтайско-малайском) происхождении японского языка ныне подтверждается сотнями вновь найденных общностей, не говоря уже о большом типологическом сходстве как в общем плане (алтайский порядок слов), так и в деталях.

Казалось бы, прежде чем объявлять какое-либо слово заимствованием из тюркского в монгольский (или наоборот), надо проверить, не зафиксировано ли оно в древних памятниках японского и корейского языков. А. Рона-Таш приводит 15 соответствий между тюркскими и монгольскими названиями частей тела, считая их заимствованиями из тюркского потому, что в монгольском их значение у́же; для названий той же части тела есть другие, «собственно монгольские» слова [2]. Например, Т [3] *qïl* «волос»~ М *kilγasun* «конский волос», но М *hüsün* «волосы». Добавим: К *кальги* «грива» (метатеза гласных), Та *kiling* «грива», *kilikili* «подмышки», *kilay* «ресницы», Э *келгахун/килгахун* «конский волос» (из М), *келаман* «ресница», ДЯ *kë/ka-* «волосы». Выходит, что сужение значения объясняется особым суффиксом (*-γa/-ги/-iŋ*). Можно считать, что протояпонский язык (по-видимому, под влиянием субстратных языков, имевших только открытые слоги) утратил конечнослоговые согласные. Якут. *кыл* «конский волос» [4] показывает, что значение «волос» могло сузиться и на тюркской почве (если бы якут. *кыл* было заимствованием из монгольского, оно сохранило хотя бы один суффикс). Как видно, морфология остается самым слабым местом в алтаистических штудиях. Так, А. Рона-Таш, известный монголист, не делит монгольские слова на морфемы дефисом, хотя сравнивать можно не слова в целом, а только общие в них морфемы. Отсутствие такого деления является крупным недостатком «Этимологического словаря

---

[1] «Jidaibetsu-kokugo-daijiten, jōdaihen», Tōkyō, 1967. В этом словаре зафиксировано около 20 000 древнеяпонских слов, из них 6500 записаны по слогам; произношение остальных известно по словарям X в.

[2] А. Рона-Таш, Общее наследие или заимствования?, ВЯ, 1974, 2, стр. 34.

[3] Принимаются следующие сокращения: ДЯ — древнеяпонский (VI—VIII вв.), И — индонезийский, К — корейский, М — среднемонгольский, Ма — маньчжурский, СК — среднекорейский, скр.— санскрит, Т — древнетюркский, Та — тагальский, Ту — тунгусо-маньчжурский, Э — эвенкийский, Я — японский (после IX в.).

[4] «Якутско-русский словарь», под ред. П. А. Слепцова, М., 1972.

русского языка» М. Фасмера, а также и «Древнетюркского словаря» (хотя последний не ставит себе этимологических задач, этимологи его используют). Что касается гласного в *kë* «волосы», то ДЯ *ë/a-* примыкает к К *а* и Э *е*. Обычно же Т *ke/ki* ~ ДЯ *ki* : Т *kel/kil* «приходить» ~ ДЯ *ki* «приходя», Т *kej-/kij-* «надевать» ~ ДЯ *ki* «надевая», но Т *kir-* ~ ДЯ *ir-* «входить»; Т *qï* ~ ДЯ *kï*: Т *qïsï-l* «теснина; ущелье» ~ ДЯ *kïsı*, К *кисы(ль)к* «берег (реки)»; Т *qïraγu* «иней» ~ ДЯ *kïrı* «туман» (буквой *ı* обозначается *і* или *ї* после тех согласных, после которых в ДЯ они уже не различались [5]).

Можно понять «антиалтаистов», для которых подобные сопоставления нежелательны, так как они опровергают положение о появлении всех общностей в результате заимствований. Но почему сторонники алтайской теории игнорируют японский материал, это понять труднее [6]. Видимо, им трудно безошибочно выбрать из японско-русских словарей древние слова, обойдя китаизмы, которых там около половины [7] (а в корейско-русских — еще больше). Немудрено, что лингвисты, берущиеся за сравнение корейских и японских морфем с алтайскими или индоевропейскими без знания иероглифики, рискуют принять за японский корень заимствование из китайского [8] или не учесть того, что двумя иероглифами обычно пишется сложное слово. Так, Я *namae* «имя» сравнивают с скр. *nāmān* [9], упуская из вида, что *namae* состоит из двух корней: *na* «имя» и *mae* (<*mape*) «перед». Однако ДЯ *na* «имя» может восходить к о д н о с л о ж н о м у индоевропейскому слову, например, к тохарскому *ñom*. Считая сходство между японским *namae* и немецким *Name* случайным совпадением, Мураяма Ситироо возводит *na* к двусложным словам индонезийских языков [10]. Однако нет других примеров сокращения при заимствовании в японский двусложных слов в односложные, которых в древнеяпонском было всего несколько десятков. Из 43 малых языков Филиппин только два имеют односложное слово *ngan* «имя» [11], которое можно было бы сопоставить с ДЯ *na*, но только при условии, что *ŋ-* дает в японском *n-*, а не *g-*. Но ср. Я *gabugabu* «большими глотками» ~ Та *ngabngab* «поглощение пищи с жадностью», *Э габу-* «напиться; выпить» [12]; Я *gatigati* «дрожа; лязгая; жадно» ~ Та *ngatngat* «обгрызание; обгладывание; клев»; Я *gasagasa* «шелестя» ~ Та *ngasngas* «шум; крик»; Я *garagara* «пусто; стуча; погремушка» ~ Та *ngalangngalang* «гортань» [13], т. е. тагальское *ŋ-* ~

[5] См.: Н. А. С ы р о м я т н и к о в, Древнеяпонский язык, М., 1972, § 7 («Система гласных фонем»).

[6] Так, в «Очерках сравнительной лексикологии алтайских языков» (Л., 1972) приведен только один (!) японский пример, хотя из имеющейся литературы на русском и английском языках можно было извлечь сотни морфем, сопоставимых с изучаемыми в этой ценной (в других отношениях) работе.

[7] «Большой японско-русский словарь» под ред. Н. И. Конрада (1—2, М., 1970) указывает на санскритизмы и заимствования, сделанные в последние века, но не отмечает специальной пометой китаизмы, так как японисты отличают их легко (по конечно-слоговым *-N*, *-k*, *-t*, обилию палатализованных и долгих).

[8] См.: Ст. М л а д е н о в, Смесениат алтайско-индоевропейски характер на японския език и неоспоримото наличие на алтайски и индоевропейски елементи в японски, «Сборник в чест на акад. А. Теодоров-Балан», София, 1955, где примерно половина приведенных японских слов — китаизмы. Но основная мысль статьи правильна.

[9] См.: А. Б. Д о л г о п о л ь с к и й, Гипотеза древнейшего родства языков Северной Евразии, «VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук», М., 1964.

[10] M u r a y a m a S h., Nihongo-no gogen («Японские этимологии)», Tōkyō, 1974, стр. 69—71.

[11] «Philippine minor languages. Word lists and phonologies», ed. by L. A. Reid, University of Hawaii Press, 1971, стр. 107.

[12] Г. М. В а с и л е в и ч, Эвенкийско-русский словарь, М., 1940, стр. 29.

[13] М. К р у с, С. П. И г н а ш е в, Тагальско-русский словарь, М., 1959, стр. 222—223.

Я *g-*. Точно так же ср. -кит. *ŋ-* дает в японском *g-*, а не *n-*: **ŋu* «5» > ДЯ *go*, **ŋu* (название диалекта района Шанхая — Нанкина) > *go* (совр. пек. У) и др. Надо иметь в виду при этом, что в древнеяпонском вообще не было начальных звонких. Ономатопоэтические слова в этом отношении отличаются от других. Но в старых текстах их очень мало.

С большей тщательностью, чем это делается сейчас, надо сравнивать алтайские корни с китайскими. Для морфем, заимствованных, как можно думать, давно, надо брать не формы современного пекинского диалекта, утратившего все конечные согласные (кроме *-n* и *-ŋ*), а реконструированное древнекитайское (или среднекитайское) произношение, как это сделал С. Е. Яхонтов для «Древнетюркского словаря» [14]. К сожалению, наши тунгусоведы продолжают сравнивать общетунг. *mō* «дерево» с современным китайским *mu* [15], хотя *mu* < **muk*, что с очевидностью доказывают К *мок* и Я *моки* (из кит.) [16]. Скорее *mō* — слово общеалтайское: *mō* ~ ДЯ *möri* «роща», К *те* (< СК *moy*) «гора» [17], М *mo-dun* «дерево», а если учесть, что в тюркском языке «неудобные» в анлауте сонанты нередко передвигались внутрь слова, то и Т *orman* «лес».

В журнале «Вопросы языкознания» № 2 за 1974 г. напечатаны три важные статьи по алтайской проблеме [18], без учета которых вряд ли можно писать по этому вопросу в дальнейшем. Некоторые их положения, однако, требуют уточнения.

Л. Г. Герценберг поднимает важный вопрос, когда говорит как о необходимом шаге при этимологизировании о «фонетическом переведении, перекодировании слова или другой единицы по звуковым законам — на родственные... языки и поисках сконструированной единицы в сравниваемом языке» (ЛГ, стр. 50).

Признавая правильность такого метода, надо сделать существенную оговорку: он работает при условии совпадения числа фонем в сравниваемых морфемах двух языков. Если же морфема п е р в о г о языка испытала сильное сокращение своего фонемного состава (так, в древнеяпонском нет уже стечений согласных), как же можно д о сравнения установить, какой именно звук выпал? Очевидно, надо сначала восстановить п о л н у ю форму, а потом уже этимологизировать. Но Л. Г. Герценберг сравнивает Ма *тикэ* «вода» с Т *buγra* «верблюд-производитель» (ЛГ, стр. 52), а Е. П. Лебедева считает, что Ту *му* само по себе значит «вода», а *кэ* в Ма *мукэ* восходит к кит. *хэ* «река» (ЕЛ, стр. 100). Но ряд — Ма *мукэ*, нанай. *муэ*, Э *мӯ*, эвен. *му* [19] — наводит на мысль, что *му* возникло в результате сокращения *мукэ*. В живых маньчжурских диалектах *мукэ* имеет вариант *тики* [20], а кит. *хэ* < **ка*. В Э *муку-* «проглотить; набрать в рот жидкости» (~Я *тики-т-* «отекать») удерживается более раннее *-и*. Мало того: К *муль* (< СК *mïl*) «вода», *му(ль)к-* «жидкий», эск. *мык/мылг-* «вода» (при Т *mïγ-ar* «родник») дают возможность восстановить праформу * *mïlku*

---

[14] «Древнетюркский словарь», Л., 1969.

[15] Л. В. Дмитриева, Названия растений в тюркских и других алтайских языках, «Очерки сравнительной лексикологии алтайских языков», стр. 157.

[16] См.: Н. А. Сыромятников, Методика сравнительно-исторического изучения общих морфем в алтайских языках, «Проблема общности алтайских языков», Л., 1971, стр. 57.

[17] S. E. Martin, Lexical evidence relating Korean to Japanese, «Language», 1966, 2. Далее эта работа обозначается SM + номер этимологии.

[18] А. Рона-Таш, Общее наследие или заимствования? (далее — АР-Т); Л. Г. Герценберг, Об исследовании родства алтайских языков (далее — ЛГ); Е. П. Лебедева, Редуплицированные и парные слова в маньчжурском языке (далее — ЕЛ).

[19] Г. М. Василевич, Эвенкийско-русский словарь, М., 1958, стр. 258.

[20] K. Yamamoto, A classified dictionary of spoken Manchu with Manchu, English and Japanese indexes, Tokyo, 1969, стр. 15.

«вода» (ср. др.-русск. *молокита* «болото»... «связано с *молоко*», Фасмер, II, стр. 645).

Надо учесть и чрезвычайно широкое распространение этого названия воды/молока. О. Н. Трубачев приводит тохар. *malke* «молоко», и.-е. **melg-* «доить», араб. *m-l-g* «сосать грудь». Отмечая, что «носители праиндоевропейского языка не умели доить скот», он с полным основанием полагает, что «**melg-* означало что-то другое, быть может, высасывание» [21]. Ма, Э *муку-* «набрать в рот жидкость» (ср. ДЯ *рикит-*) подтверждает правильность этого мнения.

Прежде чем сравнивать Т *buγra* (а лучше М *buγura* как полную форму) с Ма *тики* «вода» надо решить, что такое *-ra*: если *-ra* — часть корня, то *buγura* с *тики* вообще не сопоставимо. Если же *-ra* — суффикс, то надо его отделить и найти слова с тем же корнем без суффикса: Т *buγu* «олень» (самец?), *buqa* «бык-производитель» (> русск. *бугай*); ср. Э *бугу/бугэ* «изюбр-самец весною», Ма *буга* «изюбр», Э *бука* «олень-производитель». Выходит, что *buγu/buγa* — общеалтайское название самца парнокопытных, которое лишь относительно поздно было распространено на верблюда (утверждаем это, исходя из того, что производные слова появляются позже соответствующих простых). Выводы: 1) *б-* в тюркских названиях самцов ~ *б-* в других алтайских языках (а не *м-*); 2) сравнивать производное слово одного языка с простым словом другого можно только в случае отсутствия в первом языке простого слова с тем же корнем.

Е. П. Лебедева находит в маньчжурском сложные слова, состоящие якобы из двух односложных синонимичных корней: китайского и маньчжурского (или наоборот). При этом она ссылается на В. П. Васильева, который сто лет тому назад высказал такие мысли еще до Н. Я. Марра (ЕЛ, стр. 100). Но в XIX в. тунгусские языки еще не были изучены, а древнекитайский язык не был реконструирован. Тем не менее и тогда могло быть известно, что Ма *ахунь* «старший брат» не «парное слово», а чистый китаизм: в диалекте У *а-* является ласкательным префиксом терминов родства. Ряд слов с *а-* целиком заимствован в корейский язык: *any* «батюшка». Точно так же кит. *а-сюн* > Ма *ахунь* [22], ДЯ *as'e/asö* — ласковое обращение к мужчине (некоторые возводят *as'e* к М *aha*, но обычно *s* > *h*, а не наоборот). Е. П. Лебедева считает парным словом и Ма *агэ* «старший брат мужа» (тоже чистый китаизм), отмечая, что «это слово выражает особое уважение»,— но это объясняется не «спаренностью синонимов», а значением китайского префикса *а-*, который Е. П. Лебедева неправомерно возводит к корню *ха* в Ту *хала* «род; племя» (ЕЛ, стр. 100). Попытку расчленить *хала* предприняла ранее В. И. Цинциус [23]. Однако существует способ проверить правильность деления на морфемы такого древнего (судя по значению) двусложного слова. Поскольку сложные слова появляются позже простых, они, как правило, не имеют соответствий в дальнеродственных языках. Так, ДЯ *suna* «песок» состоит из двух корней: *su* «отмель» (при *sur-* «тереть» ~ Т *sürt-*) + *па* «земля» (~ Ту *па* то же). Но хотя каждый корень слова *suna* имеет соответствия, сложное слово в целом их не имеет. Между тем Ма *хала* (< **кала* ~ Э диал. *калан*) ~ нивх. *q'al*, яван. *kula* «род». В древнеяпонском *-kara* встречается в нескольких сложных словах на втором месте: *paragara* (*para* «живот» ~ И

---

[21] О. Н. Трубачев, Происхождение названий домашних животных в славянских языках, М., 1960, стр. 9.

[22] В насыщенной материалом статье В. З. Панфилова «Нивхско-алтайские языковые связи» (ВЯ, 1973, 5, стр. 10) приводится и Ма *ахань* «старший брат»; в наших материалах его нет.

[23] В. И. Цинциус, О названиях, связанных с понятием «народ» в тунгусо-маньчжурских языках, «Acta orient. Hung.», XV, 1—2, 1962, стр. 45—46.

perut) «единоутробные братья и сестры»; *ugara* (*um-* «рождать» ~ Т, М *umaj* «матка») «сородичи», *tömögara* (*tömö* «друг; вместе» ~ И *teman* «друг») «сотоварищи». Озвончение начального глухого второго компонента является действующим законом на протяжении всей известной истории японского языка. Подобно корейскому и китайскому (а, с другой стороны, айну и полинезийским языкам), японский имеет только один плавный сонант как особую фонему (*-r-*). Но сравнения с алтайскими и малайскими языками говорят о том, что в протояпонском были и *-r-*, и *-l-*. ДЯ *-kara* «род» < **kala*. Ср. и Т *qalïn* «толпа», М *qarin* «род» («Сокровенное сказание монголов»). Выходит, что *kala* — очень древнее общеалтайское слово, которое нельзя членить даже на прототунгусо-маньчжурском уровне.

Еще меньше оснований членить Э *ламу* «море» на кит. *ла* «вода» и Ту *му* «вода» (ЕЛ, стр. 101). Ни мне, ни опрошенным мною китаистам и китайцам китайская морфема *ла* «вода» неизвестна. Если и есть такой редкий корень, означающий что-то близкое к влаге, то он относится к сфере старописьменного языка, а бесписьменные в прошлом тунгусские народности могли воспринимать заимствования только изустно (общекитайское название воды — *шуй*). Утверждение, что тунгусы, живущие в тайге и на берегу Охотского моря, не имеют своего названия ни для дерева, ни для воды, ни для моря, требует, безусловно, разъяснений и по крайней мере — разбора других предложенных в печати этимологий слов *мō*, *мукэ* и *ламу*. Если бы *лāму* было «спаренным словом», оно не могло бы сокращаться в *лāм*, иметь вариант *лāмэ* [24], переходить в эвенском языке в *нам* и т. п. Кстати, Е. П. Лебедева не отмечает долготы *а* в *лāму*, которая сохраняется во всех эвенкийских диалектах, по-видимому, учитывая, что в китайском нет долгих гласных фонем (ни в одном из многих тысяч китаизмов в японском нет долготы *а*). Если указать на долготу *а* в *лāму*, это будет говорить против признания *лā-* китаизмом.

На самом деле, *лāму/наму/нам* ~ ДЯ *nami* «волны», тайск. *нам* «вода», М *намаг* «болото» и т. д. Возникает вопрос, что здесь древнее — *l-* или *n-*? Н. Н. Поппе считает, что *n-* > *l-* под влиянием *-m-* следующего слога [25]. Однако есть немало соответствий *l-* : *n-*, при которых второй слог начинается не с *-m-*, а с другого согласного: Э *лукī-* «стрелять из лука» ~ ДЯ *nik-* «пронзать»; Э *лук-* «снять (одежду, обувь)» ~ ДЯ *nug-* «снимать (платье, обувь)», Та *lugas* «оторвавшийся; опавший»; Э *лупа-* «вонзить» ~ К *нуби* «стежка», ДЯ *пир-* «шить; прошивать», нивх. *нух* «игла», эск. *нӯв-акā* «продевает», *нув-ун* «кончик нитки» и др. Из системных соображений более древним считает *l-* и Г. П. Мельников [26].

А. Рона-Таш полагает, что «... те, кто защищает идею генетического родства, склоняются к отрицанию возможности более ранних контактов и считают все соответствия, датируемые периодом до XIII в., общим наследием из протоалтайского языка» (АР-Т, стр. 31). Если кто-то (кто именно?) отрицает заимствования до XIII в., он, конечно, неправ. Но к алтаистам-японистам такой упрек не относится. Ниже будут предложены способы отличения исконных общностей от дописьменных (т. е. до VIII в.) заимствований, а также заимствований, сделанных в классическую эпоху и позже, когда в японском появились слова с начальными звонкими, двойными согласными, сочетаниями согласных *-nt-*, *-nd-*, *-mp-*, *-mb-*.

---

[24] Все это явления, характерные для конца неодносложного слова (см.: Б. А. Серебренников, Вероятностные обоснования в компаративистике, М., 1974, стр. 65).

[25] N. Poppe, Vergleichende Grammatik der altaischen Sprachen, I, Wiesbaden, 1960, стр. 74.

[26] Г. П. Мельников, Алтайская гипотеза с позиций системной лингвистики, «Проблема общности алтайских языков», стр. 72.

К относительно новым словам, появившимся в начале нашей эры, но до памятников древнеяпонского языка (VI—VIII вв.), относятся слова, обозначающие новые предметы материальной культуры, по археологическим данным не характерные для более ранней эпохи,— изделия из бронзы и железа (колокола, мечи)[27], сельскохозяйственные термины рисоводства и садоводства, а также все слова, у д е р ж и в а ю щ и е о м е р т в е в ш и е с у ф ф и к с ы алтайских языков, не сохранившиеся в более древних общностях.

Какое п р и н ц и п и а л ь н о е значение имеет привлечение японских, корейских, индонезийских материалов?

1. С их помощью слова, считавшиеся только монгольскими (resp. тюркскими или тунгусскими), можно причислить к общеалтайскому фонду. Таковы: М *čisun* (< **ti-sun*) ~ ДЯ *ti* (> новояп. *či*) «кровь»; М *čikin* «ухо» ~ ДЯ *kik-* «слышать» (в ряде слов алт. *č* ~ ДЯ *k*: Т *ač-* «открывать» ~ ДЯ *ak-* «открываться»); Т *aq* «белый» ~ ДЯ *aka-* «красный; светлый»; Т *aγïz* «рот» ~ ДЯ *agi* «жабры; верхняя челюсть», К *агари* (*r'* ~ Т *z*) «дыра; пасть; рот», протоур. **aŋ* «челюсть». В. З. Панфилов приводит также нивх. *ынг* «рот; пасть», Ма, Э *анга* «рот; пасть», М *ангайх* «разевать рот» и др.[28]; (в Я *-ŋ-* — вариант фонемы *g*[29]) Я *aŋ:uri* «широко (о разинутом рте)».

2. В ряде случаев удается установить связь с более широким кругом языков, чем только алтайские. После работ В. М. Иллича-Свитыча[30] уже нельзя думать, что алтайские, уральские, индоевропейские, картвельские и семитские языки совсем не имеют древних общностей. Минимально надо признать наличие известного слоя сходных корней (ономатопоэтических, образоподражательных[31], культурных слов, но и не только их) у всех этих семей (включая корейский и японский). Так, и.-е. корень **pī* «пить» ~ ДЯ *pit-* «намокать», *pit-as-* «намачивать; про-пит-ывать; воспит-ывать; вскармливать (ребенка)», *pit-ar-* «расти; становиться взрослым», эск. *пīту-н* «растение»[32], Т *bat-* «погружаться»; и.-е. **pel/ple* ~ ДЯ *pï/pö-*, К *pul* < СК *pïl*, коми *би* «огонь».

На вопрос, можем ли мы быть уверены в том, что в протояпонском языке был именно тот согласный, который сохраняется в других языках, надо ответить, что согласный часто удерживается в двусложных формах глаголов: ДЯ *pï/pu-r-* «сохнуть», *pö-s-* «сушить» (то же чередование *ï/ö*, что и в имени *pï/pö-* «огонь»); *ki* «приходя» (~ Т *kel-/kil-* «приходить»; К *киль* «дорога»), но *ku-r-u* «приходящий» (~ М *kür-* «доходить; заходить»). Праформы **kil*, **kür-ü*. Тут нет противоречия, так как конвергенция $r \times l = r$ проходила в протояпонском, как нам представляется, через «корейскую стадию» (в корейском *-r-* и *-l* представляют собой позиционные варианты одной фонемы: *-l* встречается в конце слога).

Не следует ли сначала восстановить более раннее, чем древнеяпонское, общеяпонское произношение морфем, а затем уже сравнивать их с праалтайскими формами? Но звучание морфем VIII в. восстановлено, конечно же, с учетом диалектов. Путем сравнения последних можно восстановить несколько более старые формы лишь части корней. Более ценные данные

[27] См.: С. А. А р у т ю н о в, Этническая история Японии на рубеже нашей эры, «Труды Ин-та этнографии [АН СССР]», XXIII, М., 1961.

[28] В. З. П а н ф и л о в, указ. соч., стр. 10.

[29] Н. А. С ы р о м я т н и к о в, Система фонем японского языка, «Уч. зап. ИВ АН СССР», IV, М., 1952, стр. 290 и сл.

[30] В. М. И л л и ч - С в и т ы ч. Опыт сравнения ностратических языков, М., 1971. Японский материал он почти не привлекает.

[31] См.: В. И. А б а е в, Историко-этимологический словарь осетинского языка, I — М.—Л., 1958, II — Л., 1973.

[32] Е. С. Р у б ц о в а, Эскимосско-русский словарь, М., 1971, стр. 417.

мы ждем от диалектов в лексическом отношении: многие слова алтайского и малайского происхождения, надо думать, сохраняются в диалектах, но отсутствуют в литературном языке. Новый японский двадцатитомный толковый словарь дает не только все слова литературного языка, начиная с самых древних памятников, но и диалектизмы [33]. Когда он выйдет из печати полностью, число обнаруженных алтаизмов этимологи смогут значительно пополнить.

Много нового материала для алтаистики можно будет почерпнуть из «Большого корейско-русского словаря» под ред. Л. Б. Никольского, который выходит из печати в 1975 г. в двух томах. По этому словарю можно будет отличить китаизмы от «исконных корейских слов», так как последние не будут сопровождаться иероглифами. Набирается «Сравнительный словарь тунгусо-маньчжурских языков» в двух томах под ред. В. И. Цинциус. Закончен «Этимологический словарь монгольских языков» под ред. Г. Д. Санжеева, где даются тюркские, тунгусо-маньчжурские и (частично) корейские параллели. Вышел из печати I том трехтомного «Этимологического словаря тюркских языков» Э. В. Севортяна. Таким образом, алтаистика получает огромный новый фактический материал почти по всем отраслям.

Для игнорирования японских данных нет причин. Если даже все японские и корейские общности с другими алтайскими языками оказались бы на поверку заимствованиями, все равно их так много и большая их часть вошла в эти языки так давно, что ими стоит заняться. Ведь именно на стыках наук (в данном случае алтаистики и японистики) можно ожидать новых достижений в первую очередь. Единственный алтаист, привлекший японский материал, Г. Е. Корнилов, уточняя булгаро-чувашско-венгерские лексические параллели, только в первом томе использовал 148 примеров из древнеяпонского языка [34]. Для сравнения напомню, что в таких, по общему мнению, родственных языках, как китайский и тибетский, обнаружено пока лишь несколько десятков старых общих корней.

Естественно поставить вопрос: как проблема родственных связей японского языка трактуется японскими лингвистами? Ведь языкознание стоит в современной Японии на высоком уровне. Новый 20-томный словарь не указывает источник ни дописьменных, ни сделанных в историческое время заимствований из алтайских языков. Хотя вопросам этимологии в нем уделяется достаточно места (приводятся практически все предложенные японскими учеными этимологии каждого простого некитайского слова), но алтайских и малайских параллелей как раз не хватает (возможно, это вызвано нежеланием демонстрировать вклад иностранных лингвистов).

Характерно, что Государственный институт родного языка не занимается исследованием иноязычного происхождения японских корней и формантов. Вплотную этот вопрос изучают ныне лишь немногие японские лингвисты и среди них — алтаист Мураяма Ситироо. Дав ряд ценных статей по сравнению древнеяпонских слов с алтайскими, Мураяма в последние годы переключился на изучение индонезийского ингредиента в древнеяпонском языке [35]. Вполне разделяя правильную точку зрения

[33] «Nihon-kokugo-daijiten», Tōkyō, 1973 —.

[34] Г. Е. Корнилов, Евразийские лексические параллели, 1. Чебоксары, 1973. Все древнеяпонские и индонезийские морфемы цитируются без единой ошибки.

[35] Murayama Sh., Ōbayashi T., Nihongo-no kigen («Происхождение японского языка»), Tōkyō, 1973; Murayama Sh., Nampōgo to nihongo («Южные языки и японский язык»), «Kodai-nihongo-no mayoi» («Загадки древнеяпонского языка»), Tōkyō, 1973.

Е. Д. Поливанова на смешанный характер японского языка, Мураяма занимается лишь древними общностями, не принимая во внимание, что контакты с алтайскими и индонезийскими языками продолжали оказывать влияние и в историческое время. В результате он приходит к выводу о сравнительной немногочисленности алтаизмов в японском [36]. Р. Э. Миллер в рецензии на книгу Мураяма говорит о предпочтительности немногих точных соответствий многим лишь приблизительно сходным словам [37], что справедливо для конкретной работы отдельного этимолога. Но если речь идет об общем выводе, о том, имеем ли мы право отвергнуть общепринятое положение об изолированности японского языка или нет, количество фактов-аргументов приобретает первостепенное значение. Если бы общих слов у древнеяпонского с другими было бы ровно столько, сколько приведено в книгах Мураяма, то этот язык следовало бы признать изолированным, а все приведенные там сопоставления объяснить заимствованием. Но, в действительности, их гораздо больше.

Огромное значение имеет наличие у сравниваемых языков о б щ и х ф о н е т и ч е с к и х з а к о н о в. Е. Д. Поливанов полагал, что в японском нет сингармонизма. Да, в склонении нет. Но древние форманты побудительного и страдательного залогов (они же показатели соответственно переходных и непереходных глаголов) уподобляются по гласному корню: *nök-ös-* «оставлять», *nök-ör-* «оставаться» (~ эвен. *нэку* «временно оставленное имущество», М *nöge-* «запасать», К *nëk-nëk* «обильный», SM 231), но ДЯ *mak-ar-* «идти»; направляться» [~ Т *may-la-* «шагать; идти; странствовать», эск. *mak'a* «течь» (сущ.)], ДЯ *ut-ur-* «переезжать; отражаться (о лучах)» (~ Т *uturu/utru* «напротив; навстречу»), *ut-us-* «перемещать; отражать» (халха *тус-ах* «попадать» → «отражаться; падать» — о лучах).

Одинаковая огласовка внутри каждого из многих сотен двусложных и трехсложных слов (типа *atama* «голова», *tökörö* «место») может быть результатом уподобления гласных в составе одной морфемы. Такой сингармонизм свойствен скорее малайским языкам [38]. Это влияние субстрата.

Наряду с прогрессивной ассимиляцией гласных в японском есть немало примеров и регрессивной ассимиляции. Это явление роднит японский с монгольскими и другими алтайскими языками, но не имеет тотального характера. Именно поэтому оно остается непризнанным. Даже Мураяма возражает тем, кто находит «перелом гласного *i*» в японском. Он аргументирует это тем, что если в ч а с т и к о р н е й признать уподобление *i/ï* первого слога гласному второго, то в языке, где ассимиляций не произошло, *i* может соответствовать чуть ли не любому гласному других. Но вряд ли можно признать этот аргумент убедительным. Наличие дублетов в тюркских и японском (типа Т *qïznaq/qaznaq* «казна» ~ ДЯ *kazu* «число», но *kizu* «зарубка») с очевидностью свидетельствует о том, что они имеют общее происхождение, но могут приобретать и свои оттенки значения [39]. Тюркологи возводят М *čilaγun* к Т *tāš* «камень» (АР-Т, стр. 33). Но теория «перелома гласных *i* и *ï*» [40] говорит об обратном развитии: *i* оказывается более ранним звуком. Добавим еще К *толь* «камень», Э *дёло* «большой камень», Я *to-isi* «точильный камень» (ДЯ *isi* «камень» ~

[36] M u r a y a m a S h., Ō h a y a s h i T., Nihongo-no kigen, стр. 18, 207.

[37] R. A. M i l l e r, The origins of Japanese, «Monumenta Nipponica», XXIX, 1, Tokyo, 1974, стр. 102.

[38] См.: Л. Г. З у б к о в а, О гармонии гласных в индонезийском языке, «Языки Юго-Восточной Азии», М., 1970.

[39] См.: Н. А. С ы р о м я т н и к о в, О переломе гласных *i* и *ï* в японском языке, «Вопросы японской филологии», 2, М., 1973.

[40] Г. Д. С а н ж е е в, Сравнительная грамматика монгольских языков, 1, М., 1953, стр. 104—114.

коми *из*). Видимо, *дёло* из **дило* (отсюда палатализация и аффрикатизация первого согласного) < **дыло*, К *толь* < **толо* < **тыло*, а Я *то-* < К *толь*.

«Законы утрат» при переходе от протояпонского к древнеяпонскому языку (под протояпонским понимаем алтайский язык переселенцев с материка до воздействия на него субстратных языков) можно сформулировать следующим образом.

1. Утрачивались все конечнослоговые согласные (в начале слога и раньше стечений согласных не было): нанайск. *палган* «ступня» ~ К *паль*, ДЯ *pagi* «нога; голень» (в корейском — тенденция к превращению двусложного слова в односложное); М *dargil* ~ ДЯ *tagi/taki* «быстрое течение» [41] (ср. и.-е. *tek*^{u}-«теку»), Я *tagir-* «бурлить; кипеть».

2. Если выпавший согласный был глухим или сонорным, следующий за ним начальнослоговой остается глухим: Э *инамукта* > ДЯ *namita* «слезы» (сохранение омертвелого суффикса говорит о заимствовании в дописьменную эпоху); нанайск. *калта* «эта сторона; половина чего-либо»; М *qalta-γai* «половина», чув. *ката* «край», К *кари-* «делить» ~ ДЯ *kata* «сторона; плечо» (Г. Рамстедт еще в 1924 г. считал такое сопоставление «очень правдоподобным» [42]); Э *арпу-кӣ/арпо-кӣ* «плавник; махалка» ~ ДЯ *apuki* > *augi* > *wŏgi* > *ōgi* «веер (нескладывающийся)», т. е. *-k-* озвончилось впоследствии как начальный глухой второго компонента. Но в современном языке *-gi* уже не воспринимается как суффикс. Поскольку на *-i* оканчиваются многие отглагольные имена, еще в древнеяпонском языке от этого слова по аналогии был образован глагол *apuk-u* «веять; раздувать», который ныне звучит *aogu* (а не *ōgu*), что невозможно объяснить без привлечения эвенкийского дублета *апокӣ* «плавник».

3. Если выпадал звонкий согласный, следующий за ним глухой в древнеяпонском языке озвончался: М *qabsa-* «дуть (о сухом холодном ветре)» [43], Т *qabša-* «приходить в движение» ~ ДЯ *kaze/kaza-* «ветер»; М *tobči-* (< **tobti-*) «застегнуть» ~ ДЯ *todi* (< **todï*) «закрывая». ДЯ *todï* и Э *топты* «пуговица» предполагают более древнюю монгольскую форму **tobtï-*. Т *topu-* «накладывать» и К *mon-* «укрывать; накрывать» говорят о том, что второй слог в монгольском, японском и эвенкийском словах может восходить к древнему суффиксу. Ср. ДЯ *to* «дверь» (где тоже гласный *o*, а не *ö*), *top-* «спрашивать; навещать (открывая и закрывая дверь)».

Разумеется, корень слова на протяжении его многовековой истории может несколько видоизмениться. Следует согласиться с Э. А. Макаевым, возражающим против «смешения общеиндоевропейского уровня и уровня отдельных индоевропейских языков» [44]. В приложении к алтайской проблематике это важное положение следует всемерно учитывать. Так, уже в ДЯ *jörököb-* «радоваться» основа равна корню. Но якут. *дьол* «счастье, удача», *дьолго/дьолбор* «к счастью», Э *дёлог* «счастливый» указывают на многоморфемность основы глагола *jörököb-ur-* на алтайском уровне и позволяют восстановить три первых слога в виде **jölökö-*, а К

[41] Sh. Ozawa, A comparative study of some words in Old Japanese and Middle Mongolian, Tokyo, 1968, стр. 119—120 (на япон. яз.).

[42] G. J. Ramstedt, A comparison of the Altaic languages with Japanese, JSFOu, 55, 1951, стр. 13.

[43] М. Н. Орловская, Г. Д. Санжеев, З. В. Шевернина, Этимологический словарь монгольских языков (рукопись).

[44] Э. А. Макаев, Структура слова в индоевропейских и германских языках, М., 1970, стр. 183.

чыльгэп- «веселый; радостный» (SM, 75) и М **jïrïga* > *jïrγa* > халха, бурят. *жаргал* «счастье» подтверждают перелом гласного *ï* в первых двух слогах, т. е. дают возможность восстановить раннепротояпонскую форму в виде **jïlïköb-*. Родственным корнем обладает ДЯ *jörö-si* «хороший» (~ Э *дёлочӣ* «счастливый»), в котором можно выделить словообразовательный суффикс ряда прилагательных *-si*. Но наличие *jörösi* не дает нам права вслед за С. Э. Мартином членить *jörököb-* на *jörö-* и *-köb-* (SM, стр. 231; **jɔrɔ-keb*). Ведь в других глаголах такой суффикс не обнаруживается. Мураяма отмечает, что ДЯ *jörököbï* «радость» имело на конце *-ï*, т. е. было именем от глагола 2-го спряжения (на *-ï/-u-ru*) [45]. С М *jïrγa* сопоставляют и Т *jïr* «песня», *jïr-la-* «петь» (развеселившись). Как бы то ни было, широкие лексические связи всех алтайских языков не подлежат сомнению.

Почему же тогда они не имеют общих числительных, как индоевропейские и индонезийские языки? Вероятно, в результате т а б у на с ч е т — явления, свойственного всем охотничьим народам. Структура японских числительных до восьми оригинальна [46], но не менее половины названий чисел первого десятка имеют соответствия в других языках. Видимо, тюркское *bir/pir* «1» пришельцев с материка было отождествлено аборигенами с *pitö* «7» субстратных языков. *Pitö* стало обозначать «1», а место семи освободилось. Оно было занято заимствованием *nana* < Э диал. *надна* (разумеется, исконная редупликация в названии нечетного числа маловероятна,— *momo* «сто» — четное число). ДЯ *töwö* «10» Р. Э. Миллер сопоставляет с Ма и прототунг. *ǯuwan* «10», но глагол *töwö-m-/tawa-m-* «сгибать (пальцы при счете)» дает возможность сопоставить *töwö* и с бурят. *таба* «пять» (халха *тав-гай* «лапа» — с пятью пальцами, ср. русск. *пятерня*). Наконец, *jö* «4» сопоставляют с М *dörben*, прототунг. *dü-gün* «4» [47].

Здесь мы подходим к важнейшему вопросу: к о г д а в алтайских языках п р е к р а т и л о с ь о б р а з о в а н и е н о в ы х к о р н е й? Конечно, все языки продолжают увеличивать общее число корней за счет заимствований, аббревиатур, переразложения и аналогичных процессов. Но не образовывались ли корни путем деформации исконных более ранних морфем, близких по значению? Б. А. Серебренников напомнил удачную этимологию Шлейхера: лат. *duo* «2» > *dubitare* «сомневаться» [48]. В древнеяпонском *puta* «2» > *uta-gap-* «сомневаться» (ср. *sita* «низ» > > *sita-gap-* «следовать за»). Почему же деформирован корень *puta?* Разве мало было суффикса? Видимо, к о р н е о б р а з о в а н и е б ы л о е щ е ж и в ы м п р о ц е с с о м, и такая деформация оказалась нужной для р а з л и ч е н и я основного и отщепившегося корня. Некоторые лингвисты (А. Б. Долгопольский) готовы отнести все факты корнеобразования к древнейшим временам. Но, думается, это вовсе не разовый процесс. Образование новых корней происходило и в раннем древнеяпонском, поскольку имена в нем были почти полностью лишены словообразовательных аффиксов. В ряде случаев история материальной культуры подсказывает нам, какой из близких корней древнее. Не могли появиться одновременно ДЯ *katë* «кувшин» и *kama* «металлический котел» (~ И *gamiћ* «кувшин для воды», Т *qamïč* «ковш», Э *камит* «берестяный короб; сумка для котла», К *кама* «котел»). Независимо от того, где впервые воз-

[45] M u r a y a m a S h., Nihongo-no gogen, стр. 138.
[46] См.: Н. А. С ы р о м я т н и к о в, Определение родственности корней, ВЯ, 1972, 2, стр. 114.
[47] R. A. M i l l e r, The Japanese reflexes of Proto-Altaic **d-*, **ǯ-* and *ć-*, «Journal of the American Oriental Society», 88, 4, 1968, стр. 754.
[48] Б. А. С е р е б р е н н и к о в, указ. соч., стр. 19.

никло слово *kata* «котел» — в Японии или в Корее, древние японцы воспринимали *kata* как название предмета, функционально близкого *катё* «кувшин», как родственный корень. Можно с уверенностью утверждать, что трехсложные слова на *kata-*, обозначающие вместилище, возникли еще позже. Так, ДЯ *kamado* «очаг» (со встроенным котлом) похоже на чув. *камака* «печка», Та *kalan* «печь; очаг (из глины)», кирг. *коломто* «очаг», Э *калан* «котел», Та *kawa* «котел». Но третий слог (древний суффикс?) не везде будет одинаков.

Разумеется, в обнаруженных общностях еще не все ясно. Так, ДЯ *midu* «вода» не поддается объяснению (ожидалось бы **mïgu*). ДЯ *udura* ~ монгор. *puduri/puduru* «перепел» [49], т. е. в японском почему-то отсутствует *p-*. Тем не менее, имеющиеся параллели позволяют сделать следующие выводы:

1. Письменные памятники японского и корейского языков содержат значительное число общеалтайских слов. Дальнейшее игнорирование этого факта не может быть оправдано.

2. Поиски общих морфем должны вестись фронтально: изучаемая морфема должна быть взята во всех языках, в которых она встречается. Попарное сравнение менее эффективно. Так, Е. Д. Поливанов находил, что тагальский префикс *та-* (образующий прилагательные) идентичен японскому префиксу интенсива *та-* [50]. Не отрицая материального единства обоих формантов, следует отметить, что суффикс *-ма* играет ту же роль в эвенкийском языке, т. е. образует прилагательные, причем интенсификация их качества выражается удвоением *-ма*: *ая* «добро», *аяма* «хороший», *аямама* «очень хороший» [51]. Е. Д. Поливанов полагал, что удлинение глухого или сонанта после *та-* в японском — результат древней «редупликации, сократившейся до минимума» [52]. Не соглашаясь с этим, я думал, что удлинение — результат эмфаза [53]. Но если даже оно воспринимается так сегодня, исторически это след ассимилировавшегося согласного: К *мэн-* «самый», доперм. *med-* «наи-; самый», М *мön* «истинный; настоящий», ойрот. *ең* «самый; наи-» [54]. Выходит, что сравнение общей морфемы только в двух языках может привести к неверным выводам.

3. Общие грамматические морфемы доказывают близость языков еще больше, чем общие лексемы. ДЯ *-ra* (суффикс множественности) ~ Т *-lar*, дунсян. *-ла*, негид. *-ла*, М *-nar* и т. д.; ДЯ *-rasi* «по-видимому» < И *rasa* «чувство; по-видимому» (в древнеяпонском *-rasi* превратилось в суффикс, так как в анлауте *r-* было еще невозможным); Я *-taki* суффикс желательного наклонения~ К *тагы-* «страстно желать», И *tagih* «сильно желать» (в японском *-ki* было приравнено к суффиксу определительной формы прилагательных *-ki* ~ Т *-qï/-ki/-ɣï/-gi* аффикс прилагательных времени, места); Я *-take* «только» ~ Т *tek* (наречие) «только», эвен. *-такан/-тэкэн* (частица) «только» и др. Важно, что эти общности не принадлежат только к древнейшему слою, а продолжают появляться и в историческое время.

---

[49] С. Хаттори, Начальные взрывные в протомонгольском языке и их дальнейшее развитие, «Исследования по восточной филологии», М., 1974, стр. 274.

[50] Е. Д. Поливанов, Одна из японско-малайских параллелей, в его кн.: «Статьи по общему языкознанию», М., 1968, стр. 143—144.

[51] Г. М. Василевич, Грамматический очерк эвенкийского языка, в ее кн.: «Эвенкийско-русский словарь», стр. 769—771.

[52] Е. Д. Поливанов, указ. соч., стр. 144.

[53] Н. А. Сыромятников, Система фонем японского языка, стр. 307—309.

[54] Соответствие: урало-алт. *m-* ~ *Т ø-* находим в ряде морфем. Опущение *m-* — одно из средств устранения сонанта в тюркском анлауте: ДЯ *mak-* ~ Т *ek-* «сеять», ДЯ *mëgur-* «кружиться» ~ Т *egir* «окружать» и др.

Разумеется, это можно объяснить не только новыми контактами, но и сохранением соответствующих морфем в диалектах.

4. Не может быть и речи о расчленении двусложных морфем, употребляющихся исстари в ряде полисиллабических языков, на односложные корни моносиллабического типа, особенно если они восстанавливаются гипотетическим путем. Так, эск. *ныӄа* «еда; мясо» ~ ДЯ *nigë-kat-* «жевать жвачку», К *ныгыт-* «быть удовлетворенным», гавайск. *niho*, нивх. *ӈыӷс* «зуб», тюрк. *ныға-* «набивать» (во что, Радлов), т. е. эта двусложная морфема неразложима [55].

5. Даже редупликации не подлежат расчленению на уровне данного языка, если повторяющийся элемент в нем отдельно не употреблялся. Так, ДЯ *mimi* «ухо, уши», конечно, есть результат редупликации потому, что представляет собой название парной части тела (ср. *momo* «ляжки», *titi* «груди; титьки», *popo* «щеки» ~ И *pipi*, *pukupukusi* «легкие»). Однако в японском, где нет грамматических чисел, мы не вправе восстанавливать форму **mi*, несмотря на наличие соответствия — нивх. *мы-дь* «слушать».

6. В традиционных японских этимологиях обычно не учитываются соответствия в других языках, простые слова объясняются как сокращения сложных. А между тем очевидно, что та же морфема в других языках указывает нам границы вариативности протоморфемы данного языка. Морфема протояпонского языка не может отличаться от морфемы древнеяпонского больше, чем отличается от нее та же морфема в других языках. Поискам этимологов тем самым ставится определенный предел как в смысле фонемного состава, так и семантически.

7. «Умеренный антиалтаист» (как он сам себя называет) Г. Дёрфер настаивает на том, что общности между тюркскими, монгольскими и тунгусо-маньчжурскими языками объясняются направленностью заимствований на восток: из тюркского в монгольский, а оттуда в тунгусо-маньчжурские языки. Если бы это было так и только так, алтаизмы в корейский должны были поступать из соседних тунгусо-маньчжурских языков, а в японский — из корейского. Действительно, современная географическая карта как бы подкрепляет эту точку зрения. Возможно, если бы все эти народы всегда жили на тех же местах, что и ныне, так бы оно и было. Но исторические и лингвистические данные говорят о другом: можно привести целый ряд слов, непосредственно заимствованных японцами от тюрков (ДЯ *nisi* «запад» < Т *en-iš*, *kagë* «тень» < Т *kölgä*), от монголов и тунгусов (см. выше). Критикуя Р. Э. Миллера (нередко правильно,— в частности, за фонетические соответствия, подкрепленные всего одним примером), Г. Дёрфер не конкретизирует, какие же именно его сопоставления он считает приемлемыми [56]. Но разбор вышедших книг по сравнению японского языка с другими — тема особой работы.

8. Японский материал подкрепляет мнение о том, что по краям региона родственных языков обычно сохраняются старые значения, а в центре появляются новые. Так, ДЯ *sira-* «белый» ~ чув. *шурă* «белый» при М *šira* «желтый»; ДЯ *ja* «стрела» ~ манси *n'al'* «стрела» при Т *ja* «лук» и т. п.

---

[55] Ср.: Г. А. Меновщиков, Эскимосско-алеутские языки и их отношение к другим языкам, ВЯ, 1974, 1, стр. 48. Автор упоминает сравнения Р. Раском японских слов *kaji*, *kashi* со словами других «ностратических языков» (стр. 53). Но в действительности это китаизмы.

[56] G. Doerfer, Ist das Japanische mit den altaischen Sprachen verwandt?. ZDMG, 124, 1, 1974.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

А. В. ФИЛИППОВ

О КОСВЕННО-ПРЯМЫХ ЗНАКАХ И ОПИСАТЕЛЬНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЯХ В ЯЗЫКЕ И ДРУГИХ КОММУНИКАТИВНЫХ СИСТЕМАХ

В настоящей статье рассматривается большая группа знаков (слов, оборотов), которые можно было бы назвать косвенно-прямыми [такие, как *кивнуть*, *пожать плечами*, *красный свет* (светофора)]. Отличительной их чертой является то, что они означают не обычные явления действительности, а явления-знаки, объединяя таким образом языковую систему и словесную речь с другими коммуникативными системами. Из этого вытекает ряд особенностей рассматриваемых знаков. Проблемы, связанные с этим, по нашему мнению, далеко не достаточно изучены как в нашем, так и в зарубежном языкознании [1], хотя такие исследования представляются необходимыми.

Во избежание неточного понимания изложенного в основной части мы предварительно хотя бы очень кратко остановимся на нашем отношении к некоторым проблемам знака.

Знак — это материальный, воспринимаемый показатель определенного значения, выработанный тем или иным обществом и сознательно демонстрируемый в речи. Под речью мы имеем в виду то или иное применение системы знаков или единичного знака в целях общения и передачи информации. Под выработанностью знака имеем в виду согласие членов коллектива (хотя бы из двух человек) принять что-то в качестве знака чего-то другого, в том числе и стихийное согласие (принятие), зарождающееся в момент первой или единственной его манифестации.

Под наше определение подводятся все иконические знаки, знаки различия, сигналы, электрокардиограммы, и т. д., тем более многие единицы устного и письменного языков. Современные развитые национальные языки являются двойными устно-письменными коммуникативными системами, в которых устная подсистема (разновидность) — ведущая, а письменная — подчиненная. Внутренняя речь — особое использование устной коммуникативной подсистемы для общения с самим собой. Знаками в системе языка являются: устные и письменные слова, устные и письменные морфемы, буквы, устные и письменные готовые устойчивые обороты, нечленимые предложения, т. е. устойчивые, инвентарные единицы нацио-

[1] См. отдельные, иногда очень скудные замечания об этом: Г. П а у л ь, Принципы истории языка, М., 1960, стр. 119—120; С. И. О ж е г о в, Лексикология. Лексикография. Культура речи, М., 1974, стр. 202; А. А. З и н о в ь е в, Об основах абстрактной теории знаков, сб. «Проблемы структурной лингвистики», М., 1963, стр. 20; А. А. У ф и м ц е в а, Типы словесных знаков, М., 1974, стр. 59 (о глаголе *to doff*); C h. F. H o c k e t t, A course in modern linguistics, New York, 1958, стр. 305—307; M. P e i, What's in a word?, New York, 1969, стр. 17, 143 и других авторов, на которых мы будем ссылаться далее. Более непосредственно эта тема освещается в статьях Л. И. Ройзензона и И. А. Абрамец «Совмещенная омонимия в сфере фразеологии» (ВЯ, 1969, 2) и «Об одной группе устойчивых глагольных словосочетаний русского языка» (в кн.: «Материалы XXIV научной конференции профессорско-преподавательского состава Самаркандского гос. ун-та им. А. Навои», 6, Серия филол. наук, Самарканд, 1968). См. также: R. K l e i n p a u l, Sprache ohne Worte, The Hague — Paris, 1972.

нальной языковой системы; наоборот, мы не считаем знаками звуки (фонемы), свободные словосочетания и предложения. Звуки мы признаем составляющими знаков, свободные словосочетания и предложения — совокупностями знаков, или описательными обозначениями.

Из этого, конечно, не следует, что мы не выделяем знаков, которые в свою очередь состоят из знаков, и не признаем дробления первых на значимые компоненты и сцепляемости последних в знаки высшего порядка. Однако это происходит только тогда, когда вся единица, ее части, части ее частей удовлетворяет каждая нашему определению знака. Образцами знаков из знаков являются звуковые слова, состоящие из морфем, морфемы письменной речи, состоящие из знаков-букв, письменные слова, состоящие из морфем и далее из букв, флаги, на которых есть отдельные эмблемы, символы или слова, и др. Специфическими знаками мы считаем символы (такие, как «орел — символ победы»), а также факты, подводимые под поверья (такие, как «увидеть народившийся месяц справа — будет неожиданное счастье»). Мы не включаем в число знаков непроизвольные телодвижения, какие-либо действия или состояния людей, не предназначающиеся для передачи информации, но говорящие о чем-то воспринимающему («неинтенциональные знаки»), равным образом и признаки чего-либо (например, лужи как признак недавнего дождя).

Большинство знаков — прямые, т. е. их референты (денотаты) — явления действительности незнакового характера (не служащие выработанным условным показателем какого-то значения); например, произносимые слова *жизнь*, *сад*, сигнал «воздушная тревога», предупреждающий звонок во время печатания на пишущей машинке и т. п.

Им противостоят знаки, имеющие референты, которые сами являются знаками (другой системы или подсистемы), т. е. служат показателем значения в пределах другой системы. Когда же происходит «означивание» этого показателя средствами из иного кода (т. е. когда там изыскивается форма, передающая иносистемный знак), тогда этот «знак знака» начинает соотноситься с такой семантической (понятийной) единицей сознания, которая включает в себя и содержание знака, подвергшегося «означиванию», и содержание описывающих знаков (или знака), привлекаемых из данной их системы. Например, когда человек говорит *Я кивнул головой*, последние два слова-знака выражают понятия «наклонить вперед» и «верхняя часть тела» и одновременно из их сочетания явствует значение жеста, который они описывают; если взять *Я кивнул*, то последнее слово будет выступать сразу и как прямой знак (т. е. обозначает движение как таковое), и как непрямой (т. е. передает форму и значение жеста).

Такие знаки или описательные обозначения назовем косвенно-прямыми [2] (далее часто сокращенно: косвенно-прямые знаки — КПЗ, косвенно-прямые описательные обозначения — КПОО). Они косвенные, так как передают значение иносистемных знаков, и вместе с тем прямые, так как, описывая их форму, составляют сумму прямых знаков (*кивнул головой*) или выступают как единственные прямые знаки (*кивнул*). КПЗ отображает форму иносистемного прямого знака знаковыми средствами, имеющимися в данной системе, отображая, с одной стороны, незнаковые явления, а с другой стороны, значение мотивирующего прямого знака. Это — неизбежная двуфункциональность формы КПЗ («знака знака» [3]), общая за-

[2] Наши обозначения «прямой знак», «косвенно-прямой знак» не соотносятся с терминами «прямая речь», «косвенная речь».

[3] Оборот «знак знака», встречающийся в научной литературе (см., например, указанную статью А. А. Зиновьева), отражает это явление лишь наполовину и может ввести в заблуждение. Очень точно было бы: «знак знака и незнака». Неточен и термин «знак знака знака».

кономерность при любой передаче знака одного кода средствами другого кода.

Все единичные слова и устойчивые словосочетания устной разновидности языка и речи, передающие, описывающие значимую пантомиму (жест), являются косвенно-прямыми знаками, так как они, во-первых, обозначают, безусловно, незнаковые явления, а совокупность их — это прежде всего совокупность прямых знаков (*помахать рукой*, т. е. «подняв руку, ритмично шевелить ее кисть»); но в то же время целое из этих прямых знаков служит в устной речи воплощением и еще одного, параллельного значения — «приглашать подойти»,— и поэтому знак в целом обозначает и иносистемный знак — его содержание и его форму (сигнализация о содержании жеста обеспечивается сигнализацией о его форме), а следовательно, является и косвенным. Если человек не знает значения жеста, он воспримет его переложение только как совокупность прямых знаков или как один такой знак, а это подтверждает, что совокупность их имеет наполовину прямой характер. В случае же «помахал рукой, приглашая подойти» мы также имеем дело с обозначением знака, но не все компоненты формы-передатчика выполняют и косвенную, и прямую функцию, хотя и здесь все слова — прямые знаки, а форма и значение жеста получают как бы раздельное описание.

Все письменные слова какого-либо национального языка, в котором буквы передают звуки, также являются КПЗ, ибо буквы — прямые знаки, обозначающие незнаки — звуки, а буквенное слово обозначает в своей знаковой субсистеме знак другой субсистемы (звучащее слово) — и форму, и значение соответствующего звукового слова. Если человек не знает смысла прочтенного слова, он все равно получит часть сознательно данной информации, а именно: узнает, какими звуками реализуется закодированный буквами знак, т. е. получит информацию о каких-то звуках и их последовательности (письменное слово в этом случае выполнит только одну свою, прямую функцию).

Косвенно-прямыми знаками будут также изображения жестов на рисунках (при регулировании уличного движения и т. п.), например, рисунок руки с вытянутым указательным пальцем, т. е. иконический прямой знак руки, и он же (вторая нагрузка той же знаковой формы) косвенный знак, означающий форму и значение жеста как прямого знака. В таком рисунке маленький ребенок, не посвященный в язык регулировочных знаков, увидит только изображение руки в определенном виде; но для взрослого это будет прежде всего изображение указания направления движения. Это преимущественное восприятие той или иной функции знаковой формы будет подтверждать, а не перечеркивать ее бинарность.

Рисунки флагов, словесные описания их (например, *красное знамя Октября*), описания различных сигналов (*у него на погонах три звездочки*; *красный свет*; *раздался звонок на перерыв*) также являются косвенно-прямыми знаками или косвенно-прямыми описательными обозначениями. К косвенно-прямым знакам относятся и жестовые изображения букв и цифр (делаемые, например, пальцем в воздухе или на ладони другой руки при беззвучной подсказке, при показе правописания иностранного слова, вызывающего затруднения) — здесь дается форма и значение букв и цифр (начертательных знаков разных кодов) и вместе с тем кинетически воспроизводятся реально существующие одноплоскостные фигуры с явным сохранением их внешнего облика (т. е. жесты играют также роль и иконических знаков). До какой-то степени как КПЗ допустимо расценивать лексические и фразеологические кальки и тем более слова-транслитерации.

Возможные возражения в плане того, что в рассматриваемых нами случаях передается просто инокодовый знак и элементы знаковой формы, а сам знак-передатчик уже (или вообще) не функционирует как прямой знак (также и его значимые части), являясь только косвенным[4], представляются нам неоправданными и снимаются, в частности, тем, что имеются бесспорные факты полифункциональности знаковой формы, использования ее в двух, трех и более знаковых функциях. Например, словесно-звуковой сигнал-пароль — это высказывание, где слова выступают как знаково-смысловые единицы языка (для непосвященных), и в то же время фигурирующее в совокупности всех своих частей (или в виде синтетического знака) как единица секретного кода (для посвященных). Это д в о й н о й п р я м о й знак (если единая словесная форма) и двойное, двуплановое прямое обозначение (если форма — свободное словосочетание или предложение). *Не* в письменном объявлении в публичном месте $НЕ \frac{курить}{сорить}$ — это двойной КПЗ. С трехплановостью знаковой формы сталкиваемся в написании *слава труду*, когда начальные буквы *с* и *т*, будучи в своей непосредственной знаковой роли (передатчиками звуков), изображаются в виде наложенных друг на друга серпа и молота, т. е. выступают еще и знаками-изображениями этих предметов и образуют эмблему свободного труда. Форма *у* на письме (предлог: *у ручья* и т. п.) обозначает звук *у* и фигурирует как показатель лексико-грамматического значения (как слово). Сюда же включаются и устные предложения с интерференцией (типа *На юге, говорят, темнеет б ы с т р о солнце садится*)[5] и, вероятно, отдельные члены, по крайней мере, некоторых из «слитных» предложений (*Просмотрено множество кино- и фотод о к у м е н т о в*).

В косвенно-прямых знаках может быть косвенность разных степеней. Так, если мы описываем пальцами слово *спи*, то мы передаем жестом знак — письменное слово (словоформу), которое уже является косвенно-прямым знаком, обозначающим прямой знак — звучащее слово. О жестовом показе *спи* справедливо, хотя и недостаточно сказать, что это «знак знака знака», причем на разных уровнях выделяются составляющие знаки низшего порядка. Вторая степень косвенности есть и в написанном обороте *пожать плечами*: жест → устный оборот → письменный оборот.

Существуют различные приемы описания формы обозначаемого знака в КПЗ. Она может описываться: а) достаточно подробно (*стать на колени, ударить в набат*); б) исчерпывающе (письменные слова с опорными написаниями всех букв, исключительно точное звукоподражание: подделка голосом боя часов и т. п.); в) почти исчерпывающе (иконические *ту-ту* — воспроизведение сигнала поезда, *би-би*, *тук-тук*; сюда же, видимо, *кукареку*, *гав-гав* и т. п.); г) весьма частично. Ср. у К. Станюковича в речи персонажа: «А вот и вам по „Катеньке“. . .» (Имеется в виду сторублевый кредитный билет с изображением Екатерины II); д) иногда форма обозначаемого знака описывается замысловато, но какая-то мотивация все-таки прослеживается (в речи игроков в лото: *Семен Семеныч* — 77, *дед* — 90 и т. п.); е) может передаваться не собственно форма знака, а его структура (при калькировании). Словесные переводы предложений и свободных словосочетаний (устные или письменные) с другого языка, воссоздающие их структуру, но не звучание или характер написания, возможно, являются косвенно-прямыми обозначениями. Вместе с тем в КПЗ

[4] См. смутные замечания Ф. де Соссюра о функции письма («Курс общей лингвистики», М., 1933, стр. 46), а также деление Г. С. Клычковым знаков на прямые и косвенные (Г. С. К л ы ч к о в, К классификации знаковых систем, сб. «Семиотика и восточные языки», М., 1967, стр. 62).

[5] См.: «Русская разговорная речь», М., 1973, стр. 339 и сл.

могут находиться элементы формы и значения, чуждые мотивирующему знаку (*бибикнул*, *махнул рукой* — ср. сигнал машины и жест: в них нет ничего «прошедшего»; *здравствуйте* — ср. устное [здра́ствуйт'ь]. Бывают элементы КПЗ в прямых знаках, например, изображение полумесяца и звезды на полотнище красного цвета турецкого флага (цвет флага и сам флаг в целом прямые знаки, а полумесяц и звезда — КПЗ).

Знаки при их зарождении часто вырабатываются носителями данной культуры при помощи их языка, детали создаваемого знака или их системы планируются словесно и затем реализуются. Так, например, обстоит дело с дорожными знаками, в том числе с сигналами светофора. Необходимо, однако, принять во внимание, что обороты *красный свет* (светофора), *круглый стол* (переговоров) и т. п.— КПЗ, потому что соответствующие сигналы, эмблемы изобретались не для кодирования языковых знаков, а для целей общения без посредства языка. Новые знаки стали по необходимости иметь словесные адекватные знаки в системе языка. Даже если обороты *красный свет*, *зеленый свет* и т. п. появились до введения соответствующих сигналов, все равно они с самого начала были задуманы как знаки прямых знаков, сперва существовавших в мысли, а затем реальных.

Названия букв (и устные, и письменные) — или с самого начала косвенно-прямые знаки, или являются таковыми де-факто: *и краткое*, *и десятеричное*, *игрек*, *омега*. Многие названия букв в устном звучании выступают как ономатопоэтические слова (копирующие своим звучанием незнаковые явления): устные *а*, *э*, *о* и др. Ретроспективный анализ, конечно, может вскрыть и другие взаимосвязи между звуками, буквами и названиями последних, но при оценке современного состояния языка нельзя не заметить, что устные названия букв суть знаки устной языковой подсистемы знаков письменной подсистемы.

Несмотря на черты сходства с КПЗ, мы не включаем в их число отражения знаков в зеркале, перефотографированные фотографии и т. п., так как нет практического смысла видеть в этом осложнение косвенностью. Это лишь модификации тех же знаков, остающиеся на том же уровне косвенности — некосвенности.

КПЗ типа *схватиться за голову*, *поднять руку* могут иметь совпадающие по форме прямые знаки или прямые обозначения: ср. устные *Я поднял руку* (заметив такси) и *Я п о д н я л р у к у и сорвал яблоко*. Наличие совпадающих по форме прямых знаков и обозначений не исключает автономии КПЗ и косвенно-прямых описательных обозначений и всего их своеобразия, а соответствующие пары лучше всего называть омонимами. Такие омонимы находятся в пределах одной знаковой системы или подсистемы. Нечто подобное можно наблюдать и в случаях типа *павлин* «птица с красивым хвостом» и *павлин* «птица с красивым хвостом, являющаяся символом семейного счастья»; *павлин*$_1$ *и павлин*$_2$ соответственно — прямой знак (устное слово) и КПЗ.

Что вытекает для языкознания из признания и изучения косвенно-прямых знаков?

В области лексикологии и фразеологии это прежде всего должно повести к выделению большого списка слов и оборотов (особенно вторых), у которых две плоскости лексического (фразеологического) значения — плоскость поверхностного значения (обозначение незнакового содержания: моментов физического производства жеста, звучащих элементов слова, признаков флага, погона и т. д.) и плоскость глубинного значения (значение передаваемого иносистемного знака, символа). Так, оборот *разводить руками* обозначает одновременно «раздвигать руки в стороны» (плоскость поверхностного значения) и «выражать недоумение» (плоскость

глубинного значения). Оборот *кивнуть головой* значит «наклонить вперед голову» и «выразить согласие». Слово *поклониться* значит «нагнуть вперед туловище» и «выразить почтение». Это не два разных значения слова или оборота, а одно, но двуплоскостное, причем обе плоскости структурно и семантически мало связаны. Дело осложняется тем, что мотивирующий прямой знак нередко полисемантический, и тогда КПЗ тоже свойственна полисемия, но, правда, односторонняя. Так, у КПЗ *подмигнуть* есть, как минимум, два значения: 1) «прикрыть глаз веком, делая предупреждение быть осторожным с третьим участником разговора» и 2) «прикрыть глаз веком, выражая шутливое расположение к адресату» (*весело подмигнул*).

Сравнивая соотношения этих семантических плоскостей многих таких единиц и учитывая разную зависимость их от форм выражения, мы выделили бы следующие виды косвенно-прямых обозначающих: 1) специализированные КПЗ, выражающие специализированные прямые знаки другого кода. В этих случаях языковая форма очень часто (преимущественно) употребляется для обозначения какого-то явления, чаще всего понимаемого как знак: *поклониться*, *отвесить поклон*, *покачать головой* и т. п.; 2) неспециализированные КПЗ или косвенно-прямые описательные обозначения, выражающие специализированные прямые знаки. В этих случаях словесная форма редко служит для передачи референта-знака. Ср.: «Тонкие губы Базарова чуть тронулись, но он ничего не отвечал и только *приподнял фуражку*» (И. Тургенев, Отцы и дети); «Он взглянул на бродягу из-под громадного козырька и *хлопнул себя рукой по бедру*» (В. Короленко, Федор Бесприютный); 3) неспециализированные КПЗ и КПОО для обозначения неспециализированных прямых знаков. В этих случаях обозначаемый референт иногда понимается как знак, но чаще не как знак; словесная же форма выработана языком на оба случая: «Я как будто предчувствовал: сегодня мне всю ночь *снились* какие-то *две* необыкновенные *крысы*» (Н. Гоголь, Ревизор); «Скажи привет, но помни: *ты в зеленом*. Когда придут, гляди на кипарис, Гляди в лазурь. Не будь хамелеоном, Что по стене мелькает вверх и вниз» (И. Бунин, Потомки пророка).

В специализированных КПЗ оба значения (поверхностное и глубинное), по нашему мнению, эксплицитны, оба они не подразумеваются, а одновременно маркируются устойчивой единицей; для носителей данной культуры наличие обоих семантических планов совершенно очевидно. Внутренняя форма чаще направляет внимание на поверхностное значение (*козырнуть*, *топнуть ногой*, *кивнуть головой*, *показать кулак*, *тренер выбросил полотенце*); реже делается упор на глубинное значение [*отдать честь* (воен.), *салютовать*, *грозить*]. Однако этим не ущемляется понимание (и не устраняется выражение) второй семантической плоскости. Иногда единица в этом отношении нейтральна (*аплодировать*).

Распространение специализированного КПЗ (и, следовательно, расширение формы-передатчика инокодового знака) может прояснять ту или иную его семантическую плоскость (*грозит пальцем*, *кулаком* — прояснение поверхностного значения; *махнул приветственно рукой* — прояснение глубинного значения). Такое распространение не дает ничего нового (ср.: *прейскурант* и *прейскурант цен*), но часто «отводит» значение омонима или другой семемы (ср.: *махнул приветственно рукой*; *махнул призывно рукой*; *махнул равнодушно рукой*; *махнул рукой*, *отгоняя муху*). Часть формы-передатчика при этом остается семантически двойственной.

При КПОО или неспециализированных КПЗ для специализированных знаков одна из плоскостей значения (почти всегда глубинная) имплицит-

ная, вытекающая из суммарного лексического значения слов как прямых знаков. Бросается в глаза неоспоримость и недвусмысленность такого имплицитного значения в косвенно-прямых описательных обозначениях по сравнению с сомнительным имплицитным содержанием в прямых обозначениях, примеры которых приводятся как образцовые иллюстрации подтекста [6]. В случае, когда просто «понимают с полуслова», предполагаемое содержание вовсе не обязательно включается автором в сказанные слова и, наоборот, вовсе не обязательно будет воспринято, если действительно включено; это намек, который может быть не понят или понят не так. Например, если жена говорит мужу, собирающемуся на работу: *Сегодня холодно*, то она, возможно, имеет в виду дополнительно не «оденься потеплее», а еще что-нибудь («поэтому я не пойду в магазины», «а я этого не ожидала» и т. д.) или совсем ничего. Совсем не то при косвенно-прямых описательных обозначениях; ср.: *У младшего сына уже две звездочки* (отсюда неминуемо вытекает смысл «то есть он лейтенант»); *Увидев шалость ребенка, бабушка поводила поднятым пальцем* (т. е. «выразила запрещение-угрозу»).

При наличии в КПОО эксплицитного выражения раздельно поверхностного и глубинного значения форма-передатчик, естественно, все равно остается косвенно-прямым описательным обозначением, но в нем уже нет семантической двойственности, синтетичности; форма мотивирующего знака описывается одними компонентами, его значение — другими; например: «Иосаф молчаливым наклонением головы изъявил согласие» (А. Писемский, Старческий грех).

В неспециализированных КПЗ и КПОО для неспециализированных знаков оба значения также обычно совмещаются в одной форме, но глубинное может не замечаться из-за сильного влияния изоморфного слова — прямого знака (или изоморфных прямых описаний) или же из-за семиологической неосведомленности, недостаточного знания современной культуры и истории культуры.

Затрагивая интересующие нас факты, исследователи оперируют понятиями «прямое и переносное значение», причем в своих оценках делают крен в ту или иную сторону, игнорируя отмеченную смысловую двойственность.

Так, Ш. Балли, рассматривая метонимию, утверждает, что оборот *вступить на трон* равен словам *стать королем* [7]. Приблизительно тот же подход у М. Д. Кузнец и Ю. М. Скребнева [8]. Еще разительнее это видно в наших толковых и фразеологических словарях.

Проявляется склонность и к обратному. Д. Н. Шмелев пишет: «... словосочетание *бить челом*, возникшее не позже XIII—XIV вв. (*челомъ бити*), сначала, по-видимому, являлось п р о с т о (разрядка наша.— *А. Ф.*) „натуралистическим" отображением самого действия („класть земные поклоны"). Затем в условиях феодально-средневековых отношений оно стало выражать обращение к власти, а именно с просьбой или с жалобой на кого-либо» [9]. А. В. Калинин считает, что в стихах *Провожать тебя я выйду — Ты махнешь рукой* словосочетание *махнуть рукой* «взято в прямом значении» [10]. Не согласны мы и с идеей совмещенной омонимии,

[6] См.: Н. В. Г л а г о л е в, Экстралингвистическая основа конструирования предложения в речи, ФН, 1974, 2, стр. 52.

[7] Ш. Б а л л и, Общая лингвистика и вопросы французского языка, М., 1955, стр. 155, примеч.

[8] См.: М. Д. К у з н е ц, Ю. М. С к р е б н е в, Стилистика английского языка, М., 1960, стр. 21 и 23.

[9] Д. Н. Ш м е л е в, Очерки по семасиологии русского языка, М., 1964, стр. 236—237.

[10] См.: А. В. К а л и н и н, Лексика русского языка, М., 1971, стр. 195.

высказанной в упомянутых выше статьях Л. И. Ройзензона и И. А. Абрамец, так как здесь применяется и даже инвентаризируется о д и н знак или о д н о обозначающее сочетание, а не два.

По нашему мнению, не следует приравнивать глубинное значение к переносному в очевидных случаях речевой двузначности, а само явление такой двузначности сводить к соотношению автологии — переноса. Во-первых, механизм появления глубинного значения в языке и речи иной, чем переносного, во-вторых, оно так сосуществует с поверхностным значением, что не низводит его до положения «незаконного», лишнего [11]. При употреблении слова или оборота в переносном значении создается взаимопроникновение прямого и переносного значения с полным преобладанием второго [12], при употреблении же КПЗ налицо равноправное сосуществование сразу двух значений в одном знаке и поэтому неправомерно ограничиваться (в плане строгой объективности) пониманием только одной плоскости значения — знаковая форма именно принципиально двуфункциональна. Это было бы ошибкой, как ошибочно приписывать однофункциональному обозначающему нечто лишнее (*Мой муж кончил инъяз*— неправомерно добавочное понимание «хорошо знает иностранные языки»).

Представляется целесообразным сопоставить КПЗ и КПОО с перифразами и паролями. В них тоже две плоскости значения, например, *великий царь природы* означает «тот, кто царствует над природой» и в то же время «солнце». Но перифразы и пароли — не КПЗ, в них нет перемещения значения знака одного кода в знак другого кода, нет описания другого знака, хотя есть момент импликации и принятия знаком или совокупностью знаков дополнительной смысловой нагрузки. Некоторые из перифраз, правда, сопряжены с межкодовыми отношениями, но не перифраза как таковая является тогда передатчиком мотивирующего знака (ср. *страна кленового листа* и т. п.). Случаи же типа *комбинация из трех пальцев* нужно считать не перифразами, а синонимами соответствующих слов.

По отношению к «одинарному» значению (прямому или переносному) рассматриваемое двуплоскостное значение является противостоящим. Можно его назвать совокупным, бинарным или синтетическим. Совокупное значение, как и «одинарное», может быть и прямым, и переносным. Например, *Все встали при исполнении гимна*, *Тренер выбросил полотенце*— здесь, как и в большинстве КПЗ и КПОО, двуплоскостное значение прямое. Ср. однако, фразы *Сидит за б а р а н к о й* (о шофере) и *Неудачно выступивший спортсмен получил «б а р а н к у»*[13]. В обоих случаях значение «продукт из муки в виде окружности» отсутствует, самое большее — вспоминается или навязчиво возникает, слова имеют переносное значение. Но при этом во втором предложении у слова *баранка* двойное семантическое содержание: одна плоскость — переносное поверхностное значение («начерченная окружность»), другая — переносное глубинное значение («никаких очков»). То же самое и в случаях *палочки* («11») и *кочерга* («7»), когда эти слова в данных значениях используются игроками в лото. Ср. также: *бубновый туз* (карта) — КПЗ в прямом значении и *бубновый туз* (метка на каторжнике) — КПЗ с переносным значением.

---

[11] Факты превращения КПЗ в прямые знаки (*застолбить*; *жить, с т о я н а к о л е н я х* «быть рабом») не опровергают наше мнение, так как здесь процесс развития значения похоже на перенос только при учете начальной и конечной его фаз, но без учета срединной фазы.

[12] Ср. у И. В. А р н о л ь д, которая пишет, что при реализации слова в каком-то значении «остальные значения устраняются не полностью, а существуют как некий стилистический фон» («Стилистика английского языка», М., 1973, стр. 120).

[13] См.: «Русский язык и советское общество. Лексика современного русского литературного языка», М., 1968, стр. 77.

В соответствии с этим должна быть изменена лексикографическая практика описания таких единиц. В «Фразеологическом словаре русского языка» под ред. А. И. Молоткова, в словаре М. Михельсона, в БАС и других очень часто находим лишь половинчатое объяснение их значения. Например, «**Падать на колени перед кем**... „умолять, просить кого-либо о чем-либо“» [14] (не раскрыто поверхностное значение, хотя, безусловно, *падать на колени* прежде всего означает «подгибать ноги»). Оттуда же пример противоположной крайности: «**Ломать (ломить) шапку**... „кланяться, раскланиваться, сняв головной убор“» [15] (не раскрыто глубинное значение). Такие толкования неточны и могут принести известный вред при овладении своим языком и тем более каким-то языком (например, русским) как неродным. Выгодно отличается от других словарь С. И. Ожегова, в котором почти всегда КПЗ объясняются досконально, часто вообще безупречно: например: «**Воздеть руки** (устар.) — поднять вверх руки (в знак возмущения, мольбы, призыва к справедливости и т. п.)» [16].

Практика переводов подобных единиц с чужого языка тоже может вызвать некоторые сомнения у критиков и трудности у переводчиков и привести к «недоинформации» новых читателей, к искажению смысла и стиля. Так, фраза из романа Р. Стивенсона «Treasure Island»: «In a place like this... Silver would fly the Jolly Roger» (с КПЗ) переведена Н. К. Чуковским как «...в этой пустыне... Сильвер поднял бы черное, пиратское знамя», т. е. не строго адекватно: между *the Jolly Roger* и *черное, пиратское знамя* нет смыслового и стилистического равенства. Однако далее «I strike the Jolly Roger» переведено как «Я спускаю „Веселого Роджера“». Это очень непоследовательно и не дает никакого положительного эффекта. В его же переводе (Р. Л. Стивенсон, Остров сокровищ. Черная стрела, М., 1957) возглас «Flag of truce!» звучит как «Белый флаг!», что сначала наводит читателя на мысль, что Сильвер пришел сдаться (белый флаг — это и символ капитуляции); английский частичный КПЗ *flag of truce* не допускает этого; он точно описывает значение сигнала, а о форме во многом умалчивает. Ради сохранения стиля оригинала переводчику следует достигать адекватности и, в частности, точно переводить косвенно-прямые знаки.

Косвенно-прямые знаки подтверждают, что национальный словесный язык неразрывно связан с культурой данной нации, с прочими ее коммуникативными системами, что знание этого языка включает в себя знание и других общеизвестных коммуникативных систем (языка жестов и др.) в пределах данной национальной культуры. А это должно повлиять на методику преподавания языка, особенно иностранного.

Многие КПЗ должны учитываться при классификации фразеологизмов, выделении их типов и изучении их свойств вообще.

Обороты типа *отвесить поклон*, *бросить перчатку*, *покачать головой*, *воздеть руки*, видимо, относятся к сфере фразеологии, фигурируют в специальных работах, но неточно там квалифицируются и классифицируются. Это специфические обороты, похожие на регулярные фразеологизмы воспроизводимостью, раздельнооформленностью, наличием «целостного» значения и другими чертами, но отличающиеся от них семантической структурой и синтаксическим функционированием. Обороты типа *покачать головой* имеют две совершенно различные плоскости лексического значения — суммарное лексическое и «глобальное» (значение мотивирующего знака); обычные же фразеологизмы (сращения, единства) не имеют суммарного

[14] «Фразеологический словарь русского языка», под ред. А. И. Молоткова, 2-е изд., М., 1968, стр. 308.
[15] Там же, стр. 232.
[16] С. И. Ожегов. Словарь русского языка, 2-е изд., М., 1952, стр. 73.

лексического значения или не должны его иметь (например, в предложении *Он под мухой* неуместно понимание пребывания под насекомым данного названия; *рассыпается мелким бесом* — неуместно понимание какого-то действия беса). На этом основании интересующие нас обороты нельзя безоговорочно подводить под традиционные рубрики фразеологических сращений, единств и сочетаний. Часть из них нужно назвать фразеологическими единствами-сочетаниями (*шаркнуть ногой*, *отвесить поклон*, *пожать плечами*, *воздеть руки*), а именно: те, которые имеют слова со связанным значением или связанным употреблением и одновременно имеют «глобальное» значение; часть же — свободными словосочетаниями с фразеологическими признаками (*зеленый свет*, *покачать головой*), т. е. те, которые складываются из слов со свободным употреблением, понимаемых буквально, но имеют и «глобальное» значение.

Из синтаксических отличий наиболее важно то, что КПЗ, как правило, не выступают единым членом предложения, как типичные фразеологизмы, и это, с одной стороны, знаменательно, а с другой — вносит трудности в синтаксический анализ.

Для фразеологии и лексикологии было бы небесполезно проследить становление обычных фразеологизмов и слов (прямых знаков) из оборотов и слов — КПЗ: как устраняется или «смазывается» поверхностное значение, когда видоизменяется глубинное значение, становясь просто целостной семантикой прямого знака (имеются в виду фразеологические единицы *быть под башмаком*, *очертя голову*, *куда махнул*, *по пальцам перечесть*, *поставить крест* и др.; слова *застолбить*, *низкопробный* и др.). Важно здесь проследить и изменение формы оборота [ср: *рукой подать* и более раннее *руку подать* тоже в значении «очень близко»; *сесть за один стол* (для переговоров) и *сесть за круглый стол*; *идти под большим флагом принципиальности* и *идти под флагом большой принципиальности*].

В области грамматики осознание природы КПЗ пролило бы новый свет на проблемы членов предложения (а также проблемы придаточных).

Как упомянуто выше, при использовании в речи КПЗ или КПОО (преимущественно тех, что «перелагают» жесты) нередко в предложения вставляются их спутники-объяснители — слова или словесные группы, растолковывающие, делающие б о л е е о т ч е т л и в ы м и их глубинное значение: *Председатель о т р и ц а т е л ь н о покачал головой*; *Я кивнул приятелю в з н а к п р и в е т с т в и я* и т. п. Объяснители типа выделенных (в морфологическом отношении бывают и разные другие) не охватываются, с нашей точки зрения, понятием обстоятельства. В научной литературе (не говоря уже о практике школьного и вузовского синтаксического разбора) известны случайные (довольно редкие и недоказанные) оценки подобных компонентов предложений как обстоятельств, но мы не можем с этим согласиться, поддаваясь первому впечатлению.

Оправданность или ненужность смысловых сопроводителей при КПЗ (при косвенно-прямых описательных обозначениях они почти всегда нелишни) — это важный вопрос стилистики, в частности переводческой практики. В переводах художественных текстов на русский язык они нередко вносятся переводчиками от себя. Ср. «She *nodded*, and Jon's face lighted up at once» (J. Galsworthy, Forsyte Saga) и соответственно: «Она *кивнула в знак согласия*, и у Джона сразу просветлело лицо» (Дж. Голсуорси, Сага о Форсайтах, М., 1946, т. I, стр. 699). Примеры этого рода можно легко умножить.

Разбор некоторых предложений, содержащих КПЗ, подводит к вопросу об их полноте — неполноте. Так, в предложениях *Он меня дружески хлопнул по плечу*; *Когда поезд тронулся, мы помахали вслед*; *Генерал затопал, закричал*, вероятно, опущены дополнения *рукой*, *ногами*. Конечно,

как уже упомянуто, форма мотивирующего знака часто описывается вовсе не полностью, но если какой-то дополнительный компонент КПЗ явно «напрашивается», легко восстанавливается, имеет «забронированное» за ним место — это очень похоже на неполное предложение. Правомерно поставить вопрос о полноте — неполноте и таких предложений, как *Я молча выразил свое согласие* (видимо, опущено *кивком головы*); *Я постучал пальцем по часам* (опущено: *показывая, что нет или мало времени*).

Мы затронули определенную часть проблематики, связанной с описываемыми единицами (ряд вопросов остался за рамками статьи). Предлагаемые нами выводы могут быть со временем уточнены; могут оказаться недостаточно удовлетворительными подобранные нами термины «косвенно-прямой знак» и «косвенно-прямое описательное обозначение». Но представляется бесспорным одно: исследователи должны уделять больше внимания отмечаемым языковым и (шире) семиологическим фактам, собиранию и осмыслению их. Косвенно-прямые знаки и описательные обозначения играют весьма существенную роль в нашем языке и речи, часто встречаются, и проявляется тенденция к их количественному росту и к увеличению частотности применения. Тщательный анализ этих специфических единиц позволит, как мы думаем, внести важные дополнения в отдельные теоретические положения ряда лингвистических дисциплин, может дать положительные результаты практического значения (при составлении словарей, этимологических разысканиях и др.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

С. И. КОКОРИНА

О РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. В лингвистической литературе последних лет неоднократно предпринимались попытки представить закрытым списком отвлеченные образцы минимального построения простого предложения, получившие в «Грамматике современного русского литературного языка» 1970 г. (далее «Гр. 70») название структурных схем предложения.

Существует два понимания структурной схемы предложения.

1) Элементарной схемой предложения считается нераспространенная структура, обладающая грамматической достаточностью. Все распространители, облигаторные с точки зрения информативной достаточности предложения, выводятся за границы схемы как минимальной структуры. Такое понимание структурной схемы предложения опирается на сложившееся в русской грамматической традиции понимание границ нераспространенного предложения и соотношения предложения и словосочетания [1].

В соответствии с указанной точкой зрения в данной работе под структурной схемой предложения понимается отвлеченный образец, состоящий из одной или нескольких форм слов, по которому может быть построено предложение как грамматически достаточная предикативная единица. В структурную схему входит прежде всего предикативный центр предложения, т. е. компонент (или компоненты), непосредственно связанный с выражением предикативности (синтаксических категорий модальности и времени).

Однако в ряде случаев форма компонентов, входящих в предикативный центр, варьируется по категориям лица, рода и числа [2], что свидетельст-

---

[1] Закрытый список нераспространенных структур, обладающих грамматической достаточностью, представлен Н. Ю. Шведовой в «Гр. 70».

[2] В спрягаемой форме глагола (полнознаменательного или вспомогательного), входящего в состав предикативного центра, представлены не только номинативные грамматические значения (категории времени, наклонения), но и синтаксические — род, число и лицо. В «Гр. 70» категория лица у глагола не определена четко со стороны номинативности или синтаксичности значений личных форм. Если, например, настоящее время трактуется как «номинативное грамматическое значение» (стр. 358), а число как «словоизменительная синтаксическая грамматическая категория глагола, указывающая, что названное глаголом действие соотнесено с одним или несколькими его исполнителями» (стр. 365), то по отношению к категории лица таких однозначных определений нет: «Лицо — это словоизменительная грамматическая категория, обозначающая отнесенность названного глаголом действия к его производителю» (стр. 362). Это свидетельствует, по-видимому, о сложности трактовки данной категории. В категории лица, так же как и в категории рода у глагола, есть элементы и номинативного, и синтаксического значения. В «Гр. 70» отмечается, что «род — это словообразовательная синтаксическая грамматическая категория глагола», однако ей «присущи элементы номинативных грамматических значений», если речь идет об отнесенности действия к лицу (стр. 366).

Категории лица, кроме номинативного значения, присущи элементы синтаксического значения — при отнесенности действия к не-лицу. Это позволяет рассматривать категорию лица у глагола и как синтаксическую, отражающую в определенной мере позицию глагола в синтагматическом ряду.

вует о грамматической связи данного компонента с каким-то другим в синтагматической цепи. Чтобы устранить грамматическую ориентацию предикативной единицы на контекст, мы должны ввести в структурную схему компонент, оказывающий непосредственное влияние на форму предикативного центра, т. е. N_1. Таким образом, компоненты, облигаторные с точки зрения информативной достаточности предложения, остаются за пределами структурной схемы, но в структурную схему, кроме предикативного центра, включается N_1 как компонент, облигаторный с точки зрения грамматической достаточности предикативной единицы.

2) Согласно другому пониманию структурной схемы предложения, элементарной схемой предложения считается структура, обладающая не только грамматической, но и информативной достаточностью; поэтому все информативно облигаторные распространители считаются обязательными компонентами схемы. Признание необходимости ввести в минимальное построение информативно облигаторные распространители нашло отражение в работах В. Г. Адмони, Т. П. Ломтева, Ю. Д. Апресяна, А. А. Холодовича, Е. А. Иванчиковой, И. Н. Янчевской, А. С. Богуславского, М. Грепля, М. Кубика, Р. Зимека, Н. Савицкого, П. А. Леканта, П. Адамца [3].

В связи с изучением структурных схем предложения встает вопрос о правилах реализации структурных схем, о правилах перехода от отвлеченного образца построения к предложению как единице речи при наполнении схемы различным лексическим материалом. При решении вопроса о том, для каких семантических классов слов-предикатов достаточны образцы минимального построения предикативных единиц (например: *Птицы улетели*, *Морозит*, *Морозно*, *Мороз*), а для каких требуется введение распространителей и каковы причины облигаторности распространителей, представляется более целесообразным исходить из структурных схем построения минимальных предикативных единиц. К этому побуждают следующие соображения:

Если форма компонентов, входящих в предикативный центр, не варьируется по категориям лица, рода и числа, т. е. не зависит от какой-либо другой словоформы в синтагматическом ряду, то такой предикативный центр грамматически не зависим от контекста (V_{3s}, V_{3pl}, Cop/0 Praed, Cop/0 N_1). Если же форма компонентов варьируется по лицу, роду, числу, то должен быть введен еще один компонент, чтобы полученная предикативная единица была грамматически не зависима от контекста (N_1 — V_f, N_1 — Cop/0 $N_{1/5}$, N_1 — Cop/)0vAdj$_{1/5}$, N_1 — Cop/0 Adv).

[3] В. Г. Адмони, Партитурное строение речевой цепи и система грамматических значений в предложении, ФН, 1961, 3; его же, Структурно-смысловое ядро предложения, «Члены предложения в языках различных типов», Л., 1972; Т. П. Ломтев, Основы синтаксиса современного русского языка, М., 1958; Ю. Д. Апресян, Экспериментальное исследование семантики русского глагола, М., 1967; А. А. Холодович, Опыт теории подклассов слов, ВЯ, 1960, 1; Е. А. Иванчикова, О структурной факультативности и структурной обязательности в синтаксисе, ВЯ, 1965, 5; И. Н. Янчевская, О некоторых случаях расширения границ предикативного сочетания, «Вопросы изучения русского языка. Доклады VII научно-методической конференции Северо-Кавказского зонального объединения кафедр русского языка», Ростов-на-Дону, 1964; А. С. Богуславский, О коммуникативных типах предложений. ФН, 1964, 4; М. Грепль, К сущности типов предложений в славянских языках, ВЯ, 1967, 5; М. Кубик, К вопросу о классификации предложений в русском языке, «Československá rusistika», 1968, 2; его же, К вопросу классификации простого предложения в новой академической грамматике русского языка, «Československá rusistika», 1972, 2; R. Zimek, Věta a soustava větných (výpovědních) tipů, «Ruský jazyk», 1968, 3; N. Savický, Tzv. «neosobní» věty s finitním slovesem v ukrajinštině ve srovnání s ruštinou a češtinou, сб. «Studie ze slovanské syntaxe», Praha, 1971; П. А. Лекант, Грамматическая форма простого предложения и система его структурно-синтаксических типов в современном русском языке. АДД, М., 1972; П. Адамец, Очерк функционально-трансформационного синтаксиса современного русского языка, Прага, 1973.

1) Первый из рассмотренных подходов к структурной схеме предложения дает легко обозримый список отвлеченных образцов минимального построения. Включение в структурную схему облигаторных распространителей во много раз увеличивает число структурных схем. Н. Ю. Шведова отмечает, что при таком подходе «количество структурных схем предложения не только возрастет до количества типов сильных присловных связей, но и должно будет быть еще помножено на число всех других схем с теми же распространителями» [4]. Более того, количество структурных схем превысит количество типов присловных связей и потому, что облигаторность многих распространителей обусловлена не только сильными присловными связями.

2) В тех классификациях, где в структурную схему включены облигаторные распространители, в одном ряду оказываются схемы, в которых облигаторность распространителя обусловлена сильными присловными связями, и схемы, в которых облигаторность распространителя связана с какими-то другими факторами [5]. При таком подходе остается открытым вопрос о причинах облигаторности того или иного распространителя.

Наблюдения показывают, что причиной облигаторности распространителя, кроме наличия сильных присловных связей, является несоответствие между значением словоформы, занимающей позицию предиката, и грамматической семантикой структурной схемы минимального построения данной предикативной единицы. Таким образом, при решении вопроса об облигаторности некоторых распространителей следует учитывать грамматическую семантику именно минимальных предикативных единиц.

Эти соображения дают основания полагать, что описание будет более экономным и точным, если, исходя из образцов построения грамматически достаточных предикативных единиц, определить различные типы (пути) реализации этих образцов для различных лексических групп, в результате чего могут быть получены информативно достаточные предложения. Для каждого семантического класса предикатов может быть указан свойственный ему тип реализации данной структурной схемы.

Минимальная модель реализации структурной схемы для определенного семантического класса может совпадать со структурной схемой или быть шире ее за счет введения облигаторных распространителей. Под минимальной моделью реализации структурной схемы понимаем абстрагированное выражение такого пути реализации, при котором полученное сообщение будет не только грамматически, но и информативно достаточным. Иными словами, информативно достаточное предложение может быть построено по отвлеченному образцу минимального построения грамматически достаточной предикативной единицы, если структурная схема предложения будет дополнена набором минимальных моделей реализации данной схемы для разных лексических групп.

---

[4] Н. Ю. Шведова, Спорные вопросы описания структурных схем простого предложения и его парадигм, ВЯ, 1973, 4, стр. 29.

[5] Например, Н. Савицкий (указ. соч., стр. 21—49) рассматривает в одном ряду «формулы», по которым могут быть построены следующие предложения: *Мне везет* ($N_d V_{ro}$), *Баржу раздавило* ($N_a V_o$), *Воды прибыло* (N_g V_o), *В воздухе пахло резедой* (N_x^2 V_o N_i^1), *В сенях зашумело* (N_x V_o), *Кругом краснеется* (V_{ro} N_x). В «ядерных предложениях» П. Адамца (указ. соч., стр. 51—54) одинаково комплетивными признаются распространители в предложениях: *Его клонило ко сну*, *Тело понесло в сторону*, *Его лихорадило от этой мысли*, *Меня тошнит от пива*, *На море забурлило*, *На небе чуть расчистило*, *Вагон трясло*, *С траншеей не получилось*, *Пассажиров все прибавлялось*.

2. Два рассмотренных нами взгляда на структурную схему предложения различаются включением или невключением в структурную схему облигаторных распространителей. Встает вопрос, какие распространители могут быть признаны облигаторными и на каких основаниях.

В «Гр. 70» мы встречаемся с замечаниями о том, что существуют лексические ограничения для той или иной структурной схемы, которые могут быть сняты при условии введения детерминантов или распространителей, связанных с компонентами схемы подчинительной связью. Например: «Схема (Vf_{3S}) ограничена списком безличных глаголов современного русского литературного языка... В условиях конситуации, при наличии детерминанта или зависимой словоформы при глаголе — снятие лексических ограничений: предложения с личным глаголом в безличном значении: *В колодце загудело*, *На море забурлило*, *Корабль подбрасывает и опускает*, *Молнией убьет*, *Только что я задул свечу*, *завозилось у меня под кроватью* (Гург. „Собака"); *Машка — сказало в трубке и вздохнуло с облегчением* (И. Зверев, „Второе апреля")» [6].

О структурной схеме N_{N_i} говорится, что она «лексически ограничена словами, в силу своего значения способными передавать бытийность (экзистенциальность). Ограничение снимается в следующих случаях: а) когда в состав предложения вводится детерминант: *В войне конец*; *У больного грипп*; *Сыну год*; *В воздухе гарь*; *Без начальства благодать*; *На обед щи*; б) в некоторых ирреальных наклонениях, например, в форме желательного наклонения: *Если бы деньги! Только бы здоровье! Лишь бы не телеграмма! Только (бы) не он!*»[7]. Итак, условием снятия лексических ограничений является введение тех или иных распространителей. Однако «Гр. 70» не дает ответа на вопрос, почему в одних случаях возникает необходимость ввести распространители, а в других она не возникает.

Причиной облигаторности распространителя может быть наличие сильной подчинительной связи между распространителем и компонентом схемы в случае, когда он является сильным присловным распространителем компонента схемы. Под сильным присловным распространителем, вслед за Ю. Д. Апресяном [8], понимаем такой распространитель слова, который предопределен лексической семантикой главенствующего слова и регулярно сопутствует ему при неабсолютивном его употреблении. При сильной подчинительной связи определяющую роль всегда играет принадлежность главенствующего слова к определенному семантическому классу (в тех случаях, когда такой класс представлен только одним, данным словом,— лексическое значение слова). Понятие сильного присловного распространителя есть понятие синтаксиса слова: связь между главенствующим и зависимым словом не обусловлена правилами организации предложения и лежит в области синтаксических возможностей отдельных слов. Следовательно, сильный присловный распространитель должен сопутствовать данному слову в любой синтаксической позиции, ср.: *Он ранил мальчика*, *Ранить мальчика — преступление*, *Мальчика ранило*, *Мальчика ранили*, *Человек, ранивший мальчика* (*ранив мальчика*), *бежал*.

Если изменение синтаксической позиции главенствующего слова приводит к невозможности или нерегулярности употребления при нем данного распространителя, это свидетельствует о том, что облигаторность

[6] «Гр. 70», стр. 563.
[7] «Гр. 70», стр. 560.
[8] Ю. Д. Апресян, О сильном и слабом управлении (Опыт количественного анализа), ВЯ, 1964, 3.

этого распространителя обусловлена не только категориальными свойствами главенствующего слова, но и его функционированием в данной синтаксической конструкции. Например, глагол *унести*, занимая позицию предиката в схеме V_{3S}, имеет при себе распространитель в творительном падеже (*Лодку унесло ветром*), а реализуя схему N_1 — Vf, он этого распространителя уже не имеет. Подобно этому: *Ответа не было* (*Ответ был*), *Писем не писалось* (*Письма не писались*), *Воды прибывает* (*Вода прибывает*). Таким образом, сильными присловными распространителями не являются те, которые регулярно сопутствуют главенствующему слову только в данной синтаксической позиции и невозможны при функционировании этого слова в другой синтаксической позиции.

Нельзя считать сильными присловными распространителями и такие, которые регулярно сопутствуют главенствующему слову только в данной синтаксической конструкции, а при функционировании слова в другой конструкции факультативны. Например: *В печке гудит* (*В печке гудит пламя*); *В овраге стреляют* (*В овраге стреляют бойцы из второго взвода*); *С транспортом неполадки* (*Неполадки с транспортом продолжались*); *У него радость* (*Радость у него большая*).

Сложность состоит в том, что в целом ряде случаев слово функционирует только в одной синтаксической позиции, и это обстоятельство не дает возможности решить, от чего идет облигаторность данного распространителя — только от категориальных свойств данного слова или она неразрывно связана с функционированием данного слова в данной синтаксической позиции. Например: *Ему не спится*, *Ему нездоровится*, *Его тошнит*, *В боку колет*, *В горле саднит*, *Денег не хватает*, *Ему следует уехать*, *Ему грустно*, *Ему нужно уехать*. Это характерно для безличных глаголов, реализующих схему V_{3S}, и предикативных наречий, реализующих схему Cop/0 Praed. Если сильные присловные распространители типа *изучать физику*, *находиться в городе* безразличны к функционированию главенствующего слова в той или иной синтаксической позиции, то распространители безличных глаголов и предикативных наречий сигнализируют функционирование главенствующего слова в данной (и никакой другой) синтаксической позиции. Такие распространители составляют особую группу среди сильных присловных распространителей, однако у нас нет оснований признавать их не присловными, поскольку невозможно доказать, что данный распространитель не обусловлен категориальными свойствами главенствующего слова, что он утрачивается или становится факультативным при функционировании этого слова в другой синтаксической позиции.

Итак, минимальная модель реализации структурной схемы определенной лексической группой может быть шире структурной схемы предложения за счет введения сильных присловных распространителей. Однако облигаторность многих распространителей не связана с наличием сильных присловных связей.

3. Информативная достаточность или недостаточность предложения не сводится только к информативной достаточности или недостаточности слов, заполняющих структурную схему. Информативная недостаточность предложения может быть связана с невыраженностью грамматической семантики той структурной схемы, по которой данное предложение построено: например, предложение *Косят* может быть понято либо как информация о том, что «какие-то люди (они) косят», либо как информация о том, что «идет косьба». Предложение *В лугах косят* в этом отношении однозначно: оно несет информацию о наличии самого действия, про-

изводитель которого нерелевантен. Предложение *Косят*, будучи понятым как «какие-то или известные нам из контекста люди косят», является неполной реализацией структурной схемы N_1 — Vf; если же такое предложение понимается как «идет косьба», его следует рассматривать как реализацию схемы V_{3pl}. Так же неоднозначны предложения типа *Зазеленело* (*Поле зазеленело*, *В полях зазеленело*), *Гудит* (*Гудит пламя*, *В печке гудит*), *Не писалось* (*Письмо не писалось*, *Писем не писалось*), *Хорошо* (*Это хорошо*, *Ему хорошо*), *Ангина* (*Это ангина*, *У него ангина*), *Самолет* (*Это самолет*, *В шесть часов самолет*) и т. п.

На необходимость выражения в предложении «типовой семантики» конструкции обращают внимание В. В. Бабайцева, Г. А. Золотова, Г. Ф. Низяева [9]. В. В. Бабайцева пишет: «Нефакультативные второстепенные члены являются компонентом структуры безличных предложений, выполняют роль вспомогательных средств, оформляющих безличные конструкции, и необходимы для выражения определенной семантики предложения в целом. Отсутствие их может быть признаком структурной неполноты безличных предложений» [10]. Г. Ф. Низяева считает завершенной, достаточной для самостоятельного функционирования лишь «ту структуру, которая вне контекста выражает синтаксическое значение данного типа предложения...» [11].

Наконец, в ряде случаев информативная недостаточность предложения может быть связана с особенностями функционирования данного слова в данной синтаксической позиции. Например: *Он — роста* (*Он высокого роста*); *Платье — цвета* (*Платье белого цвета*), *У него глаза* (*У него голубые глаза*), *Погода* (*Солнечная погода*). В данном случае без распространителя мы получаем сообщения, которые не только не однозначны, но и не корректны с точки зрения норм русского языка.

Итак, чтобы при наполнении отвлеченного образца лексическим материалом получить информативно достаточное предложение [12], в ряде случаев необходимо ввести распространители, не связанные с компонентами схемы сильной присловной связью. Назовем такие распространители необходимыми компонентами реализации.

4. Основная функция необходимых компонентов реализации, обуславливающая их вхождение в минимальное информативно достаточное построение, состоит в «приспособлении» значения словоформы, являющейся предикатом, к грамматической семантике структурной схемы, лежащей в основе данного предложения. Введение необходимых компонентов реализации может рассматриваться как минимальное введение контекста, не выводящее за рамки данного предложения. Необходимые компоненты реализации — это распространители, входящие в минимальное информативно достаточное предложение, облигаторность которых связана только с их особой семантической функцией,— «приспособлением» значения словоформы, выступающей в качестве предиката, к грамматической семантике данной конструкции (структурной схемы построения грамматически достаточной предикативной единицы). Например, грамматиче-

[9] В. В. Бабайцева, Односоставные предложения в современном русском языке, М., 1968; Г. А. Золотова, Очерк функционального синтаксиса русского языка, М., 1973; Г. Ф. Низяева, Неопределенно-личные предложения в современном русском языке (семантико-грамматическая организация). АКД, М., 1972.

[10] В. В. Бабайцева, указ. соч., стр. 85.

[11] Г. Ф. Низяева, указ. соч., стр. 5.

[12] Информативно достаточным считаем предложение: 1) не содержащее информативно недостаточных словоформ (т. е. предложение, в которое включены сильные присловные распространители компонентов схемы); 2) однозначное с точки зрения грамматической семантики его структурной схемы.

ская семантика таких односоставных структурных схем, как V_{3S}, V_{3pl}, Cop/0 N_1[13], характеризуется следующими чертами:

1) данные структурные схемы несут информацию о признаке [14];

2) данные структурные схемы несут информацию о независимом признаке. Независимым можно считать такой признак, который не предполагает обязательной отнесенности к носителю признака (что имеет место в двусоставных структурных схемах) [15].

Если на уровне грамматической семантики схемы данный предикативно выраженный признак не предполагает обязательной отнесенности к носителю признака, то при реализации структурной схемы на уровне облигаторного распространения отнесенность к носителю признака может возникнуть. Но и в этом случае признак остается независимым от своего носителя — субъект не является производителем признака, агенсом. Независимость признака от его носителя маркирована грамматической формой субъекта: он представлен либо как дезактивный субъект, «погруженный» в данное динамическое состояние (*Ему нездоровится*; *Его тошнит*; *Его ранило*; *Его ранили*; *Ему отказали*), либо как субъект, поставленный в отношение к определенному явлению (*У него операция*; *У него радость*; *С ним обморок*; *Ему почет*) [16].

Значение словоформы, выступающей в качестве предиката, может соответствовать или не соответствовать грамматической семантике конструкции. Если значение предиката соответствует грамматической семантике конструкции, информативно достаточное предложение получается при простом наполнении лексическим материалом позиций в схеме: минимальная модель реализации данной схемы данной лексической группой равна структурной схеме или шире структурной схемы только за счет введения сильных присловных распространителей. Проиллюстрируем это положение примерами.

При заполнении схемы V_{3S} глаголами типа *Морозит*, не имеющими левой валентности, или заполнении схемы Cop/0 N_1 существительными

---

[13] Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов, отрицавшие наличие глагола-связки в предложениях типа *Мороз*, *Пожар*, констатировали фактическое отсутствие вспомогательного глагола при отнесении данного сообщения к настоящему времени. В прошедшем и будущем времени в предложениях *Был* (*будет*) *мороз*, *Был* (*будет*) *пожар* наличествует вспомогательный глагол *быть*. При парадигматическом подходе к предложению, когда предложения *Мороз*, *Был мороз*, *Будет мороз* рассматриваются как формы одного предложения, в символическом изображении структурной схемы данного предложения должна быть обозначена возможность значимого отсутствия вспомогательного глагола (в одной из форм) и его присутствие (в других формах) — Cop/0.

[14] Вслед за Н. Д. Арутюновой полагаем, что «преобразуясь в предложение, существительное из имени предмета становится именем его свойств». «Поскольку сказуемым предложения,— пишет Н. Д. Арутюнова,— обозначается отнесенный к предмету признак (качество, свойство или действие), то и субстантивированная конструкция, соотносимая со всем предложением, а не только его предикативной частью, именует свойство или действие... Денотатом предложения, следовательно, в отличие от денотата слова (существительного) в принципе не может быть „вещь“, конкретный предмет» («Общее языкознание», М., 1972, стр. 309—310).

[15] Форма грамматического предиката в схеме Cop/0 N_1 свидетельствует о том, что данная схема несет информацию о независимом статическом признаке. Различные формы проявления такого независимого признака (действия, состояния и т.п.) могут быть объединены в понятии «явления». Понятие явления несет эксплицитно (*Драка*, *Чтение*, *Белизна*, *Малодушие*) или имплицитно (*Пожар*, *Свадьба*, *Дуэль*) информацию о признаке, и можно определить грамматическую семантику схемы Cop/0 N_1 как сообщение о явлении, понимая под явлением независимый статический признак, выраженный существительным.

[16] Р. Мразек и И. Брым считают, что общее значение родительного падежа с предлогом *у* в данном случае состоит в выражении весьма близкого участия лица в чем-либо (R. Mrazek, I. Brym, Semantiká a funkce ruského genetivu s předložkou «u», «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», IX, Řada jazykovědná, 10, 1962, стр. 101).

типа *Мороз*, *Листопад*, обозначающими признак, не предполагающий отнесенности к носителю признака, минимальная модель реализации равна структурной схеме. Ср.: «*Смеркалось*. Ветер разыгрывался в темных полях и шумно колебал обнаженные вершины берез и лип, окружавших дом Лучинова» (Тургенев, Три портрета); «Она поднялась на минуту за чем-то, заглянула в окно и сипло сказала: *Снег*» (Казаков, Осень в дубовых лесах).

При заполнении схемы V_{3S} безличными глаголами, которые по своей лексической семантике предполагают отнесенность признака к деагенсивному, дезактивному субъекту, минимальная модель реализации шире структурной схемы за счет включения сильных присловных распространителей. Ср.: «*Ей нездоровилось*: у ней голова болела» (Тургенев, Ася); «Маньке стало стыдно... *Ее тошнило*, голова кружилась, плавали в глазах мушки» (Казаков, Манька); «Нет ничего удивительного, что при этих предложениях, придирках, денежных заботах, неприятностях и волнениях... *Пушкину не писалось*. Успешней всего *ему работалось* обыкновенно осенью» (Кирпотин, Пушкин); «Я знаю, что не усну, *мне придется копаться* в своем прошлом, из которого я выбросился, как выбрасываются самоубийцы из окна» (Тендряков, Апостольская командировка); «Да, весной *не следует знаться* с музами» (Чехов, Весной).

Если значение словоформы, являющейся предикатом, не соответствует грамматической семантике конструкции, возможны два варианта:

1) Минимальная модель реализации равна структурной схеме или шире ее только за счет введения присловных распространителей, однако информативное содержание предложения не может быть однозначно описано с учетом лексической и грамматической семантики, поскольку они кардинально расходятся. Например, в предложении *Цветы стоят на окне* с точки зрения грамматической семантики речь идет о деятеле и действии, а с точки зрения лексической семантики о субъекте состояния и его состоянии.

Столкновение грамматической и лексической семантики в синтаксисе напоминает явление, которое имеет место в морфологии: если существительное *стол* может быть определено как предмет и с точки зрения лексической, и с точки зрения грамматической семантики, то существительное *чтение* не может получить такой единой семантической характеристики — грамматически это предмет, а с точки зрения лексической семантики — действие.

Очевидно, в данном случае столкновение грамматической семантики конструкции и лексической семантики словоформ, заполняющих конструкцию, порождает особое значение, которое требует специального исследования. Эти случаи полной асимметрии грамматического значения конструкции и информативного содержания предложения, идущего от лексического наполнения конструкции, в этой статье не рассматриваются.

2) Минимальная модель реализации шире структурной схемы за счет введения облигаторных распространителей, «приспосабливающих» значение предиката к грамматической семантике конструкции. Это «приспособление» состоит прежде всего в нейтрализации или реализации отнесенности предикативно выраженного признака к носителю признака, или, иными словами, в нейтрализации или реализации левой интенции предиката [17].

[17] Термин «левая интенция» восходит к работам чехословацких исследователей (см. например: Р. М р а з е к, Синтаксическая дистрибуция глаголов и их классы, ВЯ, 1964, 3). Под левой интенцией предиката в данной статье понимается отнесенность признака, называемого предикатом, к носителю признака (семантическому субъекту). Мы различаем левую интенцию данного предиката и левую интенцию слова, занимаю-

Если в форме подлежащего (именительный падеж имени) грамматически не маркирована агенсивность / деагенсивность, активность / дезактивность носителя предикативного признака (*Ученик пишет*, *Небо голубое*), то в форме субъектных распространителей, необходимых компонентов реализации, грамматически маркирована деагенсивность и дезактивность носителя признака (косвенные падежи имени), что соответствует характеру предикатов в односоставных предложениях (независимый динамический или статический признак). Например, если схемы V_{3S}, V_{3Pl} наполняются личными глаголами, обозначающими динамический признак, предполагающий отнесенность к агенсу, или схема Cop/0 N_1 наполняется существительными, имплицитно включающими понятие о признаке, отнесенном к носителю, оказывается необходимым либо снятие левой интенции предиката (1), либо ее специфическая реализация, соответствующая характеру данного предиката (субъект деагенсивен и дезактивен) (2):

1) «Со страшной силой, точно бомбу, Стрижина вдруг отбросило от шкафа к сундуку. *В глазах его засверкало*, дыхание сперло...» (Чехов, Неосторожность); «*В коридорах зашелестело*. Старухи, неся впереди себя мисочки с кашей, осторожно выходили из кухни» (Ильф и Петров, Двенадцать стульев); «*Где-то далеко в тайге зарокотало, набрало силу и покатилось прямо на деревню, грозя раздавить и смять ее, и, только чуть-чуть не докатившись, развалилось*. Надвигалась гроза» (Распутин, Вниз и вверх по течению); «*В доме Батленга жили шумно и весело... всегда там смеялись, кричали и пели*, играла музыка» (Горький, Детство); «*По деревне уже шептались*, что жених ее обманул» (Паустовский, Кружевница Настя); «Наш сад как проходной двор, *через него и ходят, и ездят*» (Чехов, Три сестры); «*В саду крики, топот, возня*» (Тынянов, Кюхля); «*Кругом заваруха, говор, крик*, а на дворе, кажется, идет настоящая свалка» (там же); «*Кое-где время от времени неторопливый полет отживших листьев... И всюду — в высоте, в воздухе, на земле переливы золотых, багряных, рыжих красок*» (Николаева, Наш сад); «Пройдет война, Митя, *и будет на Земле много шума и радости*» (Паустовский, Правая рука); «Знай я раньше, что *у тебя здесь такая прелесть*, ни за что бы в те годы не ездил за границу» (Чехов, Тайный советник); «*Дома — бедность, голод, холод, ворчун-отец, попреки*, а тут так безмятежно, тихо...» (Чехов, Иван Матвеич).

2) «*Катастрофы не произойдет*, если я не напишу, буду жить как живу — вполне прилично, лучше многих» (Тендряков, Апостольская командировка); «*У нас не прибавилось счастья, а забот прибавилось* — приходится обеспечивать свою, изо дня в день возрастающую, привередливость» (там же); «*У меня сегодня сверхурочная работа*, и я очень занята» (Ильф и Петров, Двенадцать стульев); «*В девять у него прием*» (Эренбург, Буря); «*А у тебя жар*! — говорит мама, касаясь ладонью его лба» (Чехов, Гриша); «*А вчерась мне была выволочка*» (Чехов, Ванька); «*Стороннему человеку в наших местах просто гибель*: высовываются, глядят на него из всех окошек...» (Паустовский, Записки Ивана Малявина).

Необходимые компоненты реализации могут играть определенную роль в «приспособлении» значения предиката к грамматической семантике

щего позицию предиката, как лексемы. Если в предложениях *Паровоз загудел*, *Дети спят* реализованы и левая интенция предикатов, и левая интенция глаголов (*загудеть*, *спать*), а в предложениях *Над нами загудело*, *В доме спят* снята и левая интенция предикатов, и левая интенция глаголов, то в предложениях *Мальчика ранило*, *Мальчика ранили* снята левая интенция глагола *ранить* как лексемы, но реализована левая интенция предикатов: независимый (деагенсивный) динамический признак отнесен к носителю, деагенсивному и дезактивному.

конструкции не только в связи с механизмом нейтрализации или реализации левой интенции предиката. Например, при реализации схемы Сор/0 N_1 существительными с конкретно-предметным значением необходимые компоненты реализации «пробуждают» в существительном, занимающем позицию предиката, значение признака: предмет с помощью необходимых компонентов реализации оказывается представленным как явление (1) или как качественно-характеризующий признак (2).

1) «*Весь вечер* телевизор; *С утра* еще пышная снежная оторочка на ветвях... тихие сугробы под пасмурным небом; *Днем* на солнце первые лужи, *по утрам* — первые сверкающие наледи» (Николаева, Наш сад); «*Через пять минут* — колокольчик!» (Пушкин); «Замки и засовы *в начале шестого*» (Б. Пастернак) [18].

2) *У него борода*; *У нее веснушки*; «*У нее большие, тупо изумленные* глаза рахитика и чудесная коса нежно золотистого цвета» (Горький, Легкий человек); «Раз один человек, желая уязвить меня, сказал, что *у меня шулерская* физиономия» (Чехов, Пустой случай), «*У него слабое* сердце» (Эренбург, Буря).

5. Семантическую функцию «приспособления» значения предиката к грамматической семантике конструкции могут иметь и сильные присловные распространители. В данном случае в качестве средства «приспособления» выступает субъектное переосмысление распространителя: сильный присловный распространитель получает не свойственное ему в словосочетании значение деагенсивного и дезактивного носителя признака (*Е г о ранило, Е г о ранили — О н ранен*). Этот распространитель реализует левую интенцию данного предиката, а левая интенция глагола, занимающего позицию предиката, нейтрализуется.

Например: «Но в это время ветер стукнул по окну и донес тонкий, звенящий стон... Савелий побледнел...— *Почту кружит*! — прохрипел он, злобно косясь на жену» (Чехов, Ведьма); «*Дороги размыло*» (Паустовский, Прощание с летом); «За стеной гудел ветер, волна плескалась о борт.., *пароход покачивало*...» (Казаков, Адам и Ева); «*Самолет* сильно *тряхнуло*» (Михайлов, Повесть о чекисте); «„*Челюскина*“ *мотает* в дрейфе на одном месте» (Кокин, Теорема Шмидта); «Любил он тоже иногда что-нибудь рассказать; но и *над этим наблюдалось*: рассказать позволялось только что-нибудь незначительное и покороче» (Достоевский, Вечный муж); «Сидоров уныло тянет: -Ай, -яй, Ермохин...— *А мальчишку ославили, избили*, а? — *Мальчишку* за то *били*, что он ругается...» (Горький, В людях); «*Фирса отправили* в больницу» (Чехов, Вишневый сад); «Не смеете вы предлагать мне деньги! — крикнул доктор...— *За оскорбление деньгами не платят*!» (Чехов, Враги); «Вот я сейчас прочитаю вам два письма. Вы увидите, что вы не одиноки, вы увидите, что *вас любят, о вас заботятся*» (Макаренко, Педагогическая поэма); «Уж он найдет у вас болячки, будь покоен! *Ему приказывают*, он и старается...» (Чуковский, Серебряный герб); «Треск над головой, кажется *шпагу сломали*» (Тынянов, Кюхля); «*В Иване нуждались, его одолевали* различными *просьбами* и при этом *шпыняли, дразнили, давали „пенделя“*, чтобы помнил свое место» (Нагибин, Переулки моего детства).

В данном случае субъектное переосмысление сильного присловного распространителя выступает как необходимое условие реализации данных схем данными глаголами.

---

[18] Два последних примера приводятся Г. А. Золотовой, которая отмечает: «Разумеется, в таких предложениях... время относится не к конкретному предмету, а к осуществлению его функции» (Г. А. Золотова, О взаимодействии лексики и грамматики в подклассах имен существительных, сб. «Памяти Виктора Владимировича Виноградова», М., 1971, стр. 89).

6. Итак, существует две причины облигаторности распространителей: 1) информативная недостаточность слов — компонентов схемы; 2) несоответствие значения словоформы, занимающей позицию предиката, грамматической семантике данной структурной схемы.

Учитывая облигаторность сильных присловных распространителей и необходимых компонентов реализации, можно выделить четыре минимальные модели реализации структурной схемы для разных лексических групп слов-предикатов:

1) минимальная модель реализации совпадает со структурной схемой предложения. Это имеет место при соответствии значения предиката грамматической семантике конструкции, при отсутствии у слова-предиката сильных присловных связей (*Морозит*, *Мороз*);

2) минимальная модель реализации шире структурной схемы предложения за счет введения сильных присловных распространителей. Это имеет место при наличии у слов, занимающих позиции компонентов схемы, сильной подчинительной связи. Такая модель реализации может иметь место в двух случаях: а) при соответствии значения предиката грамматической семантике конструкции (*Е г о тошнит*; *Е м у нездоровится*; *Е м у следует у е х а т ь*; *Тянет х о л о д о м*); б) при несоответствии значения предиката грамматической семантике конструкции. В этом случае субъектное переосмысление присловного распространителя является необходимым условием реализации (*Е г о ранило*; *Д о р о г и размыло*; *Е г о ранили*; *Е м у отказали*; *О н е м заботятся*; *В н е м нуждаются*);

3) Минимальная модель реализации шире структурной схемы предложения за счет введения необходимых компонентов реализации. Это имеет место при несоответствии значения предиката грамматической семантике конструкции (*В с а д у зазеленело*; *В с а н я х молчало*; *В о в р а г е стреляют*; *У н е г о (не) ловится*; *О т в е т а не было*; *В о в р а г е стрельба*; *У н е г о талант*; *Е м у десять лет*; *Е м у почет*; *У н е г о д л и н н ы й нос*; *С к о р о мост*);

4) минимальная модель реализации шире структурной схемы предложения за счет одновременного введения сильных присловных распространителей и необходимых компонентов реализации. Это имеет место при наличии сильной подчинительной связи и несоответствии значения предиката грамматической семантике конструкции (*З а о к о л и ц е й ранило к о м а н д и р а*; *Е г о влекло на С е в е р*; *Е м у нравится п л а в а т ь*; *Н а т е р р а с е читали с т а р ы е ж у р н а л ы*; *В о в р а г е расстрел п р е д а т е л е й*; *У н е г о ощущение л е г к о с т и*).

Исследование тех особенностей реализации структурных схем предложения, которые связаны с необходимостью ввести в минимальное построение те или иные распространители, может быть продолжено в нескольких направлениях.

1. Может быть дано детальное описание необходимых компонентов реализации, как более, так и менее частотных.

2. С этой точки зрения могут быть описаны все структурные схемы — односоставные и двусоставные.

3. На базе определенного лексического минимума (например, «Лексического минимума для студентов-иностранцев» [19]) могут быть выявлены закрытым списком слова, которые способны занять позицию предиката в данной структурной схеме только при поддержке определенных распространителей.

---

[19] «Лексический минимум по русскому языку для студентов-иностранцев первого года обучения», М., 1960.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. И. ЛЫТКИН

ПЕРМСКО-ИРАНСКИЕ ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ

1. Индоевропейцы и уральские народы. Их прародина. Пермские языки (удмуртский, коми-зырянский и коми-пермяцкий) относятся к финно-угорской семье языков, которая вместе с самодийскими образует более обширную, уральскую семью.

Прародину уральцев большинство ученых находят «в северной части Западной Сибири в районе между нижней Обью и Уральскими горами, на территории, которая в тот период отличалась весьма благоприятными (атлантическими) климатическими условиями» [1].

Примерно в IV тыс. до н. э. уральская общность распалась на самодийскую и финно-угорскую ветви. «После распада уральской общности финно-угорская ветвь отодвинулась к западу и не позднее III тысячелетия до н. э. осела в районе Печоры, Камы и на Западе от Урала» [2]. Здесь финно-угры составляли известное единство до конца III тыс. до н. э., которое затем распалось на угорскую — на востоке, и финско-пермскую—на западе. В середине II тысячелетия до н. э. финско-пермская ветвь разделилась на пермскую и финско-волжскую. Носители языков пермской ветви (прапермского языка) занимали территорию низовья Камы с притоками, а носители финско-волжского праязыка обитали западнее их, где-то в районе Средней Волги и Оки с притоками. Финско-волжская общность в I тыс. до н. э. распалась на волжскую и прибалтийско-финскую ветви.

Прапермский язык распался примерно в VIII в. н. э. на общекоми и общеудмуртский языки [3]. Таким образом, в районе Камы прапермяне жили около двух тысяч лет: с середины II тыс. до н. э. до VIII в. н. э. Непосредственные контакты прапермян с иранскими народами следует отнести к этому периоду.

В вопросе индоевропейской прародины нет единого мнения. Ищут ее в различных местах: в среднеазиатских степях, южнорусской равнине, Прибалтике, Средней Европе и т. д. Финский ученый А. Йоки, например, в своем обстоятельном труде, посвященном обобщению проблемы урало-индоевропейских контактов, придерживается мнения о том, что прародина индоевропейцев находилась в южнорусских и среднеазиатских степях, и праиндоевропейцы были обладателями культуры курганов (Kurgan-Kultur). Позднее примерно на этой же территории (к северу от Черного моря) жили иранские племена: киммерийцы (около 1900—1500 гг.

---

[1] Я. Г у я, Прародина финно-угров и разделение финно-угорской этнической общности, в кн.: «Основы финно-угорского языкознания», I (далее — «Основы»), М., 1974, стр. 36.

[2] Там же.

[3] См.: там же, стр. 39. В последнее время некоторые ученые утверждают, что никакой волжской ветви не было, т. е. из финско-волжской общности сначала выделилась марийская, потом мордовская ветви.

до н. э.), протоскифы (около 1500—750 гг. до н. э.), скифы (750—250 гг. до н. э.), сарматы (с 250 г. до н. э.) и аланы (в I в. до н. э.) [4]. Все эти племена оказывали влияние на культуру и язык северных соседей, уральских племен.

В вопросе о прародине носителей этих двух праязыков (уральского и индоевропейского) одно является ясным: «уральцы, уже начиная с IV тысячелетия до н. э., жили к северу от индоевропейцев» [5]. Об этом говорит наличие многочисленных словарных заимствований, проникших в финно-угорские языки из разных индоевропейских языков и в различные эпохи, начиная с прафинноугорского (предполагают, что в уральскую эпоху не было индоевропейских заимствований) и кончая языками отдельных финно-угорских языковых ветвей (угорской, пермской, прибалтийско-финской и т. д.).

2. **Древние контакты языков Евразии.** Прежде чем приступить к вопросу об индоиранских заимствованиях, наличествующих в финно-угорских языках, необходимо сказать несколько слов об очень древних языковых схождениях финно-угров (уральцев) с индоевропейцами и некоторыми другими народами. Происхождению этих общих черт в разных, неродственных языках Европы и Азии можно дать следующее объяснение. На северо-востоке Европы, на Каме и Печоре, человек жил уже 70—75 тыс. лет назад в виде бродячих групп охотников и рыболовов. Язык одной из таких групп лег в основу финно-угорского (уральского) праязыка. Мы не знаем, когда и откуда прибыли сюда люди. Можно лишь предполагать, что они когда-то в глубокой древности (быть может, еще на своем длительном пути следования в северо-западную Сибирь и Восточную Европу) находились в известном контакте с теми племенами, язык которых лег в основу индоевропейских, тюркских, монгольских, юкагирского и некоторых других языков. Не исключено, что эти языковые элементы в основном субстратного происхождения, т. е. являются общим остатком какого-то исчезнувшего языка. Однако в силу ограниченного количества общих слов (их не больше двух десятков) трудно предположить прародство этих языков.

О лексических схождениях неродственных языков говорят нижеприведенные примеры [6]: праур. **ku-*, **ko-*, и.-е. **gwo-* «кто, что», праалт. **ka-*, юкаг. **ha-* (124, 146, 161); ср. коми *коді* «кто», *кор* «когда», *кыдзи* «как» и т. д.; ср. также начало вопросительных слов русского языка: *кто*, *куда*, *как* и т. д.; праур. **mi*, и.-е. **me*, юкаг. **me* «я» (127, 165), коми *ме*, ср. русск. *меня*, *мной* и т. д.; праур. **to-*, и.-е. **to*, юкаг. *to* «тот» (121, 159); коми *то*, русск. *то*; праур. **nime*, и.-е. **hom-*, юкаг. **nim* «имя» (127, 165); коми *ним*, нем. *Name*; праур. **kä·lü*, и.-е. **ǵʰlow*, тунг. **kōlí*, чуваш. *kin* (< **kälin*), юкаг. *keli-* «золовка, невестка, свояченица» (125, 147, 162); фин. *käly*, коми. *кел-*, греч. γάλοως «жена брата»; праур. **sōne*, и.-е. **snēu̯-* или **sen-*, коми *сӧн* «жила, вена» (316) [7]; праур. **vete-*, и.-е. **wed-* «вода», коми *ва*, фин. *vete-* (344); праур. **muśke*, и.-е. **mozge*, литов. *mazgóti*, коми *мыськ-* «мыть» (286); праур. **teke-*, и.е. **dhək-*, фин. *teke-* «делать» (327); праур. **töke-*, и.-е. **doγʷ*, фин. *tuo-* «приносить» (331); финно-угор. **vīke-*, и.-е. **u̯eǵh-*, фин. *vie-*, коми *вай-* «нести» (345).

[4] См.: A. J o k i, Uralier und Indogermanen (далее — Joki), Helsinki, 1973, стр. 360—361.

[5] И. Э р д е й и, Проблема связи финно-угорских (уральских) языков с другими языками, в кн.: «Основы», стр. 44.

[6] Примеры взяты из кн.: B. C o l l i n d e r, Hat das uralische Verwandte?, Uppsala, 1965 (в скобках указаны страницы).

[7] Этот пример и нижеследующие взяты из книги Йоки «Uralier und Indogermanen» (в скобках указаны страницы).

3. Исторические пласты иранских заимствований финно-угорских языков. Среди многочисленных индоевропейских заимствований, встречающихся в финно-угорских языках (Йоки, например, приводит 222 слова), можно выделить по фонетическим приметам следующие пласты: а) доиндоиранский (доарийский), б) праиндоиранский (праарийский) и в) иранский.

Первые два пласта заимствований относятся к прафинноугорской эпохе, заимствованные слова наличествуют во многих (а иногда во всех) современных финно-угорских языках. Заимствования, относящиеся к третьему пласту, встречаются обычно в отдельных финно-угорских языках или в языковых ветвях (пермской, угорской, обско-угорской, прибалтийско-финской и др.).

В первом пласте не отражаются специфические арийские фонетические черты (например, слияние и.-е. *e*, *o*, *a* в одном звуке *a*; *r* вместо и.-е. *l*), поэтому некоторые языковеды считают эти заимствования праиндоевропейскими. Во втором пласте уже наличествуют арийские фонетические черты (*a* вместо и.-е. *e*, *o*; *ś* вместо и.-е. мягкого *ḱ*; *r* вместо и.-е. *l* и т. д.). В третьем пласте отражается чисто иранская фонетика (например, *s* вместо праар. *ś* < и.-е. *ḱ*).

4. Доарийский пласт. К этому пласту относятся, например, следующие заимствования:

Финно-угор. **mekše-* «пчела» (фин. *mehi*, марийск. *mükš*, коми *moš* и т. д.) < доар. (собств. и.-е.) **mekš-* (в индоиранских соответствиях мы видим гласный *a*: др.-инд. *mákṣā*, авест. *maxšī-* «муха» и др.). Joki, 281;

финно-угор. **mete-* «мед» (фин. *mete-*, мокша-морд. *med'* и т. д.) < < доар. (или и.-е.) **médhu-* (в индоиранских соответствиях мы видим *a*: др.-инд. *madhu*, авест. maδu-) (Joki, 283). Переход доарийского гласного 2-го слога *u* > финно-угор. *e* объясняется законом вокализма финно-угорского праязыка, в котором в непервом слоге лабиализованные не встречались (Фонетика [8], 192);

финно-угор. **porśas* или **porćas* «свинья» (фин. *porsas*, мокша-морд. *puŕt'ś*, коми *porś* и т. д.) < доар. **porśos* (и.-е. **porḱos*), ср. сакск. *pā'sa* (Joki, 303); финно-угор. **jevä* «зерно, хлеб в зерне» (фин. *jyvä*, удм. *ju* и т. д.) < доар. (финно-угор.) **ieu̯o*; и.-е. *o* 2-го слога перешло в финно-угор. *ä* согласно закону финно-угорского вокализма (см. выше **mete-* «мед»). Joki, 265;

финно-угор. **vos(a)-* «купить» (фин. *osta-* «покупать», удм. *vuz* «товар», марийск. *uža* «цена» и т. д.) < и.-е. (или раннего праар..) **u̯os-*~**u̯es-* (ср. лат. *vīlis* < **u̯es-li-* в арийском огласовка *a*: др.-инд. *vasnám*, новоперс. *bahā*). Joki, 298.

---

[8] В статье приняты следующие сокращения: Абаев — В. И. Абаев, Историко-этимологический словарь, М.—Л., I — 1958, II — 1974; Коми-русский словарь — Д. А. Тимушев, Н. А. Колегова, Коми-русский словарь, М., 1961; КЭСК — В. И. Лыткин, Е. С. Гуляев, Краткий этимологический словарь коми языка, М., 1970; Преобр.— А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, М., 1910—1914; Рог.— Н. Рогов, Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь, СПб., 1869; ССКЗД — Т. И. Жилина, М. А. Сахарова, В. И. Сорвачева, Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов, Сыктывкар, 1961; Фонетика — В. И. Лыткин, Сравнительная фонетика финно-угорских языков, в кн.: «Основы финно-угорского языкознания»; FUV — B. Collinder, Fenno-ugric vocabulary, Uppsala, 1955; SKES — «Suomen kielen etymologinen sanakirja», Helsinki, I — 1955, II — 1958, III — 1962, IV — 1969; Vasmer — M. Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch, Heidelberg, 1953; Wichm.— «Syrjänisches Wortschatz nebst Hauptzügen der Formenlehre», aufgezeichnet von Y. Wichmann, bearbeitet und herausgegeben von T. E. Uotila, Helsinki, 1942.

К этому пласту заимствований относят также следующие слова: финно-угор.? **kala* «рыба», **luk* ~ **luγ* «читать, считать» (и.-е. **leǵ* ~ **loǵ*), финно-угор. **salз* «соль» (и.-е. **sal-*) и некоторые другие (этимологию этих слов см. Joki).

5. Праарийский пласт. К праарийскому пласту относятся, например, следующие слова: финно-угор. **śata* «сто» (фин. *sata*, эрзя-морд. *śado*, коми *śo* и т. д.) < праар. **sata-(m)* (др.-инд. *śatá-m*, авест. *satəm*). Joki, 311; и.-е. **ḱm̥tom* (Vasmer); финно-угор. **vaγka* «крюк, скоба» (фин. *vanka*, коми *vug* «скобка, дужка», коми *vugir* «крючок» и т. д.) < ар. (или праир.) **vaṅka*, ср. др-инд. *vaṅka* (< и.-е. **ᵘ̯e-n-k-*). Joki, 335—336;

финно-угор. **ora* (фин. *ora* «колючка, шип», венг. *ár* и т. д.) < праар. **ōrā* (<и.-е. **ēlā* ~ **ōlā*). Joki, 296;

финно-угор. **śuka* (фин. *suka* «щетина», морд. *śuka* «мякина», коми *śu* «рожь» и т. д.) < праар. **śūka* (др.-инд. *śūkaḥ*, авест. *sūkā*) < и.-е. **ḱū-*. Joki, 315—316;

финско-перм. **śorv(a)*, угор. **śarv(a)-* «рог» (фин. *sarvi*, эрзя-морд. *śuro*, коми *śur*, венг. *szarv* и т. д.) < праар. (или раннепраир.) **śraw-* (>**śårw-*), ср. др.-инд. *śr̥ṅgam*, авест. *srvā* и т. д. (Joki, 311) < и.-е. **ḱr-n-go* (SKES);

финно-угор. **aiša* «оглобля» (эрзя-морд. *ažja*, коми *vož* и др.) < праар. **aiša* (авест. *aēša-*, др.-инд. *īṣā́* и др.) < и.-е. **ois-*. Joki, 254—255;

финно-угор. **asвrв* «князь, властелин» (эрзя-морд. *azor*, коми *ozir* и т. д.) < праар. **asura* (<**n̥su-ro-*), ср. др.-инд. *ásuraḥ*, авест. *ahurō*. Joki, 253;

финно-угор. **orpa(-s)*~**orva(-s)* «сирота» (фин. *orpo*, эрзя-морд. *uros*,< венг. *árva* и др.) < праар. **orbho(-s)*. Joki, 297—298;

финно-угор. **ońća* «часть» (фин. *osa*, саам. N. *oažže*) < праар. **onśo-* < и.-е.- **onko-*. Joki, 298;

финно-угор. (пермско-обскоугор.) **śarsa*~**śasra* «тысяча» (коми *śurs*, манс. *sōtər*) < праар. **(sa-)ẑhsra-*, ср. др.-инд. *sahásram*, авест. *hazaŋrəm* < и.-е. **ǵheslo-*. Joki, 318—319;

финно-угор. **arva* (фин. *arvo*, венг. *ár* «цена», коми (?) *artal-* «вычислять») < праар., ср. др.-инд. *argháḥ*, авест. *arəjah* «цена», осет. *arǧ* «цена; выкуп»; *r* из и.-е. *l*, ср. литов. *alga* «плата», греч. ἀλφή «прибыль». Joki, 251—252; Абаев, I, 64—65;

финно-угор. **marta-s* (фин. *marras* «мертвый, умерший») < праар. **martas* < и.-е. **mór-to* «смертный». Joki, 280—281.

Заимствованиями из праарийского языка считают также следующие слова (мы приводим только коми слова в орфографическом написании, которым имеются соответствия в других финно-угорских языках): *ордлы* «ребро», *кола* «охотничья избушка-шалаш», *кундыны* «зарыть», *созор* «переслежина» (в холсте)», *сюмыс* «полоска сыромятной кожи», *веж* «зависть», *пыдӧс* «дно», *турун* «трава», *сод* «лестница» и т. д. (этимологию этих слов см. Joki и КЭСК).

В приведенных заимствованиях второго пласта наблюдается переход и.-е. **ḱ* в *ś* (**śata* «сто», **śuka* «рожь», **śorv(a)* «рог», **śarsa* «тысяча»); и.-е. **o*, **e* — в *a* (**vaγka* «скоба», **marta-s* «смертный», **aiša* «оглобля»); и.-е. **l* — в **r* (**arva* «цена», **ora* «шип», **śarsa* «тысяча»).

6. Иранские заимствования пермских языков. Переходя к рассмотрению иранских заимствований третьего, самого мощного, пласта, необходимо отметить, что если первые два пласта заимствований попали в финно-угорский праязык, то слова третьего пласта проникали в отдельные финно-угорские языки (или в отдельные ветви этих языков). При этом процесс заимствования их проходил в разные периоды жизни иран-

ских языков, начиная с праиранского и кончая отдельными языками, носители которых проживали к югу от финно-угров (киммерийцы, скифы, сарматы, аланы, осетины).

Предки носителей современных прибалтийско-финских языков, отделившись к I тыс. до н. э. от предков мордвы и марийцев, потеряли непосредственные связи с иранцами, поэтому в их языках иранские заимствования (не общие с другими финно-угорскими заимствованиями) отсутствуют. В волжских, пермских и угорских языках мы имеем большое количество заимствований, воспринятых уже в период обособленной жизни носителей их. Особенно много иранизмов в венгерском языке, носители которого во второй половине V в. н. э. перекочевали с территории бассейна Камы на юг, к Северному Кавказу и там долго жили в непосредственном соседстве с иранцами. В общем и целом в венгерском языке находят около 40 иранизмов, не считая тех иранских заимствований, которые были переняты в более раннюю эпоху (в праугорскую и прафинно-угорскую). Обские угры (ханты и манси) также немало слов переняли от своих южных соседей, иранцев [9]. Особенно много иранизмов в пермских языках, их не менее четырех десятков (имеются в виду заимствования, проникшие в прапермский язык после отделения прапермян от носителей остальных языков финско-пермской ветви). Объясняется это тем, что прапермяне продолжительное время были северными соседями иранцев, в частности сарматов, владения которых достигали пределов современной Башкирии [10]. После распада прапермской общности на удмуртов и коми непосредственная связь пермских народов с иранцами была нарушена — в основном, вследствие проникновения в южнорусские степи разных тюркских племен.

Следующие иранизмы пермских языков являются бесспорными (слова приводим из пермских литературных языков в орфографическом написании, в алфавитном порядке).

коми *амысь*, удм. *амезь* «лемех, сошник» — праперм. **amзǯ′* < иран., ср. новоперс. *āmāǰ* «плуг, соха», тадж. *амоч* «омач, деревянный плуг» (КЭСК; Joki, 248);

удм. *ана* «без-, кроме» < иран., ср. авест. *aṇa* «не, без-», осет. *ænæ* «без-» (Joki, 249);

удм. *бадзым* «большой» < иран., ср. осет. *bæzǵyn* «толстый» (Joki, 255);

коми-перм. *берись*, удм. *беризь* «липа» — праперм. **beriǯ′* (КЭСК) < < иран., ср., осет. *bærzæ* «береза» (Joki, 255);

коми *бурысь* «грива» (лошади) < иран., ср. авест. *barəša* «спина лошади» (КЭСК; Joki, 256);

коми (лузско-летский диалект) *варнӧс* «годовалая овца» (*-ӧс* — словообразовательный суффикс) < иран., ср. новоперс. *barra* (<**varnāk*) «ягненок» (Joki, 336); и.-е. **ɰel-* (Преобр.);

коми *вӧрк* «почки» (анат.) < иран., ср. авест. *verᵊδka-* «почки» (Joki, 341). Марийск. *wärγe* — самостоятельное заимствование;

коми *вурун* «шерсть» (овечья) < иран., ср. авест. *varᵊnā* «шерсть», афг. *waṛ̂inə* «шерстяной» (Joki, 348—349; КЭСК); и.-е. **ɰel-* (Преобр.);

коми *горт* «дом», удм. *гурт* «деревня; дом» — праперм. **gǫrt* (КЭСК) < доперм. **gert* < иран. (или ар.), ср. др.-инд. *gṛhấh* «дом», авест. *gərᵊδa-*, ст.-слав. *градъ*; < и.-е. **ǵherdh-* (Joki, 262—263);

коми *гӧн* «перо (птичье); шерстинка» — праперм. **gᵊn* < ? ранне-

[9] Этому вопросу посвящено исследование венгерского ученого Эвы Коренчи (É. K o r e n c h y, Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen, Budapest, 1972).

[10] Критический обзор обширной литературы, посвященной заимствованиям пермских языков, содержится в указанном труде А. Йоки.

праперм. *gu̇n (КЭСК) < иран., ср. осет. *qun*, афг. *γuna* и т. д. (Joki, 262);

коми *гу-* «украсть», *гусь* «вор» < иран., ср. авест. *gaδa-* «украсть», афг. *γal* «вор»; иран. *a* > *u* на пермской почве (Joki, 262);

коми *дар*, удм. *дуры* «разливательная чашка» — праперм. *dårв < <иран. (? ар.), ср. санскр. *dárvi-* «ложка», парачи *durī* «большая ложка» (КЭСК, там опечатка: *darв вместо *dårв);

коми, удм. *дас* «десять» < иран., ср. осет. *däs*, авест. *dasa*, др.-инд. *daśa* (КЭСК, Joki, 257); и.-е. *dḗkm-t-i-s* (Преобр.);

коми *дом* «привязь», удм. *дум-* «связать» — праперм. *dǫm- (КЭСК) < <иран. ср. новоперс. *dām* «сеть; тенета» (Joki, 257); иран. *ā* > праперм. *ǫ* в силу лабиализации гласных [11];

коми *дыр* «долго; время», удм. *дыр* «время» — праперм. *du̇r (КЭСК) < <иран., ср. новоперс. *dūr* «далекий, отдаленный», *dēr* «поздно; медленно» (Joki, 257);

коми *емдон* «сталь» <*andan (по народной этимологии: *ем-дон* «иголки накал», *ем* «иголка», *дон* «раскаленный»), удм. *андан* — праперм. *andan <иран., ср. осет. *andan* «сталь». В «Книге Марко Поло» (М., 1955) говорится, что в Иране встречается *онданик* — род индийской стали, из которой выделываются лучшие мечи (речь идет о XIII в. н. э.). Это культурное слово попало в пермские языки (по-видимому, при посредстве тюркских народов) относительно поздно — после прекращения процесса деназализации сочетания *-nd-* и лабиализации гласного *a* (КЭСК; Joki, 249—250);

коми, удм. *зарни* «золото» — праперм. *zarńi* иран., ср. авест. *zaranya-* «золото» (КЭСК; Joki, 250); и.-е. *ǵhel-*, нем. *Gold* (Преобр.);

коми *зон* (*зонм-*) «парень», коми-перм. «сын» — праперм. *zǫn или *zǫnm- < ирап., ср. осет. *zänäg* «дети», авест. *zan-*, др.-инд. *jan-* «рожать» (КЭСК); Йоки приводит также следующие иранские слова: афг. *zāman* «сыновья», кашмир. *zan-* «родиться»; коми *-nm-* замещает, вероятно, иран. *-man-* (метатеза). И.-е. *genə-* (Joki, 349—350). Из иран. *a* получилось прапермское *o* в силу лабиализации [12];

коми (др.-коми) *идӧг* «ангел» < иран., ср. осет. *idawæg* «божество» (Joki, 264) [13];

коми *кар-*, удм. *кар-* «делать» — праперм. *kar- < иран., ср. авест. *kar-* «делать» (КЭСК; Joki, 267);

коми *кӧн*: *кӧнтусь* «конопля, конопляное семя» (*тусь* «зернышко»), удм. *кенэм* «конопля» — праперм. *kɛn- (КЭСК). Слово сопоставимо с среднеиранским, сохранившимся в осет. *gænæ*, *gæn* «конопля, лен» (Joki, 270). Марийск. *kəńe*, эрзя-морд. *kańt'* «конопля», по-видимому, представляют самостоятельные заимствования из иранских языков;

коми *кӧрт*, удм. *корт* «железо» — праперм. *kȯ̀rt < иран., ср. осет. *kard* «меч, нож», авест. *karᵊti* «нож» и др. (КЭСК; Joki, 273). Название этого металла заимствовано из разных иранских языков, по-видимому, самостоятельно мордвой — *kšńi* (<*kərt-ńi) и марийцами — *kərtńi* «железо», манс. *kēr*, хант. *kordi* (Joki, 273);

коми *курӧг* «курица», удм. *куреg* — праперм. *kureg < иран., ср. курд. *kuruk*, осет. *k'ark'* (КЭСК); аланск. *karak* [14]. Видимо, эта аланская

[11] См.: В. И. Лыткин, Спорадическая лабиализация гласных 2-го слога слов пермских языков, MSFOu, 150, 1973, стр. 205.

[12] Там же.

[13] См. также: В. И. Лыткин, О некоторых иранских заимствованиях в пермских языках, ИАН ОЛЯ, 1951, 4, стр. 389.

[14] J. Németh, Eine Wörterliste der Jassen, der ungarlandischen Alanen, Berlin 1959.

форма служила оригиналом заимствования: **karak* > раннепраперм. **karɛk*; *-ɛk* — под влиянием словообразовательного суффикса *-ɛg* (коми *-ӧг*: *видлӧг* «проба», *отсӧг* «помощь») > позднеперм. **kurɛg* [15];

коми *майӧг* «кол», удм. *майык* — праперм. **majʊg* < иран., ср. осет. *mēχ* «кол, палка», др.-инд. *mayūkha* «гвоздь, кол» (КЭСК, Joki, 279);

коми *меж* «баран», марийск. *mež* «шерсть» (овцы, козы) < иран., ср. ср.-перс. *mēš*, др.-инд. *meša* «овца» (КЭСК). Йоки добавляет слова иранских языков: ягноб. *mẹž* «овца», афг. *maẓ̌* «баран» и др. (Joki, 285). Не исключено, что марийское слово является самостоятельным заимствованием;

коми *морт* «человек», удм. *мурт* — праперм. **mǫrt* < иран. **martas* «смертный», ср. новоперс. *mard* «мужчина», авест. *marəta* «человек». Иран. **marta-* > праперм. *mort* в силу лабиализации гласного (Фонетика, 168). Мокша-морд. *mirde* следует считать самостоятельным заимствованием (в КЭСК и Joki, 280—281 — иначе);

др.-коми *небӧг* «книга; лист бумаги; закон, указ» < иран., ср. пехлев. *nipek* «письмо» (КЭСК; Joki, 290);

коми *нямӧд* «портянка, онучи» < ср.-иран. (? скиф.), ср. новоперс. *namad*, *nämäd* «войлок, грубый ковер» (КЭСК; Joki, 291). Смягчение согласного *n* перед *ä* — в иранских заимствованиях явление обычное (ср. со словом *нявда*). Венг. *nemez* «войлок» — самостоятельное иранское заимствование;

коми *ӧгыр* «горячий уголь», удм. *эгыр* «уголь» — праперм. **ɛgir* (КЭСК) < иран., ср. др.-инд. *áṅgāraḥ* «уголь» = новоперс. *angišt*, литов. *anglis*, ст.-слав. *Ѫгль*; заимствовано из ср.-иран. с переднеязычным вокализмом (Joki, 258);

коми *ӧксы* (фолькл.), удм. *эксэй* «царь» — праперм. **ɛksəj* < иран. **äksäu-*, ср. осет. *äχsin* «госпожа», авест. *χšaya* (КЭСК);

коми *ӧш* (*ӧшк-*) «бык», удм. *ош* — праперм. **ȯšk-* (< раннепраперм. **u̇ška* < **u̇kša*) < иран., ср. авест. *uχšá* др.-инд. *ukšá* «бык» (КЭСК); мар. *üškə-ž*, видимо, самостоятельное иранское заимствование; возможно, оно проникло в марийский язык через прапермский;

коми *пад-*: *падвеж* «скрещение, пересечение», удм. *падвож* «перекресток (дороги)» — праперм. **pad-vẹž* «пересечение дороги»; *пад-* «дорога»; < < иран., ср. новоперс. *pand*, авест. *pantay-*, осет. *pändag* «путь, дорога» (КЭСК). О переходе *-nt-* > праперм. *-d* см. КЭСК, 14—15. И.-е. **pent(h)* (Преобр.);

коми *под* «нога, ножка (гриба); кочерыжка (капусты)», удм. *пыд* «нога», *пуд* «ботва» — праперм. **pǫd* «нога; стебель» (КЭСК). Йоки считает иранским заимствованием и приводит слова: авест. *pad-*, др.-инд. *pád-* «нога», осет. *fad*; и.-е. **pēd-*, **pōd-* (Joki, 303). Иран. *a* > праперм. *o* в силу лабиализации [16];

коми *пода* «скот», удм. *пудо* — праперм. **pǫda* < иран., ср. ягноб. *poḍá* и тадж. *пода* «стадо» (крупного рогатого скота) (КЭСК; Joki, 304);

коми, удм. *пурт* «нож» — праперм. **purt* < иран. **par(a)ta*, ср. осет. *færæt*, др.-перс. **paraδu* «нож». Этот арийский культурный термин через скифов распространился среди многих народностей (Joki, 305; КЭСК).

коми *пуж* «иней», удм. *пужмер* — праперм. **puž*. Йоки пишет, что прапермское слово очень напоминает новоперс. *puž*, *paž* «снежная крупа» (Joki, 304).

коми *рам* «смирный, кроткий» < иран., ср. пехл. *rām* «спокойствие, покой», новоперс. *rām* «смирный покорный; усмиренный» (Joki, 307).

---

[15] О переходе допермского **a* в *u* см.: В. И. Лыткин, Спорадическая лабиализация гласных..., стр. 205. У Йоки (стр. 276) несколько иначе.

[16] См.: В. И. Лыткин, Спорадическая лабиализация гласных..., стр. 105.

коми *рӧм* «цвет, окраска, оттенок», кя.[17] *ṙòma* «румяный», удм. *ӝом-ӟ-ыны* «зарумяниться» — праперм. **ṙòŋ* < ср.-иран., ср. парачи *ṙ̄ōŋg*, новоперс. *rang*, др.-инд. *raṅgaḥ* «цвет» (Joki, 309, КЭСК);

коми *рӧмидз* «жвачка», удм. *ӝоместыны* «жевать жвачку» — праперм. **ṙòmʒ-* (КЭСК, Joki, 309)? < иран., ср. белудж. *ṙōmast* «жвачка», др.-инд. *ṙōmanthaḥ* (Joki, 310). Однако прапермское слово, предполагая метатезу, возможно сопоставить с фин. *märehtiä* «жевать жвачку» (КЭСК);

коми *саридз* «море; теплые края», удм. *зарезь* «море» — праперм. **zarəʒ́′* < **ʒ́′aris* < иран., ср. авест. *zrayaḥ-*, др.-инд. *jráyas-* «море» (КЭСК; Joki, 349);

коми, удм. *сур* «пиво» — праперм. **sur* < иран., ср. др.-инд. *súrā*, авест. *hurā* «хмельной напиток» (КЭСК); в заимствовании отражается среднеиранская форма с *s* (Joki, 317);

коми *тасьтӥ* «столовая чашка, миска», удм. *тусьты* «чашка, миска» — праперм. **tåśti* < иран., ср. др.-перс. *taš′ti* «чашка» (КЭСК). Йоки (231 — 232) это слово считает иранским заимствованием под вопросом. Нам кажется, нет оснований сомневаться в иранском происхождении данного слова. В оренбургском областном краеведческом музее находится серебряное блюдо, на котором имеется надпись, вырезанная пунктиром арамейского письма и заключающая в себе чисто персидский контекст: *tašti Athromithr* «чаша Атромитра», надпись относится к III или даже ко II в. до н. э. [18]. Аналогичные блюда (правда, без надписей) в Приуралье встречаются довольно часто. Несомненно, это *tašti* с среднеперсидским мягким *š′* единого происхождения с прапермским **tåśti* (в пермских языках мягкое *ś* является шепелявым согласным, напоминающим мягкое *ш* [19]). Удм. *тусь* «корыто» и коми *часъ* «чаша» (<др.-русск. *чашА*) не имеют прямого отношения к праперм. **tåśti*;

удм. *шаер* (*šajɛr*) «местность, страна, сторона» < иран., ср. новоперс. (диал.) *šahir*, *šahar* «город» (устарелое значение «местность, страна край»), тадж. *шаҳр* «город» (Joki, 319);

коми, удм. *шуд* «счастье» — праперм. **šud* (< раннепраперм. **šad*) < иран., ср. позднеавест. *šūtay-* «радость, счастье», новоперс. *šad* «радостный» (Joki, 320—321);

удм. *ӧрӟи* «орел» < иран., ср. авест. *ərᵊzi-fya-* «орел» (Joki, 259).

Мы здесь привели 45 примеров на иранские заимствования в пермских языках, этимологии которых представлены в соответствующей литературе. Изложенный перечень заимствований мы намерены дополнить еще несколькими этимологиями, а именно:

коми *ӧч* (лузско-летский диалект) «зерно». В «Сравнительном словаре коми-зырянских диалектов» (Сыктывкар, 1961) даются следующие сведения об этом слове: «*ӧч* лузско-лет. „зерно, зернышко; крупинка, крупица; ягодка, ягода; капля“; *ид ӧч* „зерно ячменя“, *пул ӧч* „ягодка брусники“, *ӧч коластӧсь* лет. „малозернистый, неполноценный (о колосе)“, *няньыс ӧчын* лузско-лет. „хлеб в зерне“; *зӧр ӧч* лузско-лет. „бородавка“ (*зӧр* „овес“); *ӧча* лет.: „высокозернистый (о колосе); с тяжелым колосом (о хлебах)“; *ӧчасьны* лузск. „капать, крапать, накрапывать (о дожде)“; *ӧчасьны* лет. „собирать ягоды“; *ӧчӧдны* удорск. „отделить охвостье от зерна

---

[17] В статье приняты следующие сокращения названий диалектов коми языка: вв.— верхневычегодский, вс.— верхнесысольский, кя.— коми-язьвинский, л.— лузский, лет.— летский, нв.— нижневычегодский, скр.— сыктывкарский, печ.— печорский, сс.— среднесысольский, уд.— удорский.

[18] См.: М. И. Ростовцев, Курганные находки Оренбургской области эпохи раннего и позднего эллинизма, Пг., 1918, стр. 82—83.

[19] См.: «Современный коми язык», Сыктывкар, 1955, § 21.

после веянья)", *ӧчӧтчыны* удорск. „отделять, заниматься отделением охвостья от зерна (после веянья)».

Первоначальное значение слова *ӧч*, встречающегося на всей территории лузско-летских говоров, а также в удорском и сыктывкарском (село Вильгорт) диалектах, было «зерно», «зернышко» (ячменя, овса, гороха и т. д.), а значения «ягодка», «капля» (дождя) являются вторичными.

В других пермских языках (диалектах) этого слова нет, поэтому трудно установить, какой гласный был в прапермском языке. Современное коми-зырян. *ӧ* (*ę*) может восходить к трем прапермским гласным: **o̭*, **o̭*, **ɛ* [20]. Мы возводим к первой из них: рассматриваемое слово в общепермском языке звучало **o̭č′*. Это **o̭* образовалось чаще всего из допермского **ō* [21], реже — из допермского **o* [22].

Коми *ӧч* (*ęč′*) < прапермского **o̭č′* < допермского **ōč′* (или **oč′*) мы имеем возможность сопоставить с прибалтийско-финскими словами, приведенными в «Этимологическом словаре финского языка» (SKES, II, 420), возводя гласный звук первого слова к прибалтийско-финскому **ō* или **o*: фин. *ohra*, вост. диал. *otra* «ячмень», карел. *odra*, *ozra*, *ošra*, вепс. *ozr*, водск. *ęzra*, эст. *oder*, эст. диал. *odr*, *õdr*, *oher*, лив. *vo'dderz*, *vᵘo'drez* «ячмень» (SKES). Согласный звук этих слов (*h*, *ź*, *ś*, *d*) восходит к аффрикате **č′* [23]. В раннеприбалтийско-финском языке-основе данное слово, по-видимому, звучало **ōč′-rз* (или **oč′-rз*), где *rз* является словообразовательным суффиксом, отсутствующим в сопоставляемом коми слове. Финско-пермское **ōč′-* (**oč′-* означало «какой-то вид злака, хлеба в зерне»).

Происхождение этого термина до сих пор было неясно. Авторы финского этимологического словаря пишут, что это прибалтийско-финское слово (там нет сопоставления с коми *ęč′*) представляет собой заимствование из какого-то протоарийского или древнеарийского языка (санскр. *aṣṭrā* «стрекало, чем гонят скот», авест. *aštrā* «плеть») или из балтийских языков (ср. литов. *aštras* «острый, колючий»), но оба объяснения являются невероятными (SKES).

Б. Коллиндер (FUV, 133), кроме вышеприведенных, дает ряд параллелей из других индоевропейских языков, например: греч. *ἀκοστή* (*akoste*) «ячмень», гот. *ahs* «колос», лат. *acus* «ость колоса, высевки» и т. д. Однако авторы указанных словарей не делают анализа сопоставляемых слов и не дают фонетического обоснования приводимому лексическому материалу.

Нам кажется, что финско-пермское **o̭č′* является древним иранским заимствованием, и оригиналом его следует считать предполагаемое праиранское **ač′*, являющееся названием какого-то злака. Это праиранское слово [равно как и греч. *ἀκ* (*ak-*), гот. *ah-*, лат. *ac-*(*ak-*), санскр. *aš-*, литов. *aš-*] восходит к и.-е. **aḱ* со значением «вид какого-то злака»; и.-е. **aḱ-* закономерно давало праиранскую форму **ač′* > финско-перм. **ōč′-*(**oč′-*) (см., например, таблицу развития и.-е. **ḱ* в индоиранских языках, в которой, в частности, даны сведения о переходе этого индоевропейского согласного в праиран. **t′ś* [24]). Передача праиран. **a* прафинско-пермским

[20] См.: В. И. Лыткин, Исторический вокализм пермских языков, М., 1964, стр. 117, 140 и 153.

[21] E. Itkonen, Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen, «Finnisch-ugrische Forschungen», XXXI, 1954, стр. 296.

[22] Там же, стр. 297.

[23] См.: Y. H. Toivonen, Zur Geschichte der finnisch-ugrischen inlautenden Affrikaten, «Finnisch-ugrische Forschungen», XIX, 1928, стр. 19, 36, 37. О замещении финно-угорского **č′* в прибалтийско-финских языках см. там же, стр. 226—227.

[24] Таблица дана в кн.: H. Jakobsohn, Arier und Ugrofinnen, Göttingen, 1922, стр. 160.

**o* встречается и в некоторых других заимствованиях, например: праиран. **śarw-* «рог» > прафинско-перм. **śorv(a)* (Joki, 311).

Коми-перм. *ӧтӧр* «пространство вне дома; двор; улица» (Рог.), кя. *ȯtər* «двор, улица; то, что вне дома» по своему значению близко к комизырян. *ывла* «двор, улица» (в противоположность дому, жилому помещению); *ывла выв* «то же, что двор»; *ывлаын жар* «на дворе жарко»; *ывла* «природа», *мича ывлавыв* «красивая природа», *ывла югыдсӧ оз аддзы* «он света божьего не видит» («Коми-русский словарь»). КЭСК (328) для слова *ывла* дает также значения «природа, погода» и производит его от слова *ыл-*, сопоставляя с фин. *ulko* «внешний, наружный».

В словаре Вихмана [25] коми-перм. *ӧтӧр* рассматривается в одном гнезде с *ӧт-* «один», коми-перм. *ӧтӧрӧ-мӧдӧрӧ*, коми-зырян. *ӧтарӧ-мӧдарӧ* «то в одну, то в другую сторону»; там же приведена коми-перм. *загадка*, где *ӧтӧр* употреблен в другом значении: *ӧтӧрас сюра, керкуас сюртӧм* «на улице, вне дома (draussen) рогатая, а в доме безрогая». Коми-перм. *ӧтӧр* «улица; вне дома» следует отделить от слов *omik*, *ӧтӧр* со значением «один; одна и другая сторона». Оно имеет оттенки значения «природа; погода» и сопоставило с обско-угорскими словами, которые Йоки относит к иранским заимствованиям (Joki, 260): хант. *etər* [26], *ētər* [27] «ясный (о погоде, небе и т. п.); ясная погода; чистое небо; сухая погода»; манс. *tər*, *ātər*, *atər* «ясная погода» < праобско-угор. **ĕ̆tər*.

Источником заимствования как коми-пермяцкого, так и обско-угорских слов нужно считать следующие слова, приведенные В. И. Абаевым из индоиранских языков: осет. *ird* «чистый, ясный» (особенно о погоде)< иран. <**idra* или **vidra*; др.-инд. **idhra-* «светлый, ясный (особенно о небе); ясное небо»; сюда же относится греч. αἰθήρ «светлое небесное пространство, эфир», αἰθρία «ясная погода» (Абаев, I, 547—548). К этому же корню относятся герм. **wedra-* «погода», ст.-слав. *ведро* «ясная погода» (Joki, 260) и русск. *вёдро*.

Не исключено, что коми-перм. *ӧтӧр* (<**ȯtər*), заимствованное из иранских языков в значении «ясная погода; погода; природа; то, что вне жилого помещения» передалось в обско-угорские языки (**ȯtər* > хант. *etər*, манс. *ɐtər*). О близости значений «природа» и «погода» свидетельствуют также следующие удмуртские слова: *куазь* «погода» и *ин-куазь* «природа» (букв. «небо-погода»). До заимствования русск. *поводдя* «погода» в этом значении коми употребляли *ывла*, а коми-пермяки *ӧтӧр*.

Коми *зӧр* «овес», кя. *zuĭ'ir*, удм. *зӧр* «костер» (трава) — праперм. **zȯ̆r*. Происхождение слова до сих пор являлось неясным. Не заимствовано ли оно из иранских языков? Ср. аланск. *zabar*, *sabar* «овес», приводимое Ю. Неметом [28]. Фонетика заимствования (аланск. *zabar* > праперм. **zȯ̆r*) вполне объяснима. Интервокальный взрывной согласный *-p(b)-* в пермских языках выпадал (КЭСК, 14), после чего происходило стяжение гласных и в результате появлялся совершенно новый гласный, отличающийся от тех, которые приняли участие в стяжении, ср. судьбу следующих слов: доперм. **śerä* «шея» > праперм. **śi̯-(śi̯-li)* (КЭСК); доперм. **rerä-š* «лиса» > > праперм. **ru-č'* (КЭСК) и т. д.

Коми *нявда* 1) вв. скр., *нявга* нв., *нялда* вс. л. печ. сс., *нявалда* л., *невалда* лет. «сорная трава» (всякая); 2) уд. «ряска, водяное растение»; 3) *ва нявда* вв. скр., *ва нялда* вс. сс. «мокрица» (вид сорной травы); *сир нявда* «подмаренник» (ССКЗД). Исходная форма слова **ńawalda* или

[25] Y. Wichmann, Syrjänischer Wortschatz, Helsinki, 1942, стр. 47.

[26] W. Steinitz, Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache, Berlin, 1967, стр. 218.

[27] H. Paasonen, Ostjakisches Wörterbuch, Helsingfors, 1926, стр. 20.

[28] См.: J. Nemeth, указ. соч.

**ńawalga*, где *-d-* и *-g* — словообразовательные суффиксы; остальные разновидности слов образованы после выпадения интервокального *-w-*. Первоначальное значение слова: «трава; мелкое травянистое растение». В современном языке это слово имеет значение «сорная трава» (когда речь идет о сорняках на посевах и в огороде), ср. осет. *næw/næwæ* «молодая трава; мурава; дерн; целина». ~ Восходит к иран. *nava-* «новый; молодой», русск. *новь*, *новина́* (Абаев, II, 173 175). Коми **ńawal-* > хант. *навəл* «разновидность водоросли» (КЭСК). В этом слове, как и коми *нямöд* (см. выше), осет. *næ* передалось перм. *ńa*.

7. Пермские слова в иранских языках. Прапермский народ, находясь в соседстве с иранскими народами (в частности, со скифо-сарматами) в течение целого ряда столетий, несомненно, со своей стороны оказал влияние на южных соседей. Но трудно судить о степени такого влияния, поскольку язык скифо-сармат не сохранился. Тот факт, что в языке потомков этих иранских народов, в осетинском языке, имеется несколько пермских слов, свидетельствует об известном воздействии прапермян на своих южных соседей. Эти пермские слова следующие:

осет. диг. *k'ozæ* «побег хвойного дерева; молодой сосняк, ельник; опушка соснового леса» < праперм. **kǫ̊z* «ель»; слово заимствовано не ранее общепермского, так как согласный *-z-* из финно-угор. *-s-* (финно-угор. **kōse*) появился только в прапермском языке (Абаев, I, 638; КЭСК) [29]. Нужно полагать, надгортанную экспирацию осетинский согласный *к'* получил позже, на Кавказе. Возможно, при заимствовании в конце пермского слова стоял еще гласный.

Осет. *gærtam/gærtan* «взятка, подкуп» < праперм. **kɛrtim* «аренда, оброк, выкуп»; по-видимому, слово проникло в осетинский при посредстве грузинского языка. Озвончение начального согласного произошло на осетинской почве (Абаев, I, 516; КЭСК) [30];

осет. *k'ₒym/k'um* «угол» (внутренний) < праперм. **kům* или **kůnm-* «угол; край; сторона». Нельзя считать данное слово прибалтийско-финским заимствованием, как это делает В. И. Абаев (КЭСК; Абаев, I, 649) [31];

осет. *æzist/æzest* «серебро» < праперм. **ɛzvɛśkɜ*, это деэтимологизированное сложное слово: *ɛz-vɛśkɜ*; вторая часть этого слова в пермских языках употребляется отдельно (удм. *veś* «бусы, жемчуг», коми уд. *vęśę* (ласкат.) «голубчик; драгоценный») и имеет соответствие в других финно-угорских языках: фин. *vaski* «медь», венг. *vas* «железо» и т. д. из финно-угор. **vaśkɜ-* «какой-то металл» (может быть, бронза). Праперм. **vɛśkɜ* встречается также в пермском названии другого металла: **ǫ̊z-vɛś* «олово». Первая часть этих названий металлов обозначает какое-то качество металла (КЭСК) [32];

осет. *pysyra/pursa* «крапива» < праперм. **pę̆č-* или **pę̆čɛr*. В диалектах пермских языков это слово имеет широкое распространение; вероятно, раньше это растение имело хозяйственное значение — шло на изготовление грубой ткани и веревок. Для объяснения заимствования трудностей фонетического характера не встречается [33];

осет. *колæ* «озеро» встречается в топонимах, например: *чи-кола* «три озера» [34] < праперм. **kǫ̊l-* или **kǫ̊lɜ-* «маленький залив; маленькое озеро». Слово широко распространено в пермских, обско-угорских и самодий-

---

[29] См. также: A. J o k i, Finnisch-ugrisches im Ossetischen, MSFOu, 125, 1962.
[30] Там же, стр. 168—170.
[31] Там же, стр. 165.
[32] См. подробнее: В. И. Л ы т к и н, Этимологии из пермских языков, «Советское финно-угроведение», 1974, 4.
[33] Там же.
[34] А. Д з. Ц а г а е в а, Топонимия Северной Осетии. АДД, М., 1971, стр. 29.

ских языках, например: коми *ты-кӧла* «небольшое озеро» (*ты* «большое озеро»), удм. *калым* (<**колым*) «залив в реке», селькуп. *keel'*, *kuel'* «залив озера или реки» и т. д. (КЭСК, 140; FUV, 21).

Предки осетин, аланы и сарматы, занимали южную часть Сарматии, а прапермяне были связаны с северными сарматами. Поэтому пермские заимствования могли не доходить до юга Сарматии.

Финно-угорские народы оказывали известное влияние на индоиранцев и в более раннюю эпоху — в период финно-угорской общности. Так, например, до сих пор не установлено направление заимствования слов, обозначающих «пчелу» и «металл» (какой-то): финно-угор. **mekš* «пчела» > <праар. **mekš* (Joki, 281); финно-угор. (праур.) **vaśke* или *vaske* «металл» (какой-то) > < и.-е. **ɣes* (Joki, 339) [35].

8. Отражение индо-иранской фонетики в заимствованиях пермских языков. 1) Отражение праарийских особенностей мы видим в следующих словах: а) праар. **a* вместо и.-е. **e*, *o*: коми *варнӧс* «ягненок» — и.-е. **ɣel-*; коми *вурун* «шерсть» (<доперм. **var-*) — и.-е. **ɣel*; коми *дар* «разливательная чашка» — и.-е. **do-*; коми *дас* «десять» — и.-е. **dekm̀-*; коми *зарни* «золото» — и.-е. **ǵhel-*; коми *пад-* (*падвеж*) «дорога» — и.-е. **pent(h)-*; коми *под* «нога» (<доперм. **pad-*) — и.-е. **pēd-*, **pōd-*; б) праар. *r* вместо и.-е. *l*; коми *варнӧс* «ягненок» — и.-е. **ɣel-*; коми *вурун* «шерсть» — и.-е. **ɣel-*; коми *зарни* «золото» — и.-е. **ǵhel-*; коми *ӧгыр* «уголь» — и.-е. *l* (ср. литов. *anglis*).

2) Отражение иранских особенностей наблюдается в следующих примерах: а) иран. *s* (праиран. *č'*) вместо и.-е. *k̑*: коми *дас* «десять» — и.-е. **dek̑m-*; коми *ӧч* «зерно» — и.-е. **ak̑-* б) иран. *z* вместо и.-е. *ǵh*, *ǵ*: коми *зарни* «золото» — и.-е. **ǵhel-*; коми *зон* «сын, парень» — и.-е. **ǵenz-*.

9. Фонетические процессы пермских языков, отражающиеся в иранских заимствованиях. а) Лабиализация гласных первого слога перед твердыми согласными. В тех северо-восточных диалектах финско-пермского праязыка, на базе которых сложились прапермский и прамарийский языки, произошла лабиализация иллабиальных гласных [36]. Процесс лабиализации начался еще в допермское время как диалектное явление и закончился примерно в конце прапермского периода. Под действие этого процесса попало большое количество иранских слов, заимствованных прапермянами. Приведем примеры: иран. *a* > перм. *u* в следующих словах: коми *бурысь* «грива», *вурун* «шерсть», *гуны* «украсть», *курӧг* «курица», *пурт* «нож», *шуд* «счастье»; иран. *a* > перм. *o*: *дом* «привязь», *зон* «парень; сын», *морт* «человек», *под* «нога»; иран. *a* > перм. *ӧ* (праперм. **ȯ*): *кӧрт* (праперм. **kȯrt*) «железо», *зӧр* (праперм. **zȯr*) «овес»; иран. *a* > праперм. **å*: *дар* (праперм. **dår*) «разливательная чашка», *тасьмi* (праперм. **tåśti*) «миска». Всего 14 примеров, из них десять восходят к прапермскому периоду и четыре встречаются только в коми языке (*гуны*, *вурун*, *бурысь* и *зон*).

Процесс лабиализации наблюдается также в более ранних пластах заимствований. Доарийский пласт: доар. **mekš-* «пчела» > > финно-угор. **mekše* > праперм. **mȯš*; доар. (и.-е.) **médhu-* «мед» > финно-угор. * *mete-* > праперм. **må*; доар. **salz* > финно-угор. **salz* «соль» > праперм. **sǫl*. Праарийский пласт: ар. (парачи) *tarâni* > финно-угор. **tarna* > праперм. *turun* «трава»; праар. **śata-(m)* > финно-

[35] См. также: J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch, Bern, 1949—1959.

[36] См.: В. И. Лыткин, Спорадическая лабиализация гласных, стр. 205; его же, Лабиализация гласных в пермских и марийских языках, стр. 101; его же, Фонетика, стр. 168—174.

угор. *śata «сто» > праперм. *śǫ; праар. *vanka > финно-угор. *vaŋka «крюк» > праперм. *vug; праар. *asura > финно-угор. *asъra «князь» > праперм. *ǫzir; праар. *(sa)žhsra- > пермско-обскоуг. *śarsa > перм. śurs «тысяча»; праар. *kan > праперм. *kund- «зарыть».

Не подверглись лабиализации следующие иранские заимствования пермских языков: *амысь* «лемех», удм. *ана* «без-», удм. *бадзым* «большой», коми *варнӧс* «ягненок», *дас* «десять», удм. *андан* «сталь», *зарни* «золото», *кар-* «делать», коми *рам* «смирный», *пода* «скот», *пад-(падвеж)* «дорога», коми *нямӧд* «портянка», коми *небӧг* «книга», коми *меж* «баран», *саридз* «море», коми *нявда* «сорная трава». Всего 16 примеров, из них девять слов встречаются только в одном языке (коми или удмуртском), а остальные восходят к прапермской эпохе. Нужно полагать, что заимствования, в которых гласный звук не подвергся лабиализации, являются более поздними, проникшими в конце общепермской эпохи или после распадения прапермской общности.

б) Деназализация сочетаний согласных *-nt-*, *-ŋk-* и т. д. В финно-угорском праязыке имелись сочетания *-nt-*, *-ŋk-*, *-mp-*, *-mt-*, которые в пермских языках еще в прапермский период деназализовались (Фонетика, 137—139). Этот процесс отражается в следующих иранских заимствованиях: коми *ӧгыр* «горячий уголь» < иран. *aŋār-*, коми *пад-* (*падвеж*) «дорога» < иран. *pand*. Имеется одно заимствование, в котором носовой гласный сохранился: это удм. *андан* «сталь»< <иран. *andan*, проникшее в прапермский язык, видимо, в конце общепермской эпохи. Деназализацию сочетания *-nt-* мы видим также в заимствованиях более ранних пластов, например: ар. *vanka > финно-угор. *vaŋka «крюк, скоба» > коми *вуг*.

в) Озвончение глухих согласных. В финно-угорском праязыке не было звонких шумных согласных (Фонетика, 125—128). Они появились — вследствие озвончения глухих — в отдельной жизни пермских языков — по-видимому, в самом начале прапермского периода.

Знаменательно, что в иранских заимствованиях прапермского периода глухие и звонкие согласные сохранились без изменения. В начале слов: а) звонкие: *беризь* «липа», *горт* «дом», *гӧн* «шерсть», *дар* «разливательная чашка», *дас* «десять», *дом* «привязь», *дыр* «время», *зарни* «золото», *зӧр* «овес», удм. *бадзым* «большой», коми *бурысь* «грива», коми *гуны* «украсть», коми *зон* «сын»; б) глухие: *кар-* «делать», *кӧнтусь* «конопля», *кӧрт* «железо», *курӧг* «курица»; *пуж* «иней», *пурт* «нож», *пода* «скот», *пад-* «дорога», *под* «нога», *сур* «пиво», *тасьті* «миска», *шуд* «счастье», удм. *шаер* «местность» — в иранском оригинале был тоже глухой согласный.

В середине (и конце) слов: а) звонкие: *идӧг* «ангел», *под-* «нога», *пода* «скот», *пуж* «иней», *шуд* «счастье»; б) глухие: *дас* «десять», *пут* «нож», *ӧтӧр* «природа». В отдельных случаях наблюдается озвончение иранских глухих согласных, например: *курӧг* «курица», *майӧг* «кол», *меж* «баран», *небӧг* «книга» — в конце и середине этих слов в иранском оригинале стоит глухой согласный. Такое озвончение наблюдается также в более ранних пластах заимствований, например: праар. *aiša > финно-угор. *aiša > коми *вож* «оглобля», праар. *asura > финно-угор. *asъrə̄ > коми *озыр* «богатый».

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что в прапермском языке уже прочно обосновались звонкие согласные и, видимо, известное влияние в этом отношении оказали иранские заимствования.

г) Выпадение интервокальных взрывных согласных δ и *w-*; явление, широко распространенное в пермских языках (Фонетика, 135—138, 141—142) наблюдается и в ряде иранских заимствований: *гу-* «украсть» < иран. *gaδa-*, *зӧр* «овес» < алан. *zabar*, *идӧг* «ангел»

< осет. *idawæg*. Однако эти интервокальные согласные сохранились в следующих словах: *идӧг* (*-д-*) «ангел», *пода* «скот», *небӧг* «книга» (иранский согласный *-р-* озвончился, перешел в *-б-*, но не исчез), *ӧтӧр* «природа». Выпадение интервокальных согласных наблюдается также в более ранних заимствованиях, например: доар. **médhu-* «мед» > финно-угорск. **mete-* >праперм. **mə̑*, праар. **śūka* «рожь» > финно-угор. **śuka* > коми *ӧu*.

10. Какие реалии обозначали иранские заимствования пермских языков. Самое видное место среди заимствований занимают термины животноводства и сельского хозяйства: *бурысь* «грива» (лошади), *варнӧс* «ягненок», *вурун* «шерсть», *гӧн* «пух», *курӧг* «курица», *пода* «скот», *ӧш* «бык», *меж* «баран», удм. *ӧрӟи* «орел», *амысь* «лемех», *кӧнтусь* «конопля», *майӧг* «кол», *ӧч* «зерно», *зӧр* «овес». Следующие слова животноводства и сельского хозяйства заимствованы в предыдущие эпохи (доарийскую и арийскую) [37]; *порсь* «свинья», *сюр* «рог», *турун* «трава», *сюмыс* «сыромятная кожа», *мош* «пчела», *ма* «мед», *йи-*(йи-ки) «зерно», *сю* «рожь», *вож* «оглобля».

Пища, одежда, жилище, посуда, утварь: *сур* «пиво», *дар* «разливательная чашка», *тасьтi* «миска», *пурт* «нож», *горт* «дом». В предыдущие эпохи заимствованы: *кола* «шалаш», *пыдӧс* «дно» (посуды и т. п.), *сод* «лестница», *вуг* «скоба, дужка», *сов* «соль». Счет: *дас* «десять». В предыдущие эпохи заимствованы: *сюрс* «тысяча», *сӧ* «сто», *лыд* «счет». Металлы: *зарни* «золото», *кӧрт* «железо», *емдон* «сталь». Заимствовано (?) в предыдущие эпохи название какого-то металла, которому соответствует праперм. **vɛśk*. Семья и общественная жизнь: *зон* «сын», *ӧксы* «князь». Заимствованы в предыдущие эпохи: *созор* «переслежина» (> «младшая сестра»), *озыр* «богатый (< «князь»). Человек и части тела: *морт* «человек», *вӧрк* «почки», *под* «нога». Природа: *пуж* «иней», коми-перм. *ӧтӧр* «улица, вне дома» (< «природа»), *саридз* «море», удм. *шаер* «страна, местность». Другие понятия: *небӧг* «книга», *дыр* «время», *идӧг* «ангел», *рӧм* «цвет», *рам* «смирный», *пад-*(*падвеж*) «дорога», *берись* «липа», *кар-* «делать», *гу-* «воровать».

---

[37] Говоря о заимствованиях в предыдущие эпохи, мы имеем в виду только те слова, которым имеются соответствия в пермских языках. Как свидетельствуют другие финно-угорские языки, из праарийского и доарийского языков заимствован ряд таких слов, соответствия которым в пермских языках не сохранились.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

В. Г. ГУЗЕВ, Д. М. НАСИЛОВ

К ИНТЕРПРЕТАЦИИ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА ИМЕН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ТЮРКСКИХ ЯЗЫКАХ

Вопрос о категории числа продолжает оставаться одним из актуальнейших вопросов теоретической грамматики тюркских языков, о чем свидетельствует обилие работ по этой проблеме, появившихся за последние годы. Анализ существующих разработок этой категории показывает, что общим для них является положение, согласно которому эта категория представлена двумя формами: формой мн. числа, образуемой с помощью показателя *-lar*, и противопоставляемой ей формой без этого показателя, которая рассматривается как форма ед. (или неопределенного) числа и часто как форма с нулевым показателем. Далее детально описываются значения каждой из этих форм и делаются попытки обнаружить взаимную противопоставленность их семантики.

Признание формы без показателя формой ед. (неопределенного, общего) числа и наличия взаимной противопоставленности форм, а также утверждение, что слово без *-lar* имеет нулевой показатель (т. е. показатель ед. или неопределенного, общего числа), принимаются в исследованиях обычно без аргументации и предстают как некие аксиомы, имеющие силу применительно к тюркским языкам и лежащие в основе существующих концепций.

Признание формы без *-lar* ед. числом уживается с констатацией факта, что она может обозначать как единичный предмет, так и множество предметов [1]. Противоречие, которое очевидно в такой трактовке, оправдывается обычно своеобразием семантики этой формы существительного. Представляется, что такое объяснение недостаточно для снятия указанного противоречия. Интересна попытка К. М. Любимова разрешить его путем квалификации рассматриваемой формы как формы неопределенного числа [2]. Из способности формы без *-lar* соотноситься как с одним, так и с множеством предметов автор делает справедливый вывод, что ее никак нельзя считать формой ед. числа. Но эта ее способность в то же время, по нашему мнению, не дает оснований приписывать ей значение особого, неопределенного числа. Наиболее корректным выводом был бы, по-видимому, следующий: форма без *-lar* вообще индифферентна к количеству передаваемых существительным предметов и едва ли является одной из форм категории числа.

---

[1] См., например: Н. К. Дмитриев, Категория числа, «Исследования по сравнительной грамматике тюркских языков», ч. II. Морфология, М., 1956, стр. 68—71; С. Н. Иванов, Родословное древо тюрок Абу-л-Гази-хана. Грамматический очерк, Ташкент, 1969, стр. 31—48; T. Kowalski, Zur semantischen Funktion des Pluralsuffixes *-lar, -lär* in den Türksprachen, Kraków, 1936, стр. 1—2; H.-P. Vietze, Plural, Dual und Nominalklassen in altaischen Sprachen, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin». Ges.-Sprachwiss. Reihe, XVIII, 3, 1969.

[2] К. М. Любимов, О числовом значении нулевой формы тюркских существительных, «Советская тюркология» (далее — СТ), 1972, 5, стр. 80—81.

Этот вывод, если он верен, поставил бы под сомнение справедливость самого противопоставления имени с *-lar* и имени без *-lar* как двух соотносительных форм категории числа; и в этой связи сомнительным оказалось бы и мнение о наличии у формы без *-lar* нулевого показателя числа.

Такие выводы могут показаться, на первый взгляд, парадоксальными, противоречащими установившимся в тюркологии представлениям. Но обнаружение противоречия между сложившимися концепциями и исследуемым материалом является необходимой предпосылкой для дальнейшего более адекватного познания предмета. Из имеющихся исследований видно, что названные аксиомы уже исчерпали свои возможности. Содержащиеся в тюркологической литературе многочисленные наблюдения, гипотезы, догадки, а также интенсивные типологические исследования последних лет и работы о числе в других языках [3], как нам кажется, являются реальным основанием для новых попыток осмысления категории числа.

Каковы же источники происхождения отмеченных выше аксиом? Признание формы без показателя *-lar* формой ед. числа, т. е. членом парадигмы категории числа, предполагает, что каждое имя всегда выступает в одной из форм этой категории. Но такое утверждение справедливо лишь для языков, где категория числа выполняет не только содержательные функции, связанные с количественным различением предметов, но также и формальную синтаксическую функцию согласования в числе существительных и согласуемых с ними слов (атрибутов и предикатов), которая делает категорию числа одним из средств образования синтаксических структур. Наличие обеих функций у категории числа особенно очевидно во флективных языках, представителем которых является, в частности, русский. Категория числа в этом языке в своей согласовательной функции является всеобъемлющей и охватывает не только все существительные, но и согласуемые с ними слова [4]. Именно эта функция обусловливает то, что каждое существительное без исключения формально стоит в одной из грамматических форм числа и, следовательно, существительное не в форме мн. числа выступает как форма ед. числа или с особым формантом, или с нулевым показателем, т. е. со значимым отсутствием форманта. На этой основе, создаваемой согласовательной функцией, зиждется формальная оппозиция «ед. число — мн. число».

Содержательная функция, основанная на количественном различении предметов и сводимая к квантитативной актуализации имени, имеет сравнительно узкую сферу применения, охватывающую лишь имена нарицательные и из них только такие, которые обозначают поддающиеся счету предметы [5]. Следовательно, эта функция реализуется далеко не во всех случаях употребления существительных в отличие от формальной функции, благодаря которой имя существительное во флективных языках не мыслится вне категории числа. Таким образом, числовая фор-

---

[3] Настоящая работа в значительной мере базируется на концепции С. Д. Кацнельсона; см.: С. Д. Кацнельсон, Типология языка и речевое мышление, Л., 1972, стр. 27—35, 73—77. См. также: В. З. Панфилов, Взаимоотношение языка и мышления, М., 1971; Г. П. Мельников, Языковая стратификация и классификация языков, в кн.: «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие», М., 1969; его же, Принципы системной лингвистики в применении к проблемам тюркологии, в кн.: «Структура и история тюркских языков», М., 1971.

[4] С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 27—28; А. А. Реформатский, Число и грамматика, в кн.: «Вопросы грамматики. Сб. статей к 75-летию акад. И. И. Мещанинова», М.—Л., 1960, стр. 392—393.

[5] С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 28.

ма имени существительного в таких языках совсем не обязательно сигнализирует о его квантитативной актуализированности.

Изложенные особенности категории числа во флективных языках полностью оправдывают те положения, которые выше были определены нами как аксиоматичные, и согласуются с материалом, в частности, русского языка.

К тюркским языкам эти положения были бы применимы, если бы было показано, что в них категория числа имеет те же функции, что и во флективных языках. Однако в тюркском языкознании, наоборот, подчеркивается: «Синтаксическое же употребление множественного числа и его семантика подчиняются особым нормам, которые отличаются от норм русского и других индоевропейских языков» [6].

Как известно, в тюркских языках категория числа не используется для организации или оформления связи слов, для соединения их в бо́льшие, чем слово, единства. Показатели этой категории нет оснований включать в число аффиксов с реляционными функциями. Именно поэтому в тюркологической литературе, насколько нам известно, никем не доказан согласовательный характер категории числа у имен, по крайней мере в сфере атрибутивных словосочетаний [7].

В то же время тюркские языки имеют в сфере имен грамматические средства, отражающие количественные характеристики предметов, и, по-видимому, все исследователи едины в том, что с помощью аффикса *-lar* обозначается множество предметов.

Таким образом, тюркские грамматические средства выражения количества предметов отличаются от соответствующих средств флективных языков отсутствием у них формальной согласовательной функции, которая могла бы оправдать применимость к тюркским языкам вышеперечисленных аксиом. По-видимому, механизм функционирования этих средств должен быть иным по сравнению с флективными языками. Принятие этих аксиом в тюркском языкознании представляется переносом особенностей числа флективных языков на тюркскую языковую почву. Факты подобных переносов неоднократно отмечались в тюркологической литературе [8]. Таким образом, в тюркском языкознании, по-видимому, назрела необходимость при изучении категории числа отказаться от устоявшихся аксиом, навеянных грамматикой флективных языков, и продолжать разработку учения об этой категории как исключительно содержательной по своим функциям.

В настоящее время в литературе накоплен достаточный фактический материал, который отражает функционирование имен существительных в формах, имеющих отношение к категории числа. Главной задачей сейчас представляется более последовательное и адекватное осмысление уже известных фактов.

В предлагаемой работе предпринимается попытка объяснить тюркский механизм функционирования грамматических средств выражения количества, опираясь на изложенное выше понимание их функций.

Итак, из способности существительного без показателя *-lar* обозначать как единичный предмет, так и множество предметов, следует сделать

---

[6] Н. К. Дмитриев, указ. соч., стр. 65.

[7] В настоящей работе не затрагивается вопрос об отношениях между подлежащим и сказуемым предложения с точки зрения категории числа.

[8] См.: С. Н. Иванов, указ. соч., стр. 16—18; Э. В. Севортян, Несколько замечаний к тюркологическим исследованиям по грамматике, СТ, 1970, 3, стр. 7—9; Н. А. Баскаков, Основные задачи историко-типологического изучения грамматики тюркских языков, «Тюркологический сборник. 1970», М., 1970, стр. 81. Ср. также: Н. Н. Коротков, В. З. Панфилов, О типологии грамматических категорий, ВЯ, 1965, 1, стр. 46.

вывод, что оно само по себе «не выражает ни единичности, ни множественности» [9], т. е. не несет никакой информации о количестве обозначаемых предметов. Так, из турецкого предложения, взятого вне контекста,— *Dün bizde misafir vardı* «У нас вчера был гость (или: были гости)» — слушающий не может заключить, идет ли речь об одном госте или о некоем множестве гостей [10].

Если из контекста или из ситуации известно, что речь идет о некоем множестве обозначаемых предметов, оно может не получать никакого формального выражения у существительного. Обратимся к примеру: *Päs b i r javuz išlü ʿa v r a t ävinä konuk oldy, vä o l ʿa v r a t u ŋ fāḥišä karavašlary varydy, o l k a r a v a š u ŋ birisi javlak xūbidi* [11] «Затем отшельник стал гостем в доме женщины, занимавшейся дурными делами. А у той женщины были рабыни легкого поведения; одна из тех рабынь была очень красивой». В этом отрывке количественная характеристика предметов, обозначаемых именами, выделенными разрядкой, совершенно очевидна, однако сочетания *ol ʿavratuŋ* и *ol karavašuŋ* соотносятся первое с единичным предметом, второе — со множеством предметов. Следует подчеркнуть, что существительные в этих сочетаниях актуализованы в плане соотнесенности с конкретными предметами с помощью указательного местоимения *ol*, и тем не менее без показателей числа они индифферентны к количеству обозначаемых предметов.

Таким образом, в примерах подобного типа количественная характеристика никак не выводится из формы имени, а следует из контекста или общей речевой ситуации. Отметим, что нередко исследователи считают, что указательные местоимения подчеркивают значение единичности имен [12]. Однако в сочетаниях с указательными местоимениями (см. пример), как и с аффиксами принадлежности, значения единичности или множественности выводятся из самой ситуации, но подчеркиваются местоимениями благодаря их выделительной функции, усиливающей любую характеристику предмета, в том числе и количественную.

Наиболее ярко индифферентность тюркского имени к квантитативной характеристике предметов проявляется в тех случаях, когда количество (множество) прямо выражается лексическим способом, т. е. с помощью числительных или слов-кванторов типа «много», «мало»: *beş kitap* «пять книг», *çok* (*az*) *kitap* «много (мало) книг», (см. об этом ниже, стр. 106 — 108).

Рассматриваемое свойство тюркского имени позволяет ему обозначать предмет в разных ситуациях: в одних он реально может быть уникальным, в других быть представленным единично или во множестве, в одних он определенный, в других — неопределенный. Но из соотносимости существительного с различными ситуациями совсем нельзя делать вывод о многообразии его значений и приписывать содержание ситуации семантике формы имени. Поэтому, например, приводимые Т. Ковальским пять значений слова *at* «лошадь» без показателя множественности [13] представляют собой лишь обобщенные характеристики типов ситуаций, с которыми оно может соотноситься. Именно соотносимость одной формы со множеством ситуаций должна истолковываться как доказательство

[9] С. Д. К а ц н е л ь с о н, указ. соч., стр. 33; ср.: А. М. П е ш к о в с к и й, Русский синтаксис в научном освещении, 6-е изд., М., 1938, стр. 139.

[10] См. аналогичные примеры: С. А. С о к о л о в, Категория числа в турецком литературном языке и ее взаимосвязь со смежными лексико-грамматическими категориями, СТ, 1970, 4, стр. 74—75; К. М. Л ю б и м о в, указ. соч., стр. 81—82.

[11] A. Z a j ą c z k o w s k i, Studja nad językiem staroosmańskim. I. Kalila i Dimna, Kraków, 1934, стр. 14.

[12] См., например: В. И. С е р г е е в, Лексический способ выражения множественности в чувашском языке, СТ, 1973, 3, стр. 5.

[13] T. K o w a l s k i, указ. соч., стр. 4.

ее индифферентности к этим типам ситуаций. Не принимая называемые Т. Ковальским пять случаев употребления формы без показателя множественности в качестве ее значений, нельзя тем не менее не видеть рационального зерна в утверждении автора, что такая форма представляет собой «прежде всего родовое название (Gattungsname) без какого бы то ни было различения рода, числа и определенности» и что последние или в случае необходимости должны быть выражены с помощью особых языковых средств, или же должны выводиться из соответствующего контекста [14]. Здесь нельзя согласиться только с тем, что рассматриваемая форма имени «прежде всего» — родовое название, ибо имя индифферентно также и к тому, передает ли оно конкретный предмет или родовое название, что доказывается аналогичным ходом рассуждений.

По тем же причинам, видимо, следует отказаться от широко известных утверждений, что форма без показателя множественности имеет значения собирательности, неопределенной, или совокупной, или сплошной, или нечленимой множественности. Эти количественные характеристики предметов, несомненно, могут в определенных случаях выражаться этой формой, но отнюдь не входят в ее грамматическое значение.

Индифферентность формы существительного без показателя множественности к количественным характеристикам обозначаемых предметов обязательно предполагает наличие в языке специальных средств, которые при необходимости выражали бы эти количественные характеристики, т. е. как множество, так и единичность — объективные наиболее общие количественные различия предметов: один — не один. Поскольку в самой реальности отнюдь не все объекты поддаются счету, естественно ожидать, что и в тюркских языках механизм выражения количества предметов своему основному назначению отвечает лишь в сфере так называемых считаемых имен, которые «обозначают предметы, образующие счетное множество» [15]. Однако надо иметь в виду, что понятия считаемых и несчитаемых имен, по-видимому, в значительной мере относительны. Ведь известно, что и многие так называемые несчитаемые имена могут в отдельных случаях обозначать считаемые предметы и получать формы числа. Кроме того, понятия считаемых и несчитаемых имен применительно к тюркским языкам нуждаются в специальном уточнении, так как состав этих разрядов в некоторой степени зависит от языковой структуры [16].

Аффикс множественности *-lar*, «известный на протяжении всей доступной изучению истории тюркских языков» и встречающийся «в различных фонетических вариантах во всех тюркских языках, за исключением чувашского языка, где ему функционально соответствует аффикс *-sem*» [17], представляет собой единственное синтетическое морфологическое средство выражения релевантной для высказывания множественности предметов: *at* + *-lar* «лошади».

Представляется, что в качестве средства выражения релевантной единичности выступает слово *bir*, полифункциональный элемент, морфоло-

---

[14] Там же. Аналогичные свойства имени, т. е. индифферентность к перечисленным значениям, отмечены в языках, не имеющих грамматической категории числа; см.: H. Jensen, Die sprachliche Kategorie des Numerus, «Wissenschaftliche Zeitschrift der Universität Rostock», Ges.-Sprachwiss. Reihe, Jg. 1, Hf. 3, 1951—1952, стр. 7—8; A. Erhart, Pluralformen und Pluralität, AO, 41(3), 1973, стр. 247—248.

[15] С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 28; см. также: С. Н. Иванов, указ. соч., стр. 45.

[16] См.: О. Есперсен, Философия грамматики, М., 1958, стр. 217—218, 229—233.

[17] А. Н. Кононов, Показатели собирательности — множественности в тюркских языках. Сравнительно-исторический этюд, Л., 1969, стр. 3, 29.

гический статус которого в сфере грамматического использования еще не получил в тюркском языкознании однозначной комплексной квалификации и нуждается в специальном рассмотрении. Выражение значения единичности путем определения имени существительного числительным *один* представляет собой явление, известное исследователям ряда неиндоевропейских языков [18].

Несомненно, что с решением вопроса о грамматическом статусе слова *bir* как выразителя единичности тесно связана интерпретация и самого грамматического механизма выражения количественных характеристик существительного в тюркских языках: либо признание в этих языках грамматической категории числа, либо признание в них лишь формы множественности с формантом *-lar*. Таким образом, в какой мере словосочетание «*bir* „один" + существительное» в случае выражения с помощью этого сочетания единичности в современных тюркских языках является грамматикализованным, должно быть предметом специального рассмотрения на материале каждого конкретного языка. Есть две возможности: 1) в указанном качестве слово *bir* выступает как специальный грамматический показатель единичности; 2) это — числительное *один*, которое используется для лексического выражения количества, подобно другим количественным числительным.

Рассмотрим вопрос о категории числа, исходя из посылки, что *bir* — грамматический показатель. В литературе указываются случаи грамматикализации *bir*, например, в качестве показателя неопределенности [19], о чем свидетельствует утеря им собственного ударения и превращение в проклитику, ср. турецк. *bir év* «какой-то дом».

Показатели единичности и множественности составляют функциональный ряд морфологических средств, объединяемый их семантической соотносимостью, как выразителей количественных характеристик предметов [20]. Именно только указанная функционально-семантическая общность позволяет отграничить значения единичности у *bir* и множественности у *-lar* в качестве их числовых категориальных значений от прочих значений этих показателей.

Но множество — понятие емкое. Исследователи пишут об определенном и неопределенном (совокупном), раздельном и нераздельном (сплошном), членимом и нечленимом, о распределенном, о тотальном множестве и т. д. Но и здесь следует отличать передаваемые формой ситуативные характеристики предметов от обязательно и всегда выражаемых ею, входящих в ее грамматическое значение обобщенных количественных значений, т. е. от грамматических значений формы с показателем *-lar*.

Если исходить из противопоставленности формы с *bir* и формы с *-lar* как выразителей количественных характеристик, логично полагать, что грамматическое значение последней противоположно значению единичности и представляет собою значение «счетного множества», понимаемого как

---

[18] См.: A. Erhart, указ. соч., стр. 248; H. Jensen, указ. соч., стр. 8.

[19] См.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.—Л., 1956, стр. 168; его же, Грамматика современного узбекского литературного языка, М.—Л., 1960, стр. 75, 89; ср.: С. Н. Иванов, указ. соч., стр. 32. Использование *bir* в качестве показателя неопределенности в настоящей статье не рассматривается, хотя, вероятно, такое использование смыкается с его функционированием в качестве показателя единичности. В связи с этим не анализируются примеры типа *bir şeyler* «нечто, многое», *bir yerlerde* «где-то, кое-где» и т. п., в которых, по мнению авторов, *bir* выступает выразителем неопределенности.

[20] Ср.: «Мы предпочитаем определять морфологическую категорию как ряды словоформ, объединенных категориальной функцией» (С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 27).

не единичность считаемых предметов. По-видимому, это значение следует признать наиболее общим, присутствующим во всех случаях категориального употребления этой формы. Но предпосылкой считаемости предметов является, с одной стороны, их «расчлененность, или, что то же, дискретность», а с другой — их качественная однородность, приравненность друг к другу в каком-либо отношении. Таким образом, счетное множество по своей природе раздельно, дискретно и составляется из однородных единиц [21]. Отсюда понятно, почему исследователи обнаруживают у показателя *-lar* значение так называемого раздельного, или членимого, множества, которое однако едва ли является его основным значением. Раздельность, или членимость, это прежде всего свойства, присущие самому счетному множеству, обозначение которого и составляет, по-видимому, категориальное значение этого показателя. Из сказанного вытекает, что поскольку расчлененность производна от значения счетного множества, грамматическое значение тюркской категории числа едва ли сводится к противопоставлению значений «расчлененность — нерасчлененность (совокупность)». С изложенных позиций вызывает также сомнение утверждение, что показатель *-lar* в обозримой истории тюркских языков имел некогда значение абстрактной собирательной множественности [22].

Прочие значения рассматриваемых показателей, хотя и являются близкими значениям единичности — множественности, представляются лежащими вне этой категории. Иными словами, только своими соотносимыми значениями единичности и множественности *bir* и *-lar* объединяются как ряд морфологических показателей грамматической категории числа, работающей исключительно в сфере считаемых имен. Из сказанного вытекает, что тюркская категория числа ограничивается, с одной стороны, указанным семантическим содержанием ее показателей, с другой — семантическим полем имен, обозначающих считаемые предметы, поэтому анализ этой категории с необходимостью предполагает учет отмеченных границ.

Исключительно содержательный характер форм единичности — множественности, конституирующих категорию числа, их ориентация на выражение реальной единичности или множественности обусловливает следующий механизм их функционирования: в каждом случае использования формы для передачи квантитативной характеристики предметов она отражает реальную единичность или множественность, но не наоборот, ибо реальные количественные характеристики предметов не обязательно выражаются с помощью *bir* и *-lar* и даже вообще не обязательно эксплицируются в высказывании, как в примере на стр. 101. В случаях, когда квантитативная информация выражена лексическими средствами или выводится из ситуации, контекста и т. д., использование этих показателей с точки зрения механизма языка становится избыточным. Вследствие этого они или оказываются факультативными, или могут употребляться только в ином значении (см. например, стр. 108). Факультативными они могут быть также и тогда, когда количественные характеристики

---

[21] С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 28. Ср. также: А. Супрун, Б. Норман, Историко-типологическа характеристика на някои граматически категории, «Език и литература», 1974, 3, стр. 43.

[22] См., например: К. Grönbech, Der türkische Sprachbau, Køpenhagen, 1936, стр. 57—83; Б. А. Серебренников, Существовали ли в протоуральском языке именные классы, ВЯ, 1969, 3, стр. 12—23; его же, О некоторых частных деталях процесса образования аффикса множественного числа *-lar* в тюркских языках, СТ, 1970, 1, стр. 49—53; А. М. Щербак, Формы числа у имен в тюркских языках, ВЯ, 1970, 3, стр. 96—99.

предметов несущественны для сообщения [23]. В тех же случаях, когда эти показатели выступают как единственные средства выражения квантитативной характеристики — при наличии необходимости в выражении последней — их употребление обязательно.

По-видимому, механизм функционирования *bir* и *-lar* как показателей единичности и множественности не может быть правильно понят, если их не осознавать как морфологические средства квантификации, существующие наряду с другими средствами, к которым прибегает язык. Так, поскольку высказывание *Dün bizde misafir vardı* «У нас вчера был гость» (или: «были гости») не несет количественной информации, последнюю можно передать следующими фразами: а) *Dün bizde beş* (*az*, *çok*) *misafir*(*ler*) *vardı* «Вчера у нас было пять (мало, много) гостей»; б) *Dün bizde bir misafir vardı* «Вчера у нас был один гость»; в) *Dün bizde misafirler vardı* «Вчера у нас были гости».

В примере (а), где для выражения количественной информации использованы лексические средства, показатель *-lar* как показатель множественности избыточен. В примерах (б) и (в) рассматриваемые показатели являются единственными выразителями количества и не могут быть опущены без нарушения смысла.

Следует также иметь в виду, что и в сфере считаемых имен категория числа не всегда является релевантной. В случае актуализации отвлеченно-предметных или предметно-качественных значений существительного эта категория оказывается иррелевантной в силу принципиальной несовместимости количественных представлений с этими значениями [24]. При таком употреблении имя не может получать показателей единичности — множественности, примером чего являются компоненты — определения изафетных конструкций I типа (*taş bina* «каменное здание»). Попутно заметим, что в изафете II компонент-определение может выступать и в тех, и в других значениях, поэтому в случае актуализации конкретно-предметных значений он может выступать в форме множественности (ср. в турецком языке: *demir yolu* «железная дорога», но *ressamlar cemiyeti* «общество художников») [25]. Во втором примере форма множественности, по-видимому, может рассматриваться как средство обозначения класса предметов «в совокупности его элементов» [26].

Класс предметов может быть представлен не только множеством составляющих его единиц, но и понятием, основанным на наиболее общих признаках предмета, т. е. именем в отвлеченно-предметном значении, при котором количественные характеристики иррелевантны. Именно поэтому в случаях, когда компонент-определение обозначает класс предметов, он может представлять собою имя как с показателем множественности, так и без показателя и вне категории числа: ср. турецк. *Sovyetler Birliği* «Советский Союз ~ Союз Советов» и *Sovyet ülkesi* «Страна Советов ~ Со-

[23] Разумеется, в зоне факультативности показатели под влиянием языков иного строя могут в современных тюркских языках использоваться с повышенной частотностью, как, например, *-lar* у имен с числительными больше одного в азербайджанском и караимском языках, где этот аффикс, по-видимому, не приобретает дополнительных значений. См.: T. K o w a l s k i, указ. соч., стр. 2; «Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху», М., 1969, стр. 36, 44, 94; «Закономерности развития литературных языков народов СССР в советскую эпоху», М., 1973, стр. 299—301.

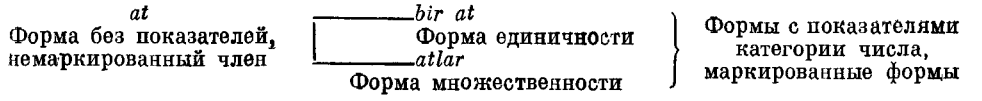
[24] См.: В. Г. Г у з е в, Д. М. Н а с и л о в, Конкретно-предметные значения тюркского имени существительного как зона релевантности категорий числа и определенности — неопределенности, СТ, 1971, 5, стр. 22—23.

[25] См.: В. Г. Г у з е в, Д. М. Н а с и л о в, О соотношении типов изафета в турецком языке, в кн.: «Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока», М., 1972, стр. 183.

[26] С. Д. К а ц н е л ь с о н, указ. соч., стр. 31.

ветская страна». Вполне вероятно, что предпочтительность того или иного варианта определяется фактами не грамматического, а стилистического или узуального порядка. Здесь следует напомнить мнение С. Д. Кацнельсона, что «функция выделения родовых понятий противоречит основной функции форм числа», ибо «при выделении родовых понятий формы числа теряют свое актуализирующее свойство...» [27]. Так что границы категориального использования формы множественности, возможно, еще более узкие, чем те, которые были определены выше. Во всяком случае, недостаточно сказать, что категория числа ограничивается семантикой показателей и сферой имен, обозначающих считаемые предметы. В сфере последних она релевантна лишь в зоне их конкретно-предметных значений.

Представляется, что взаимоотношения формы единичности и множественности, с одной стороны, и формы без показателя, с другой, могут служить примером асимметричности соотносительных грамматических форм, когда маркированный член соотношения выражает некий признак, который немаркированный член оставляет невыраженным [28]. В нашем случае как форма единичности, так и форма множественности, каждая в отдельности, выступает по отношению к форме без показателей как маркированный член. Последняя оставляет невыраженными количественные признаки предметов [29]. Графически данное соотношение можно представить так:



Но основой соотносительности форм *at* — *bir at* — *atlar*, ввиду содержательного характера тюркской категории числа, может быть только лексическое значение существительного. И отсутствие показателей в форме *at* означает отсутствие у нее количественных значений и наличие только номинативного содержания. В таком же флективном языке, как русский, формы *конь* — *кони* соотнесены не только на основе общего лексического значения, но и на основе формально-грамматической функции обеих форм. Отсутствие показателя мн. числа в форме *конь* является, в отличие от тюркской формы, значимым: оно, с одной стороны, сигнализирует о принадлежности этой формы к одному из двух типов согласующих классов (синтаксически значимая форма ед. числа), с другой, выступает потенциальным выразителем единичности предмета [30], которая, как отмечалось, может быть и релевантной, и нерелевантной для высказывания.

Таким образом, формы без показателей мн. числа во флективных языках и в агглютинирующих (таких, как тюркские) предстают в совершенно разных качествах. Если к первым, для которых характерны словоизменительные категории, имеющие облигаторное применение, приложимо положение: «Появление в языке хотя бы одной материально выраженной словоизменительной формы автоматически приводит к осознанию противостоящей ей основной формы слова как обладающей добавочным

---

[27] Там же.

[28] R. Jacobson, Zur Struktur des russischen Verbums, «Readings in linguistics», II, Chicago — London, 1966, стр. 22—23.

[29] Ср.: М. А. Кумахов, Число и грамматика, ВЯ, 1969, 4, стр. 69; A. Erhart, указ. соч., стр. 248.

[30] См.: «Грамматика современного русского литературного языка», М., 1970, стр. 322—323.

грамматическим значением (нулевая форма)» [31], то в отношении тюркских языков о нулевой форме какой-либо категории, видимо, правомерно говорить «...лишь в том случае, если такая нулевая форма выражает одно из тех частных значений этой грамматической категории, которые не выражаются ни одним из ее специальных показателей» [32]. В русском языке слово типа *конь* — это форма ед. числа с нулевым показателем. Но поскольку форма *at* не несет какой-либо количественной информации, т. е. не имеет сама по себе категориального значения числа и не выполняет согласовательной функции, то, очевидно, ее нельзя рассматривать в качестве нулевой формы категории числа [33].

Анализ различий в механизме категорий числа во флективных и агглютинирующих языках еще раз подтверждает мысль, что свойства той или иной категории находятся в прямой зависимости от особенностей строя языка [34]. Говоря об этом, можно также указать на наличие в русском языке так называемых pluralia tantum, слов со «связанной», лексикализованной формой числа, которых нет в тюркских языках. Существование pluralia tantum обусловлено согласовательной функцией русской категории числа, которой не имеет тюркская категория числа [35] и, насколько нам известно, исследователи тюркских языков не отмечают случаев лексикализации форм множественности.

Итак, то, что называют категорией числа в тюркских языках, имеет исключительно содержательный характер и в своей категориальной семантике «единичность — множественность» функционирует в сфере считаемых имен, выступающих в конкретно-предметных значениях. Естественно полагать, что иное использование показателей *bir* и *-lar* находится за пределами собственно квантитативной характеристики предметов и может рассматриваться как некатегориальное [36]. Ниже будет показано, что этот вывод в общем справедлив, хотя здесь, по-видимому, неизбежны уточнения, если учитывать отмеченную выше неразработанность вопроса о границах между считаемыми и несчитаемыми именами применительно к тюркским языкам.

В тюркологической литературе описаны многочисленные случаи использования аффикса *-lar* с несчитаемыми именами [37], т. е. именами вещественными и абстрактными, а также с именами, обозначающими единственные в своем роде предметы, со словами, имеющими «плюральное зна-

---

[31] Н. Н. Коротков, В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 37.

[32] Там же, стр. 42—43.

[33] Авторы настоящей работы ранее придерживались широко распространенной в тюркологии точки зрения о нулевом показателе числа в *at*. См.: В. Г. Гузев, Д. М. Насилов, Конкретно-предметные значения тюркского имени существительного..., стр. 23.

[34] См., например: «Общее языкознание. Внутренняя структура языка», М., 1972, стр. 210 и сл.; Н. Н. Коротков, В. З. Панфилов, указ. соч., стр. 37; «Типология грамматических категорий (Мещаниновские чтения 1973). Тезисы докладов», М., 1973.

[35] См.: С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 29; А. А. Реформатский, указ. соч., стр. 391—393; ср.: А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, стр. 67.

[36] Использование терминов «категориальные» и «некатегориальные» значения является чисто условным и преследует единственную цель отграничить значения рассматриваемых показателей, в которых они выступают в случае выражения единичности и множественности, от их прочих значений. По-видимому, возможно использование в этом смысле иных терминов.

[37] См.: T. Kowalski, указ. соч., стр. 8—22; Н. К. Дмитриев, указ. соч., стр. 68—70; А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, стр. 68—71; А. Н. Кононов, Грамматика современного узбекского литературного языка, стр. 78—81; С. Н. Иванов, указ. соч., стр. 40—44 и др.

чение» [38], с именами собственными. Обозначаемые такими именами предметы в принципе не нуждаются в количественных характеристиках. Поэтому употребление таких имен с показателем *-lar* воспринимается либо как следствие некоторого изменения лексического значения слов, которое, по всей вероятности, происходит в результате столкновения семантики несчитаемых имен с идеей множества, либо как реализация иных значений показателя *-lar*, родственных значению множественности.

В качестве примеров назовем случаи выражения таких значений, как: 1) различных сортов, разновидностей вещества: кирг. *күйүчү майлар* «горючие масла»; 2) обилия вещества: турецк. *sokağın tozlari içinde* «в сплошной уличной пыли» (из примеров А. Н. Кононова); 3) распределенности в пространстве: *suvlar akar* «вода течет в разных местах» (из примеров Т. Ковальского); 4) интенсивности свойств обозначаемых именем явлений: турецк. *uzun sıkıntılar içinde* «в томительной тоске», *karanlıklar içinde* «в непроглядной темноте» (из примеров А. Н. Кононова); 5) «расширения рамок пространственных и временных понятий», приблизительности: турецк. *yükseklerde* «[где-то] на большой высоте», *hafta başlarında* «[примерно] в начале недели» [39]; 6) ласкательных значений: башк. *кояшкайларым* «мое солнышко» [40]; 7) почтительности, вежливости, уважения: турецк. *paşa hazretleri* «его превосходительство паша» (из примеров С. А. Соколова); узб. *бувимнинг беллари оғрияпти* «У моей бабушки болит поясница» (из примеров А. Н. Кононова).

Напомним также, что имена собственные с показателем *-lar* способны обозначать лиц, сравниваемых с лицом, которое называется (узб. *Новоийлар* «такие поэты, такие люди, как Навои», из примеров А. Н. Кононова), или обозначать семью именем одного из ее членов (узб. *Рахимовлар* «Рахимовы», из примеров А. Н. Кононова). Аффикс *-lar* при именах с количественными числительными или иными кванторами, и возможно, при личных местоимениях 1 и 2-го лица мн. числа, являясь излишним с точки зрения выражения множественности, также выступает в одном из своих других значений — как средство подчеркивания индивидуальности, уникальности и своеобразия каждого предмета, включаемого в данное множество [41]; турецк. *yedi Meş'aleciler* «семь писателей, объединившихся вокруг журнала „Факел"» (из примеров А. Н. Кононова); турецк. *giderek, sadece saflarımıza katılmakla kalmadılar b i z l e r e de destek oldular* (Che Guevara, Savaş anıları, İstanbul, 1968, стр. 213) «Со временем они [крестьяне] не только вошли в наши ряды, но и стали для нас опорой»; ст.-узб. *üч оқлар сол болсунлар* «Три стрелы пусть полетят в левую сторону» (из примеров С. Н. Иванова).

Перечисление всех случаев н е к а т е г о р и а л ь н о г о использования показателя *-lar* и их осмысление не входят в задачу настоящей статьи и должны быть предметом специального исследования. Отметим, что тюркские языки в этой сфере следуют общеязыковой типологии, что подтверждается сравнением с аналогичными явлениями в других языках мира [42].

Разумеется, сферу некатегориального (с точки зрения категории числа) использования имеет также и форма единичности, которая, однако, пока

[38] T. K o w a l s k i, указ. соч., стр. 15—16.
[39] С. А. С о к о л о в, указ. соч., стр. 78—79.
[40] Н. К. Д м и т р и е в, указ. соч., стр. 70.
[41] См.: А. Н. К о н о н о в, Грамматика современного турецкого литературного языка, стр. 68, 70—71; С. Н. И в а н о в, указ. соч., стр. 39—40.
[42] Ср.: В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, 2-е изд., М., 1972, стр. 131—138; О. Е с п е р с е н, указ. соч., стр. 220—233; С. Д. К а ц н е л ь с о н, указ. соч., стр. 29—31.

не привлекалась к рассмотрению в интересующем нас аспекте [43]. По-видимому, слово *bir* как один из кванторов должно вызывать у несчитаемых существительных смещение лексических значений того же порядка, что и показатель *-lar*, хотя и противоположное по знаку. Если *-lar* у имен с вещественным значением может выражать различные сорта, разновидности вещества или его обилие, то *bir*, способно, в частности, указывать на небольшое, ограниченное количество вещества: ср. турецк. *bir çay içmek* «выпить стакан чаю», ...*bir rakımızı iç bari* «выпей хоть рюмочку ракы с нами»; на вещество одного определенного рода, с конкретными характеристиками, вытекающими из его отношений с данной ситуацией: турецк. «kâh esmer derisini şişiren *bir kan* gözlerinin kenarına kadar fırlıyor, kâh dişlerinin arasında ezilen dudakları bile bembeyaz oluyordu» (S. Ali) «То кровь [отчаяния], вздувавшая его смуглую кожу, заливала [все его лицо] до самых уголков глаз, то даже его губы, зажатые зубами, становились совершенно белыми...» (последние два примера авторам любезно предоставил С. Н. Иванов).

Отметим наряду с этим, что есть случаи использования показателей *bir* и *-lar* в качестве показателей субстантивированности слова. Например: турецк. *büyükler* «взрослые» (от *büyük* «большой, старший»), *gençler* «юноши», и *bir genç* «молодой человек» (от *genç* «молодой, юный»).

Таким образом, показатели *bir* и *-lar*, каждый в отдельности, используются в разнообразных функциях. На фоне этого функционального многообразия их употребление для выражения единичности и множественности предстает как ограниченная узкими рамками сфера категориального использования.

Предложенная выше интерпретация тюркской категории числа основывается на посылке, что *bir* — грамматический показатель единичности. Необходимо также учитывать возможность решения интересующей нас проблемы, исходя из в т о р о й из упомянутых выше допустимых посылок: слово *bir* в интересующей нас функции — числительное «один».

Действительно, есть основания думать, что грамматические функции у слова *bir* вторичны и сформировались на базе его исконной лексико-грамматической сущности как числительного «один». Эти грамматические функции могли возникнуть в ходе исторического развития тюркских языков, и, следовательно, можно себе представить такое состояние этих языков, когда *bir* совершенно не использовалось как грамматическое средство.

Если исключить слово *bir* из арсенала грамматических средств, то придется признать, что аффикс *-lar* оказывается единственным морфологическим показателем, служащим для выражения количества предметов, а другие средства не грамматичны. Поскольку понятие категории предлагает наличие минимум двух форм, составляющих функциональный ряд, то у нас не будет оснований говорить о грамматической к а т е г о р и и ч и с л а. Можно лишь говорить о ф о р м е м н о ж е с т в е н н о с т и с показателем *-lar*.

Механизм выражения языком количественных характеристик выглядит в таком случае следующим образом. Основная форма индифферентна к количеству обозначаемых предметов; множество при необходимости

---

[43] Ср., например: Т. М. Ж а б о е в, О слове *бир* (один) в карачаево-балкарском языке, «Вестн. Кабард.-Балкарск. НИИ», 2, Нальчик, 1970; А. Б е к б е р г е н о в, «Бир» санлығының мәнилери һәм қолланылыўы, в кн.: «Исследования по каракалпакскому языку», Нукус, 1971; Н. И. Л е т я г и н а, Слово *бир* в тувинском языке, «Уч. зап. Тув. НИИЯЛИ», 16, Кызыл, 1973; А. А. Б е г л я р б е к о в а, Артиклевая функция родительного, винительного падежей и слова *бир* в современном азербайджанском языке. АКД, М., 1971.

может передаваться специальным грамматическим показателем *-lar*, а единичность, как и другие конкретные количества, лексическим способом, т. е. с помощью числительного.

Такое положение для тюркских языков не должно казаться необычным, ибо оно имеет многочисленные типологические параллели в языках изолирующего и агглютинирующего строя, например, в китайском, японском, классическом тибетском, бирманском, индонезийском, нивхском [44].

Итак, исходя из первой посылки, мы пришли к выводу о том, что тюркская категория числа конституируется функциональным рядом форм с *bir* — *-lar*. Исходя из второй посылки, заключаем, что речь может идти не о категории числа, а лишь о форме множественности.

Представляется, что оба вывода не исключают друг друга, а справедливы для разных этапов эволюции тюркских языков. На более ранних этапах могла наличествовать лишь форма множественности, которая позднее стала членом функционального ряда, возникшего в результате приобретения числительным *bir* свойств грамматического показателя. Возникновение у *bir* этих свойств могло быть связано с становлением семантической оппозиции «единичность — множественность» в условиях наличия морфологического способа выражения множественности (*-lar*) и индифферентности основной формы к количественным характеристикам предметов.

Из сказанного ясно, что при реконструкции праязыкового состояния нельзя исключать вероятности описанного пути развития. Простая интерполяция форм «единственного» и «множественного» числа в традиционном понимании в праязыковое состояние едва ли правомерна.

Изложенная интерпретация тюркского языкового механизма выражения количества представляет собой попытку вскрыть важнейшие и универсальные свойства этого механизма, которые вытекают из особенностей строя тюркских языков как языков агглютинирующих. Описанный механизм, вероятно, реализуется в конкретных языках с разной степенью полноты, что определяется тем, насколько тот или иной язык сохраняет в неприкосновенности исконно тюркские черты своей грамматики, прежде всего в сфере значений грамматических форм. Известно, что тюркские языки в течение многих веков подвергались и подвергаются влиянию языков иного строя. Такое влияние, вторгаясь в сферу семантики грамматических форм, не могло не приводить к изменениям их функциональных свойств. Поэтому авторы отдают себе отчет в том, что в каждом языке механизм выражения количества будет несколько отличен от описанного. Но адекватное описание его немыслимо без вскрытия его исконной природы и выяснения тех идиоэтнических черт, которые возникли под воздействием конкретных условий развития языка. Чем древнее тюркский языковой памятник, тем больше вероятность обнаружить в нем этот механизм и тем более своеобразным последний будет казаться на фоне состояния современных языков. Не случайно исследователи отмечают, что в языке древнейших тюркских памятников — орхоно-енисейских — показатели числа

[44] См.: С. Д. Кацнельсон, указ. соч., стр. 33—35; H. Jensen, указ. соч., стр. 7—8; см. также: А. А. Холодович, Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке, «Уч. зап. ЛГУ», Серия филол. наук, 10, 1946; Р. О. Шор, Н. С. Чемоданов, Введение в языковедение, М., 1945, стр. 117; Ю. М. Парфионович, Тибетский письменный язык, М., 1970, стр. 68—70; Р. А. Янсон, Служебные слова при имени существительном в бирманском языке. АКД, Л., 1968, стр. 8—9; K. Kaden, Der Ausdruck von Mehrzahlverhältnissen in der modernen chinesischen Sprache, «Schriften zur Phonetik. Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung», 9, Berlin, 1964, стр. 18—32, 124—129, 208—216; В. З. Панфилов, Грамматика нивхского языка, ч. 1, М.—Л., 1962, стр. 40, 91—93, 97—101.

используются крайне редко. Тем не менее и в современных языках исконно тюркский механизм выражения количественных характеристик предметов отчетливо дает о себе знать в многочисленных случаях употребления формы существительного без показателей *bir* или *-lar* при выражении единичности или счетного множества.

Принципы, положенные в основу этой отличной от традиционной интерпретации тюркского языкового механизма выражения количественных характеристик у имен существительных и находящиеся, по мнению авторов, в соответствии с типологическими особенностями агглютинативных языков, могут оказаться полезными и при последующем осмыслении других явлений, категорий тюркской грамматики (возможно, таких, как соотношение форм действительного и косвенных залогов, изъявительного и косвенных наклонений и др.).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

К. В. ЛОМТАТИДЗЕ

К ВОПРОСУ О ПРИРОДЕ СОНАНТОВ И ОБ ИХ КОРРЕЛЯТИВНЫХ ПАРАХ

(По данным абхазско-адыгских и картвельских языков)

Считается, что сонанты, если они в том или ином языке не составляют коррелятивных пар, не могут вызвать озвончения рядом стоящих глухих согласных.

По этому вопросу у А. Мартине, например, читаем: «Синхронический анализ ассимиляций в определенном языке показывает.... что, как правило, именно различительные признаки переходят с одной фонемы на другую. Ассимиляция по звонкости является нормой в русском языке; глухая согласная, стоящая перед звонкой, для которой наличие голоса является различительным, здесь озвончается, и наоборот, фонологически звонкая согласная в положении перед фонологически глухой оглушается. Если же в сочетании из двух согласных в качестве второго элемента выступает сонант, для которого звонкость не является различительной, эта звонкость никак не влияет на первую согласную, даже если она глухая. В таком слове, как *окно*, *к* остается глухим, что легко объяснить с функциональной точки зрения: поскольку в русском языке существует сочетание /гн/, произношение /кн/ как [гн] повело бы к смешениям; ничто, однако, не мешает оглушать начальную часть фонемы /н/ в слове *окно*, когда это облегчает артикуляцию, поскольку в русском языке не существует фонологически самостоятельного глухого *н*... ассимиляция является регрессивной, если обе фонемы принадлежат к корреляции по звонкости. Таким образом, фонологически глухая согласная стремится к озвончению перед фонологически звонкой, а фонологически звонкая согласная оглушается перед фонологически глухой. Если же фонологически глухая согласная находится в соседстве с носовой, плавной или полугласной (т. е. с согласными, которые обычно реализуются как звонкие, но для которых эта звонкость не является релевантной), то к оглушению стремится именно фонетически звонкая согласная, причем независимо от того, стоит ли она перед глухой или после глухой согласной» [1].

Общеизвестно, что А. Мартине выступал против фонологического бинаризма с такой аргументацией: «Чтобы иметь право утверждать, что все фонологические противопоставления являются двучленными, необходимо либо, исследовав все возможные случаи, констатировать, что дело обстоит именно так, либо доказать, что человек в силу самой своей природы может организовать различительные единицы только по бинарному принципу. Но кто может похвастать тем, что он исследовал все существующие или засвидетельствованные языки? А что можно сказать о бесследно исчезнувших языках или о тех языках, которые появятся на земле в будущем?» [2].

[1] А. Мартине, Принцип экономии в фонетических изменениях, М., 1960, стр. 245—246.

[2] Там же, стр. 102.

А. Мартине при оценке своей теории («принципа экономии») говорит: «Достаточно появиться новому, достоверно установленному факту, который не найдет себе места в этой теории, чтобы она стала недействительной»[3]. Однако сформулированный выше закон в отношении коррелятивных пар и неспособности сонантов вызвать озвончение рядом стоящих согласных был воспринят как универсальный закон и применен для объяснения весьма сложных в этом отношении случаев. В частности, на основе этого закона были сделаны попытки объяснить факты абазинского языка.

Рассматривая вопросы озвончения личных показателей (имеются в виду показатели 1-го лица ед. и мн. числа и 2-го лица мн. числа *s-*, *h-*, *š°-*) в абазинском, У. Аллен заключает: когда эти показатели передают P_2[4] и оказываются в положении перед звонкой согласной глагольного корня, они озвончаются (*ysbad* > *yzbad* «увидел я то», *yhbad* > *yƐbad* «увидели мы то», *yʃ*^{w}*bad* > *yʒ*^{w}*bad* «увидели вы то»).

Сопоставляя в этой связи глагольные основы, автор замечает: «Процесс озвончения происходит только тогда, когда начальная корневая согласная является „дистинктивно" звонкой, т. е. когда она минимально отличается от другой артикуляцией звонкости. Таким образом, озвончения не происходит перед плавной, носовой или же начальных корневых согласных гласного типа» [5].

Для подтверждения этого положения приводится глагольная форма *dsn'q*^{w}*aq*^{w}*d* «он вызвал меня; он бросил мне вызов», где не произошло озвончения личного показателя P_2 (поскольку, по мнению автора, в качестве начальной согласной корня выступает сонант *n*) [6].

В специальной литературе как по абхазскому, так и по абазинскому языкам в отношении озвончения личных показателей установлено следующее правило: озвончаются личные префиксы — только показатели грамматического субъекта переходного глагола — при непосредственной постановке их перед корневой звонкой согласной[7]; к таким согласным относятся и сонанты, если они выступают в качестве начальных корневых элементов переходного глагола [8].

В данном вопросе решающее значение приобретает переходность глагола. Это явствует из противопоставления переходного и

---

[3] Там же, стр. 54.

[4] Следует оговорить, что символ P_2 должен передавать показатели эргатива-субъекта, т. е. показатели ряда L^S, но если судить по некоторым примерам, приведенным в этой связи У. Алленом, становится очевидным, что в символе P_2 автором объединены вместе с L^S и показатели L^O, т. е. показатели косвенного объекта того же эргатива.

[5] W. S. Allen, Structure and system in the Abaza verbal complex, «Transactions of the Philological society», Hertford, 1956, стр. 146—147.

[6] Там же, стр. 147.

[7] В упомянутых глаголах могут встречаться озвонченные личные показатели (как параллельные разновидности) и в отрицательных формах с префиксальным оформлением отрицания, когда между корневой звонкой согласной и показателями субъекта вставляется целый слог *-əm-* (*-mə-*; например, абх. *d-z-əm-bejṭ*, абаз. *dəgʾ -z-əm-baṭ* «я не видел его»). Это объясняется аналогией, во-первых, с положительными формами того же глагола (*dəzbejṭ/dəzbaṭ*) и, во-вторых, особенно с отрицательными же формами временных образований, имеющих при себе суффикс отрицания (ср. абх. *dəzbom*, абаз. *dəgʾ zbum* «я не вижу его»).

[8] См.: К. В. Ломтатидзе, Категория переходности в абхазском языке, «Изв. ИЯИМК», XII, 1942, стр. 9—11 (на груз. яз., резюме на русск. яз.); ее же, Тапантский диалект абхазского языка, Тбилиси, 1944, стр. 123—124 (на груз. яз., резюме на русск. яз.); ее же, Ашхарский диалект и его место среди других абхазско-абазинских диалектов, Тбилиси, 1954, стр. 94 (на груз. яз., резюме на русск. яз.); ее же, Абазинский язык, «Языки народов СССР», IV, М., 1967, стр. 135; ее же, Абхазский язык, там же, стр. 113.

непереходного вариантов глаголов лабильной конструкции (с начальной корневой звонкой согласной). Например, в глаголе (*a*)-*zaxra* «шить» при образовании личных форм непереходного варианта (как будто бы в одинаковых с переходным вариантом фонетических условиях) корневая звонкая *z* не вызывает озвончения личных показателей, тогда как при образовании личных форм переходного варианта в соседстве с *z* они озвончаются. Ср.: непереходн. *szaxwejt* «я шью (вообще)» («занимаюсь шитьем») и переходный *izzaxwejt* «я шью то» [9].

Таким образом, заключение о невозможности в абазинском языке озвончения личных показателей перед сонантами, опирающееся на отсутствие корреляции по звонкости у сонантов, не отражает действительного положения вещей. Приведенная автором глагольная основа, содержащая сонант *n*, потому не может вызвать озвончения личных показателей, что упомянутый глагол является непереходным, и перед сонантом *n* стоит не показатель субъекта переходного глагола, а показатель косвенного объекта; следовательно, здесь игнорируется и другое основное условие озвончения — непосредственная постановка личных показателей перед корневой согласной.

Если бы названная глагольная форма была бы фиксирована У. Алленом с полным соблюдением гласных компонентов, она должна была бы выглядеть как /dsan̥q°a̯q°d/, а не /dsn̥q°aq°d/. Иначе говоря, между показателем 1-го лица *s* и сонантом *n* должен стоять префикс косвенного отношения *a*. Таким образом, эта глагольная форма в качестве иллюстрации для установления закона озвончения личных префиксов (вообще и, в частности, способности сонантов вызвать озвончение) в абазинском языке не может быть использована.

На деле показатели субъекта переходного глагола при их непосредственной постановке перед начальной корневой звонкой (как перед шумными звонкими, имеющими корреляцию по звонкости, так и сонантами, не имеющими такой корреляции), озвончаются. Например, глагол *a-lagara* «молоть» по конструкции является лабильным глаголом. В нем сонант *l* может вызвать озвончение личных показателей, если глагол выступает в переходном варианте: абх. *izlagojt*, абаз. *izlagit* «я молочу то»; ср. непереход. *slagojt*/*slagit* «я молочу» («занимаюсь молотьбой») [10]. Точно так же в переходном глаголе *a-wra* «делать» сонант *w* озвончает личные префиксы субъекта, например, абх. *izw*/*w*/*ejt* «я делаю то».

В абазинском и абхазском языках вообще весьма редки случаи, чтобы были соблюдены все условия для озвончения личных префиксов (т. е. глагол являлся бы переходным и в качестве начальной корневой согласной выступал бы сонант) [11]. Правда, довольно часты переходные глаголы с начальным сонантом *r*-(/*l*-/) типа *a-raš°ara* «прополка; прополоть», которые не могут вызывать озвончения показателя субъекта переходного глагола, но это объясняется тем, что сонант *r*- в этих глаголах не является к о р-

[9] Подобного рода факты иногда объясняют тем, что в первом случае процессу ассимиляции мешает огласовка, характерная для аффиксов ряда номинатива. См.: Г. В. Рогава, Озвончение личных префиксов перед сонантами в глаголе абхазско-адыгских языков, «Иберийско-кавказское языкознание», XVII, 1970, стр. 161 (на груз. яз., резюме на русск. яз.). Заметим, однако, что гласный *ə* под действием ударения обычно редуцирован.

[10] Именно основываясь на примере неозвонченной личной формы этого глагола *yslagád* «я смолол то», У. Аллен заключает, что сонант *l* не может озвончать личные префиксы (указ. соч., стр. 147, примеч. 2). Такая, с неозвонченными личными префиксами, исходная форма этого глагола, возможна; однако более распространенными являются озвонченные формы типа *izlagad*/*t*.

[11] Отклонения от этой нормы могут иметь место в некоторых заимствованных позже глагольных формах.

невым элементом основы. Это префикс, и хотя уже окаменелый, но в языковом восприятии поныне ощущается его непринадлежность к корневой части глагола.

Помимо непереходного *dsanq°aq°d/dsn'q^{w}aq^{w}d/*, где к тому же показатель лица *s* непосредственно и не мог встретиться с сонантом *n*, в абазинском и абхазском языках имеется явно переходный глагол с начальным сонантом *n*, перед которым непосредственно ставится показатель субъекта, но озвончения тем не менее не происходит. Это глагол *a-nəh°ara*, в абхазском имеющий значения «благословлять, поздравить» (с различными превербами), в абазинском —«клясться; поздравлять».

Может показаться, что сонант *n* действительно не способен вызвать озвончения; но в этом случае уже недостаточно простого описания факта. Для того чтобы понять, почему в данном случае не осуществился процесс озвончения личного префикса субъекта переходного глагола, необходимо рассмотреть происхождение и состав этой глагольной основы. Выясняется, что и в этой основе переходного глагола *n* не является корневым элементом глагола: в качестве глагольного корня здесь выступает *h°a* «говорить», а *n* является остатком именной основы, тесно связанной с упомянутым глаголом. Можно предполагать, что это было имя *a-nə́xa*, поныне имеющееся в абхазском языке в значении «икона; образ». Путем соединения его с глагольной основой *h°a-ra* образовалась сложная глагольная основа * (*a*)*nə́xa* + *h°ara*, которая под влиянием ударения претерпела обычные для этих языков фонетические процессы (особенно характерные для композитных образований): выпал безударный гласный *a* в первой части основы [*(a)-nə́xh°ara] и произошло упрощение комплекса *xh°* > *h°*, в результате чего образовался глагол *a-nə́h°ara*, букв. «икона + говорить», т. е. «клясться; благословлять; поздравлять». Такое происхождение основы этого глагола подтверждается данными абазинского языка, в котором поныне сохранился способ раздельного употребления этих двух слов в качестве устойчивого словосочетания: *nə́xa jh°aṭ* «поклялся; клятву дал», букв. «клятву сказал».

Следовательно, и в переходном глаголе *a-nə́h°ara* показатель субъекта не может озвончать *n* не потому, что *n* является сонантом, а потому, что *n* не принадлежит корню глагола.

Основываясь на разобранных примерах, заключаем, что способ озвончения сонантами субъектных личных показателей переходного глагола можно использовать в качестве критерия при уяснении вопроса, относится тот или иной сонант к корневой части глагола или же нет.

В концепции У. Аллена весьма своеобразную квалификацию получил сонант *w* (в глаголе *a-wra* «делать»), вызывающий озвончение личных префиксов. В связи с этим отмечается: «...следовало ожидать, что мы здесь рассмотрим полугласную артикуляцию, но нам встретился только один случай, когда показатель P_2 непосредственно предшествовал полугласному началу корня, и в этом случае он был звонким *ywzə́zwraya* „что я должен тебе сделать?“ ...если другие примеры превратят этот случай в общий закон, нужно будет *ç^{w}* [хф] *ç$^{(w)}$* [ç] (имеются в виду среднеязычные спиранты *x'*, *x'°*.— *К. Л.*) интерпретировать как *ŷ/ŵ*, что создает „коррелятивные пары“ с *y/w*» [12].

Как видим, найден пример, в котором перед сонантом *w* произошло озвончение личного префикса, однако, для подтверждения положения о релевантности и «дистинктивности» звонкого характера сонанта *w* автору понадобилось в качестве коррелятивных пар к сонантам *j*, *w* принять спиранты *x'*, *x'°*.

[12] W. S. Allen, указ. соч., стр. 147, примеч. 3.

Ввиду того, что в этих языках нет других случаев, когда бы сонанты *w* и *j* выступали в качестве начальных корневых согласных переходного глагола, приведенный единственный случай озвончения личных префиксов перед сонантом *w* (в глаголе *a-wra*) уже сам по себе имеет силу закона. Что же касается среднеязычных спирантов *x*ˁ и *x*ˁ°, то они в абазинском усвоены из адыгских языков и встречаются исключительно в заимствованных словах, не являясь принадлежностью фонологической системы абазинского языка и не создавая здесь никаких корреляций.

Еще более существенно то, что в абхазском языке вовсе нет (даже и в заимствованных адыгских словах) спирантов *x*ˁ, *x*ˁ°, тем не менее сонант *w* (в глаголе *awra* «делать») таким же образом вызывает озвончение личных показателей, как в абазинском.

Что касается корреляции самих адыгских среднеязычных спирантов *x*ˁ, *x*ˁ°, то коррелятами их считаются соответствующие звонкие варианты, из которых в настоящее время адыгские языки располагают только нелабиализованным *γ*ˁ (например, в слове *adəγˁă* «адыг»); так что корреляцию *x*ˁ, *x*ˁ° с *j*, *w* нет оснований предполагать в самих адыгских языках.

Таким образом, ни в абазинском, ни в абхазском языках сонанты обычно не озвончают предшествующих придыхательных согласных, чем и отличаются от шумных звонких (хотя следует заметить, что вообще процесс озвончения в этих языках не является распространенным и в соседстве с шумными звонкими согласными); что же касается показателей субъекта (придыхательных спирантов) переходного глагола при непосредственной постановке их перед корневой звонкой, то сонанты так же вызывают их озвончение, как и шумные звонкие.

По существу обсуждаемый вопрос исчерпывается сказанным, однако процесс озвончения придыхательных согласных перед сонантами представлен и в других родственных языках (убыхском, адыгских, картвельских).

Так, в убыхском языке, где сонанты также не имеют корреляции, они могут вызвать озвончение личных показателей: *azlan* «обманываю», *azjan* «мажу», *azwəçˈən* «краду» [13].

В адыгских языках, несмотря на то, что фонологический статус сонантов одинаков, они различны в отношении способности к озвончению. Так, в адыгейском сонанты в противоположность шумным звонким обычно не вызывают озвончения стоящих перед ними личных префиксов; ср., с одной стороны, *zdəγă* «я сшил ⌜то⌝», а с другой — *swəxˈəγă* «я кончил ⌜то⌝», *qəšəsnaγ* «я оставил ⌜то⌝» [14]. В кабардинском языке личные показатели субъекта переходного глагола озвончаются и перед сонантами, например, *zwəx asˈ* «закончил ⌜то⌝», *zjasˈ* «я смазал ⌜то⌝», как это имеет место в абхазском и абазинском языках. В отличие от этих последних языков в кабардинском как перед звонкими согласными, так и перед сонантами озвончаются: а) личные префиксы субъекта также перед некорневыми звонкими согласными, в том числе и перед сонантами (например, *qă-z-mətxˈəw* «я не писав»), б) личные префиксы косвенного объекта даже перед префиксальными звонкими согласными, в том числе и сонантами, когда перед личными префиксами окажется какой-нибудь слоговой префикс (ср., с одной стороны, *ar să sjəγ°naγ°sˈ* «тот мой сосед», *sošă* «веду...», а с другой, *wă să wə-zjəγ̥naγ°sˈ* «ты мой сосед», *qə-zošă* «привожу», *qəzătˈ* «дай мне!»).

Иногда полагают, что в подобных случаях озвончение происходит

[13] См.: Г. В. Рогава, указ. соч., стр. 161—162.

[14] Примечательно, что в диалектах адыгейского языка представлена неодинаковая картина; в частности, в бжедугском диалекте личные префиксы не озвончаются и перед некоторыми другими звонкими.

благодаря интервокальной позиции личных префиксов, но выясняется, что озвончение вызывают сонанты — с одной стороны, *w*, предполагаемый перед дифтонгическим префиксальным *o* (< *wă*), и, с другой, *j*, предполагаемый перед префиксальным *ă* (< *jă*), когда слоговые префиксы, стоящие перед личными префиксами, создают условия для их более тесного контакта со звонкими согласными (в том числе и сонантами) [15].

Единая система сонантов в абхазско-адыгских языках весьма неединообразна в отношении способности сонантов вызывать озвончение рядом стоящих глухих согласных, что позволяет не считать эту способность сонантов связанной с наличием коррелятивных пар в названных языках. Вместе с тем неодинаковые возможности озвончения в этих языках весьма показательны при постановке вопроса об универсализации того или иного фонетического закона.

К подобным заключениям приводят и материалы картвельских языков, где система сонантов также не знает корреляции. Процесс озвончения глухих согласных в соседстве с сонантами не характерен для этих языков. Вместе с тем, например, в хевсурском, мохевском и мтиульском говорах грузинского языка в отличие от других его говоров происходит озвончение показателей 2-го лица субъекта и 3-го лица косвенного объекта *h* перед некоторыми шумными звонкими (например, *b*, *g*) и сонантами; в этой позиции *h*, озвончаясь, переходит в *γ* (например, *γmartebs* «он ему должен», *γlocavs* «он его благословляет», *γnaxe* «ты увидел») [16]. Подобное озвончение имеет место и перед гласными [17], в частности, перед корневыми (а не префиксальными) гласными [18].

Такое ограничение фонетического процесса в хевсурском говоре грузинского языка привлекает внимание в связи с рассмотренными фактами абхазско-адыгских языков; соответствующие факты хевсурского говора, надо думать, объясняются тем, что перед нами явления различной давности: показатель лица *h* перед префиксальными гласными уже был утерян, когда в хевсурском говоре стало развиваться озвончение личного префикса *h*.

Для сванского языка вообще не характерна ассимиляция по звонкости [19].

Что касается занского (мегрело-чанского) языка, то озвончение конечного *s* глагольных и именных форм происходит перед частицей *ja* в архабском, вицком и атинском подговорах чанского диалекта [20]. В текстах, опубликованных И. Кипшидзе, Арн. Чикобава, Ж. Дюмезилем, С. Жгенти и др. по указанным подговорам, были выявлены факты озвончения глухих согласных и перед другими сонантами на стыке двух слов, как, например: *heg* ***r****eni*? < *hek reni*? «там ли находится?», *hag* ***m****u gorum*? < *hak mu gorum*? «что тут ищешь?», *tiz* ***m****u gegidgin*? < *tis mu gegidgin*? «что у тебя [стоит] на голове?», *ǯebiz* ***n****a uγuṭu* < *ǯebis na uγuṭu*... «...что в кармане было у него...?», *mod* ***w****a ulur*? < *mot wa ulur*? «почему не идешь?» [21].

---

[15] Там же, стр. 165.

[16] См.: А. Г. Шанидзе, Субъектный префикс второго лица и объектный префикс третьего лица в грузинских глаголах, Тбилиси, 1920, стр. 157—167 (на груз. яз.).

[17] Там же, стр. 171.

[18] См.: А. Л. Чинчараули, Особенности хевсурского диалекта грузинского языка, Тбилиси, 1960, стр. 99 (на груз. яз., резюме на русск. яз.).

[19] См.: С. М. Жгенти, Основные вопросы фонетики сванского языка, Тбилиси, 1949, стр. 160—161 (на груз. яз., резюме на русск. яз.).

[20] См.: Арн. Чикобава, И. Кипшидзе и научное изучение чанского, в кн.: И. Кипшидзе, Чанские тексты, Тбилиси, 1939, стр. XXV.

[21] См.: С. М. Жгенти, Фонетика чанско-мегрельского языка, Тбилиси, 1953, стр. 114—118 (на груз. яз.).

Ясно, что и здесь озвончение могут вызвать сонанты, не имеющие корреляции по звонкости; расхождения в этом отношении наблюдаются не только между родственными языками, но и между говорами и подговорами одного языка.

То, что в рассмотренных языках сонанты обычно не вызывают озвончения глухих согласных в непосредственном соседстве, объясняется не тем, что сонанты не имеют корреляции по звонкости, а той хорошо известной особенностью, что в них, наподобие гласных, преобладает сонорность. В этой связи весьма показательно установленное в кабардинском языке озвончение сонантами личных префиксов независимо от того, будут они субъектными или объектными, в том случае, когда перед ними стоит какой-нибудь слоговой префикс. Благодаря постановке перед личными показателями любого слогового префикса связь между личными префиксами и сонантом глагольной основы становится более тесной, и в этой позиции, надо полагать, уменьшается степень сонорности сонантов, что и способствует процессу озвончения.

Этот факт фонетики кабардинского языка может пролить свет и на те случаи, когда в абхазском и абазинском языках озвончается только показатель субъекта переходного глагола. Обычно показатель субъекта переходного глагола стоит непосредственно перед корневым согласным, перед показателем же субъекта (если даже не считать других морфем) предполагается наличие слогового префикса ближайшего объекта. И здесь непосредственный контакт личного префикса с корневым сонантом глагола способствовал указанному процессу: понятно, что процесс озвончения развивался на базе прежде всего к о р н е в о г о согласного глагола, поскольку именно корневой элемент представлял собой п о с т о я н н ы й и н е м е н я ю щ и й с я компонент в глагольной форме. Это было как бы предпосылкой для озвончения (ассимиляции), однако осуществление самого процесса связано с ассимилятивными тенденциями, характерными для той или иной языковой единицы и проявляющимися по-разному в различные исторические периоды.

Вышеприведенные факты убедительно показывают, что и сонанты, лишенные корреляции в системе того или иного языка, могут вызвать озвончение предшествующих глухих согласных.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

Н. Г. МИХАЙЛОВСКАЯ

К ПРОБЛЕМЕ НОРМЫ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА

Как известно, развитие языка находится под постоянным воздействием экстралингвистических факторов; влияние этих факторов особенно усиливается в период общественных и социально-культурных сдвигов. Наиболее чутко реагирует на данное влияние лексический ярус языка. Экстралингвистическое воздействие на язык возрастает в современных условиях, в эпоху научно-технического прогресса. Об этом свидетельствуют работы, посвященные исследованию развития лексики современного русского языка [1].

Усвоение литературным языком новых слов, изменение и перераспределение значений, подчиняясь действующим нормам языка, в то же время изменяет самое норму и в количественном, и в качественном отношении. Р. А. Будагов пишет: «...возникновение новых дифференциальных признаков на любом ярусе языка, в любой его сфере, приводит не к уменьшению, а к увеличению числа категорий, форм, слов, которыми оперирует язык. Подобные единицы бывают не только количественными, но гораздо чаще качественными (число значений и оттенков значений)» [2]. Следует также принять во внимание, что вычленение отдельного изменения в системе языка на том или другом его ярусе в значительной степени условно, так как изменение на одном языковом уровне может вызвать изменение на другом уровне [3].

Нормативные сдвиги только тогда становятся нормативными, когда они усваиваются системой литературного языка в его функциональных разновидностях. Соотношение нормативности и функционального расслоения литературного языка [4] меняется исторически.

Динамическая подвижность нормы с наибольшей наглядностью и очевидностью обнаруживается в русском языке в его современном состоянии. Для каждой конкретной исторической эпохи развития русского языка категория нормы проявляется специфически. Ф. П. Филин, устанавливая непосредственную связь категории нормы с историческим раз-

[1] См., например: «Русский язык в современном мире», М., 1974, стр. 168 и сл.

[2] Р. А. Будагов, Определяет ли принцип экономии развитие и функционирование языка?, ВЯ, 1972, 1, стр. 21.

[3] Так, например, К. С. Горбачевич связывает семантические процессы с акцентными, морфологическими и синтаксическими явлениями, ср.: «Нивелирующее влияние речевого стандарта проявляется при конкуренции акцентных, морфологических и синтаксических вариантов слов... Стремление к дифференциации, действительно сопутствующее варьированию, в современном языке, как правило, ведет не к смысловому размежеванию, а к установлению лишь предпочтительного употребления, функциональному своеобразию вариантов» [К. С. Горбачевич, Литературно-традиционные нормы и речевой стандарт в современном русском языке, в кн.: «Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах (тезисы)», М., 1974, стр. 32— 33].

[4] См. об этом: Р. А. Будагов, Литературные языки и языковые стили, М., 1967; Н. Н. Семенюк, Из истории функционально-стилистических дифференциаций немецкого литературного языка, М., 1972; М. Н. Кожина, К основаниям функциональной стилистики, Пермь, 1968; Ф. П. Филин, О структуре современного русского литературного языка, ВЯ, 1973, 2.

витием литературного языка, указывает: «Постоянное внимание исследователей к языковой норме помогает правильному освещению истории того или иного литературного языка»[5]. Если за точку отсчета принимать современное состояние языка и идти «в глубь веков», то основные вехи нормативных изменений устанавливаются во взаимосвязи с главными этапами развития функциональной системы русского языка. Каждая эпоха имеет свои особенности и тенденции в развитии литературного языка; по-разному сочетаются, скрещиваются и взаимовлияют факторы экстралингвистического порядка и факторы собственно языкового литературного изменения. По-разному сказывается влияние художественного стиля, индивидуального стиля автора и в то же время по-разному претворяются в индивидуальном стиле общие и частные тенденции преобразования литературного языка. Наконец, различна роль разных функциональных стилей в становлении литературного языка.

Однако безразлично к тому или другому периоду категория нормы определяла обращение к той или иной функциональной разновидности языка при литературном изложении[6].

Если обратиться к русскому литературному (или книжно-литературному, как его чаще называют) языку старшего периода (XI—XIV вв.), то одна из основных особенностей его нормативности характеризовалась традиционностью генетических связей со старославянской письменностью и через их посредство с греческими текстами. Это обеспечивало семантическую и стилевую стабильность книжно-литературного изложения[7].

Общая устойчивость литературного языка на семантическом уровне проявляется в том, что слово в одном и том же значении употребляется в памятниках, относящихся и к XI, и к XII, и к XIII, и к XIV вв. Это, в первую очередь, относится к словам широко употребительным, использование которых наблюдается в памятниках самых разных жанров, в текстах и переводных, и оригинальных. Таково, например, употребление слова *бремя* в значении «ноша, кладь», *величие* в значении «высокое достоинство, слава», *двор* в значении «хозяйство (с людьми, с домом и нежилыми постройками)», *доспеть* в значении «приготовиться, собраться», *дружина* в значении «близкие слуги князя, составлявшие его постоянное войско», *жестокий* в значении «крепкий, твердый, жесткий», *живот* в значении «жизнь», *земля* в значении «народ какой-н. страны, люди, населяющие страну», *зло* в значении «беда, несчастье», *казать* в значении «приказывать, велеть», *крамола* в значении «междоусобная война, длительный военный раздор близких людей, народов» и т. д. Примеры могут быть продолжены[8].

---

[5] Ф. П. Филин, О языковой норме, в кн.: «Проблемы нормы в славянских литературных языках в синхронном и диахронном аспектах», стр. 3.

[6] Функциональная сторона древнерусского языка рассматривается Р. И. Аванесовым в плане сопоставления со строем языка: «История книжно-письменного (позднее литературного) языка состоит из двух дисциплин: истории строя языка и истории его употребления, функционирования. Если первая строится в соответствии с отдельными уровнями строя языка (фонология, флексия, лексикология и т. д.), то вторая членится по своим специфическим, чисто стилистическим, функциональным критериям, причем каждый ее отдел охватывает явления любых уровней системы языка. Первая — дисциплина по преимуществу структурная; вторая, непосредственно определяемая историей жанрово-стилистической дифференциации языка, значительно дальше выходит за рамки изучения языка как структуры и широко обращается... к внеязыковым факторам» (Р. И. Аванесов, К вопросам периодизации истории русского языка, в кн.: «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973, стр. 17—18).

[7] Это не противоречит тому факту, что древнерусский язык характеризовался сильной диалектной раздробленностью.

[8] См.: «Словарь-справочник „Слова о полку Игореве“», сост. В. Л. Виноградова, М.—Л., 1—1965, 2—1967, 3—1969, и др.

Вследствие этого свойства семантической стабильности лексики становится возможным составление единого словаря древнерусского языка в широких хронологических пределах XI—XIV вв. [9]. Семантическая стабильность может быть установлена бесспорно в том случае, если слово имеет достаточно частотное употребление в данном значении, прослеживаемое на протяжении всего указанного периода. Что касается менее частотных слов, то констатация факта их использования в том или другом значении на более ограниченном временном отрезке не может считаться объективным показателем их семантической устойчивости.

Чем же объясняется устойчивость значения слова в древнерусском языке? Для анализа причин семантической стабильности представляется весьма перспективной концепция Д. С. Лихачева о литературном этикете Древней Руси. Опираясь на наблюдения В. О. Ключевского и А. С. Орлова над постоянным употреблением ряда формул в агиографических текстах («житийные формулы») и воинских повестях («воинские формулы»), Д. С. Лихачев обобщает эти наблюдения и особо подчеркивает, что указанные формулы «постоянно встречаются вне житий и вне воинских повестей, например, в летописи, хронографе, в исторических повестях, даже в ораторских произведениях и посланиях. И это весьма важно, ибо не жанр произведения определяет свой выбор выражений, выбор «формул», а предмет, о котором идет речь. Именно предмет, о котором идет речь, является сигналом для несложного подбора требуемых литературным этикетом трафаретных формул» [10].

Вопрос о языковой характеристике ситуативной формулы в цитируемой работе не получает однозначного разрешения. С одной стороны, при перечислении главных признаков литературного этикета указывается и признак языковой, ср.: «Он (литературный этикет.— *Н. М.*) слагается: 1) из представлений о том, как должен совершаться тот или иной ход событий, 2) из представлений о том, как должно было вести себя действующее лицо сообразно своему положению, и 3) из представлений о том, какими словами должен описывать писатель совершающееся» [11]. С другой стороны, напротив, связь между ситуативной формулой и ее языковым выражением как будто устраняется, ср.: «Это трафарет ситуации, а не словесного ее выражения. Словесное выражение этого трафарета может быть различным, точно так же как и различных других трафаретов в описании собирания, выступления войска и нападения, в описании жизни святого — его рождения от благочестивых родителей, удаления в пустыню, подвигов, основания монастыря, благочестивой смерти и посмертных чудес» [12].

[9] Разумеется, проблема лексико-семантической стабильности еще требует своего специального освещения и разрешения на большом материале. Данный вопрос ставится Р. А. Будаговым в рецензии на «Проект словаря древнерусского языка XI—XIV вв.». «Весь вопрос в том, как понимать одну синхронную эпоху в жизни языка. Можно ли считать русскую лексику XI—XIV вв. лексикой „одной эпохи“? Авторы „пробного выпуска“ говорят о развитии словаря в эти столетия, следовательно, они учитывают его историческое движение. В этом случае логически последовательная группировка различных значений внутри отдельных слов по принципу „тесноты смысловой связи“ между значениями (стр. 80) часто приходит в столкновение с реальным функционированием слов в реальной жизни конкретного языка определенной эпохи. Известно, что историческая группировка значений нередко оказывается не только сложнее, но и менее последовательной по характеру наращивания значений, чем группировка, основанная на чисто логическом принципе — от более близкого к менее близкому» (Р. А. Будагов, Человек и его язык, М., 1974, стр. 191).

[10] Д. С. Лихачев, Литературный этикет древней Руси, ТОДРЛ, XVII, М.—Л., 1961, стр. 6.

[11] Там же, стр. 11.

[12] Там же, стр. 8. Эта же мысль повторяется автором и в работе «Система литературных жанров древней Руси» (см.: «Славянские литературы. V Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1963, стр. 50).

Само понятие трафарета предусматривает сходное смысловое содержание, единую смысловую основу. Это тем более неизбежно для ситуативного трафарета древней Руси, где осмысление событий, фактов действительности, характеристик личностей, ассоциаций с ветхо- и новозаветными сюжетами происходило через одну и ту же призму — через призму христианской догматики. Следовательно, и языковая форма ситуативного трафарета, единообразного по смыслу и содержанию, может иметь только такие отклонения, которые не изменяют ни смысла, ни содержания. Таким образом, выбор слов, на которые падает смысловая нагрузка, может колебаться между лексемами, сходными в своей понятийной основе, т. е. семантически близкими или тождественными. Это означает, что существовал некий трафарет языкового выражения с теми или другими возможными вариантными отклонениями.

Один из приемов лингвистического исследования ситуативных формул предлагается О. В. Твороговым: «Мы должны рассматривать в первую очередь традиционные ситуативные формулы (т. е. сходные по выбору фактов и композиции описания, фрагменты характеристик и т. п.), а затем изучать различные варианты словесных штампов (устойчивых словосочетаний), входящих в состав этих формул. Далее мы обозначаем термином „устойчивая литературная формула“ только ситуативную формулу, а входящие в ее состав устойчивые словесные штампы называем „устойчивыми словосочетаниями“. Такое разграничение совершенно необходимо, так как устойчивые литературные формулы довольно инертны, тогда как обслуживающие их устойчивые словосочетания, напротив, время от времени сменяются другими, отражая литературную манеру автора, редактора, школы и т. д.» [13]. Указанный подход, вероятно, может оказаться весьма целесообразным при изучении фразеологии древнерусского языка, но к исследуемым особенностям литературного изложения он имеет лишь косвенное отношение. Не говоря уже о том, что вариантность в устойчивых сочетаниях имеет особый характер и отличается от вариантности слов в свободных сочетаниях, следует учитывать и другой момент, а именно: то или другое устойчивое сочетание, характерное для одной формулы, может оказаться употребительным и вне ее. Так, например, устойчивое сочетание *святое крꙋщение* очень часто применяется в ситуативной формуле, используемой при констатации рождения или смерти князя, ср.: «родися у Всеволода князя великаго сн҃ъ. и нарекоша имя ему в стѣмь крꙋщнии Борисъ» (ЛЛ 137); «преставися кня(з̃) Володимер. наре(ч̃)ныи в стмъ крꙋщнии Дмитрии» (ЛЛ 155) [14]. Вместе с тем данное сочетание используется и при обращении к другим ситуациям, например: «Въсприялъ есмь святое крещение о(т̃) Грецьскаго царя» (Церк. Уст. Влад. по Син. сп.); «Крещение же святое творити сице»

[13] О. В. Творогов, Задачи изучения литературных формул древней Руси, ТОДРЛ, XX, М.—Л., 1964, стр. 32.

[14] В данной статье приняты следующие сокращения: ЛЛ — Лаврентьевская летопись 1377 г. по кн.: ПСРЛ, I, 1—2, М., 1961; ЛИ — Ипатьевская летопись ок. 1425 г. по кн.: ПСРЛ, II, М., 1962; ЛН — Летопись Новгородская (первая) по синодальному списку XIII — XIV вв. по кн.: «I Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку», изд. Археогр. комиссии, СПб., 1875; ГА — Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха по кн.: В. М. Истрин, Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе, I — Текст, Пг., 1920; СкБГ — Сказание о Борисе и Глебе по Успенскому сборнику XII в. по кн.: «Сборник XII в. Московского Успенского собора» I, под ред. А. А. Шахматова и П. А. Лаврова, М., 1899 («Чтения ОИДР», кн. II); ЧтБГ — Чтение о Борисе и Глебе, написанное Нестором в конце XI в. по списку Сильвестровского сборника XIV в. по кн.: И. И. Срезневский, Сказания о святых Борисе и Глебе. Сильвестровский список XIV века, СПб., 1860; Пч — Пчела XIV в. по кн.: В. Семенов, Древнерусская пчела, Сб. ОРЯС, LIX, 4, 1893; МолИлар — Каноник XIV в. ГБЛ, ф. 394 (Тр.-Серг.), № 254.

(Кипр. м. посл. Пск. дух. д. 1395 г.) [15]. Таким образом, характерность устойчивого сочетания для конкретной формулы не предполагает обратной зависимости, т. е. характерности данной формулы как контекста употребления для данного сочетания. При вычленении устойчивых сочетаний теряется специфика ситуативной формулы как приема литературного изложения.

Подчеркивая инертность ситуативной формулы и противопоставляя ее бо́льшей подвижности устойчивых сочетаний, О. В. Творогов допускает смещение двух качественно различных категорий: категории содержания и категории отдельной языковой единицы, имеющей лишь частное отношение к выражаемому в формуле содержанию.

Нужно принять во внимание и то, что степень устойчивости сочетаний в древнерусском языке в целом была значительно большей, нежели в современном, но при этом допускала бо́льшую лексическую и грамматическую вариативность. Подобные сочетания могут выделяться и безотносительно к устойчивым формулам, однако обязательной для них является опора на семантическое сходство. Так, значение «следовать определенным правилам, подражать кому-л. в образе жизни, образе мышления» могло выражаться различными сочетаниями, опорным словом которых является существительное *путь*, ср.: «взищете мене зли и не обрящете не всхотѣша бо ходити по путемъ мои(м҃)» (ЛЛ 57); «Да не прельстять тебе мужи неч(с҃)твии, не ходи в путь с ними» (Пч 1); «сн҃ве его Иоилъ и Авия не шествующе путемь его и въ добродѣтели его» (ГА 80б); «Улии же, събравъся съ еретикы, еретикомъ на путь своихъ о҃ц҃ь шествоваше» (ГА 232г).

Более целесообразным представляется такое изучение ситуативной формулы, при котором выделяются некоторые единства (отдельные предложения или несколько предложений, объединенных смысловой связью), передающие идентичное содержание, которые рассматриваются по параметрам языкового сходства и различия безотносительно к признаку устойчивости или свободы сочетаний их составляющих. Наиболее типовые, т. е. наиболее регулярно повторяющиеся, единства могут классифицироваться как маркированные по отношению к той или другой формуле. Так, например, ситуативная формула, используемая при описании убийства князя, обычно содержит сравнительный оборот со словом *звѣрь*. В языке летописей употребление этого оборота отмечено и в описании убийства Бориса: «и се нападоша акы звѣрье дивии около шатра и насунуша и копьи и прободоша Бориса» (ЛЛ 46); и в описании убийства князя Андрея: «вземьше оружье яко звѣрье дивии. пришедшимъ имъ к ложници. идеже бл҃жныи князь Андрѣи лежить» (ЛИ 207); изложение этого же факта в том же самом памятнике содержит указанное сравнение в несколько измененном виде: «поидоша на нь яко звѣрье свѣрьпии» (ЛИ 207). Данное сравнение применяется и при описании убийства князя Игоря: «они же устрьмиша(с҃) на нь яко звѣрье сверьпии» (ЛИ 128об.); и при убийстве князя Всеволода татарами: «онъ же яко свѣрпыи звѣрь не пощади уности его. велѣпредъ собою зарѣзати» (ЛИ 263об.); и при убийстве князя Михаила: «Батыи же яко свѣрпыи звѣрь возъярися повелѣ [и] заклати» (ЛИ 267об).

Выражая часть ситуативной формулы, рассматриваемое сравнение употребляется и в церковных текстах, излагающих обстоятельства гибели князей, «невинно убиенных». Так, оно отмечается в языке Паремийника 1271 г.: «и се нападоша аки звѣрие и прободоша бл҃жнаго бориса» (262, то же Пролог 1383 г. 123 а—б). Сравнения с указанным существительным

[15] Два последние контекста приведены по изд.: И. И. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка, I, СПб., 1893, стлб. 1350.

связываются прежде всего с фактом нападения, измены. Примечательно, что в языке летописей при описании военных действий используется главным образом сравнение *аки* (*акы*) *борове велиции*, применяемое по отношению к неприятельским военным силам. Здесь нет той экспрессивности, которая присуща сравнениям со словом *звѣрь*. Как элемент литературного изложения ситуативная формула сравнения со словом *звѣрь* не только передает оценку события, подчиненную моральному кодексу христианства, но в значительно бо́льшей степени отражает историческое общественно устоявшееся отношение к объекту (факту, событию, лицу). Как явствует из приведенных примеров, в данных конструкциях могут употребляться семантически близкие слова: *напасти — поити* (*на*) *— устрьмитися* (*на*); *дивии — свѣрьпии*. О традиционности употребления указанных конструкций в составе ситуативных формул свидетельствует тот факт, что они используются на протяжении веков: их употребление отмечено в составе летописных статей под 1015 г., 1175 г., 1147 г., 1237 г., 1245 г.

Ситуативная формула может применяться не только при описании обстоятельств и характеристик, но и при констатации (факта, даты). Так, например, в военных ситуативных формулах выделяются контексты, констатирующие исход сражения. Здесь наблюдается регулярное употребление конструкций, указывающих на результат военных действий, ср.: «и ту взя полонъ многъ» (ЛЛ 96об.); «и тако възвратишася со много (м̃) полоно(м̃)» (ЛЛ 99); «и вземъ полонъ многъ» (ЛЛ 100); «и многъ полонъ взяша» (ЛЛ 100об.) ;«они възвратишася со многы(м̃) полоно(м̃)» (ЛЛ 135); «полонъ многъ плѣниша» (ЛЛ 164 об.); «и придоша в Русь с полоно(м̃) велики(м̃)» (ЛЛ 94); «и полонъ многъ взялъ» (ЛИ 165об.); «и взя плѣнъ великъ» (ЛИ 249); «князь же Данилъ прия великъ плѣнъ» (ЛИ 259об.); «и великъ плѣнъ прия обратися во Владимѣръ» (ЛИ 260об.); «вземше полонъ великъ» (ЛИ 262); «Данилъ же возьма плѣнъ многъ вратися» (ЛИ 267); «великъ плѣнъ прияша» (ЛИ 268 об.); «приемше плѣнъ великъ» (ЛИ 274об.); «взя полонъ великъ» (ЛИ 275об.) и т. д.

Приведенные конструкции, характерные для языка летописей, своим содержанием констатируют два факта: 1) возвращение домой после сражения; 2) многочисленность пленных. Как постоянная единица в данном случае употребляется *плѣнъ/полонъ* (в двух огласовках). В ряде случаев констатируется только второй факт; передается он посредством сочетания указанной лексемы с глаголами *възяти* и *прияти*. В других случаях констатация многочисленного «полона» выступает как дополнительная характеристика возвращения после победы; в таких конструкциях используются глаголы *прити* и *възвратитися* (*обратитися*) с предложным именным сочетанием. В качестве варианта к *прияти* и *възяти* может использоваться и однокорневой с существительным глагол *плѣнити* («полонъ многъ плѣниша» ЛЛ 164 об.). В качестве определения к существительному *плѣнъ/полонъ* выступают синонимичные прилагательные *многъ* и *великъ* в тождественном значении «многочисленный». Вариантность в приведенных примерах создается предпочтительным употреблением одного из этих двух определений в сочетании с полногласной или неполногласной формой существительного: прилагательное *великъ* (*великыи*) главным образом относится к существительному в неполногласной форме (*плѣнъ*), тогда как прилагательное *многъ* (*мъногыи*) обычно определяет полногласную форму (*полонъ*).

К констатирующим формулам можно отнести и конструкции, обозначающие хронологию светских и церковных событий. Здесь могут употребляться названия дней недели, церковных праздников, дат, связанных с именем святого. Ср.: «въ дн̃ь ст̃го Николы» (СкБГ 21г); «внидохо(м̃) на ст̃го Бориса дн̃ь ис Чернигова» (ЛЛ 82); «бѣ же въ ст̃ую недѣлю» (СкБГ 11б); «и

бывшю дни сто въскр(с)нья Г(с)ня» (ЛЛ 151). Вариантность в данных обозначениях создается возможностью пропуска слова *дьнь* — своего рода лексико-семантическим стяжением, при котором непосредственным обозначением времени становится сочетание «*святыи* + имя собственное», ср.: «Бы(с) пожаръ во Володимери городѣ (...) в канунъ стою мч(к)у Бориса и Глѣба» (ЛЛ 138об.). Хотя данные обозначения характерны для оригинальных древнерусских текстов без какого бы то ни было жанрово-стилистического ограничения [16], своим корнями они уходят в византийскую традицию, ср.: «Церковные праздники рассматривались как основные вехи времени, как границы погодных периодов, как определяющие пункты начала и конца сельскохозяйственных работ — и тем самым человеческая жизнь как бы втягивалась в религиозный ритм» [17].

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что языковое выражение ситуативных формул было весьма сходным. В одних случаях могла видоизменяться грамматическая форма, в других — порядок слов (типа *вземъ полонъ многъ — многъ полон взяша*), в третьих одно слово заменялось другим, тождественным или близким по значению,— но все эти вариантные колебания находились в пределах, допускаемых системой древнерусского языка, и имели аналогии вне данной ситуативной формулы [18]. Однако в любом случае смысл и содержание ситуативного контекста оставалось неизменным. Норма древнерусского книжно-литературного изложения требовала регулярного воспроизведения языковых единиц, употребление которых было обусловлено характером и стилем контекста, чаще всего ситуативного.

Как нам представляется, именно языковое постоянство ситуативной формулы в целом служило одной из причин семантической стабильности древнерусской лексики. Существовала определенная соотнесенность контекста и значения слова, специфическая для древнерусского периода. Слово закреплялось за контекстом в одном из своих значений; в то же время ситуативный контекст существовал как готовое клише — своим содержанием, своей целевой направленностью он уже определял семантику той или другой лексемы.

Трафарет ситуативной формулы лежит в общем русле традиционности древнерусского книжно-литературного изложения, ср.: «Средневековый книжник... вменял себе в заслугу писать именно так, как писали об этом предмете его авторитетные предшественники, и чем ближе мог он следовать своим образцам, тем выше ценилось его мастерство» [19].

Опора на авторитет, прежде всего авторитет, освященный церковью, пронизывает книжно-литературный язык старшего периода. Она сказы-

[16] Исследователи отмечают, что названия церковных праздников для обозначения времени и сроков событий использовались и в языке грамот. См.: Г. А. Селиванов, Фразеология новгородских договорных грамот XIII—XIV вв. АКД, Саратов, 1953, стр. 18; Т. Ф. Алексеева, Лексика и фразеология южнорусских грамот XIV—XV вв. АКД, М., 1956, стр. 10.

[17] А. П. Каждан, Византийская культура, М., 1968, стр. 104.

[18] На языковую стабильность древнерусских контекстов указывает и В. В. Колесов, рассматривая некоторые особенности произведений Аввакума: «у Аввакума нет жанра со свойственным этому жанру стилем — у него есть контекст, который каждый раз требует своего лексического варианта. Принцип художественной речи Аввакума в целом продолжает древнерусскую традицию с ее безразличием к стилистической цельности текста, но с чрезвычайным вниманием к каждому отдельному фрагменту, который можно переставить местами или вынести в другой текст, но обязательно в том же словесном оформлении» (В. В. Колесов, Лексическое варьирование в литературном языке XVII в., «Вопросы исторической лексикологии и лексикографии восточнославянских языков», М., 1974, стр. 136—137).

[19] Т. Н. Кандаурова, К вопросу о традиционных словосочетаниях-штампах в древнерусских памятниках XI—XIV вв., «Вопросы языкознания и русского языка», М., 1970 («Уч. зап. МГПИ им. В. И. Ленина», 353), стр. 117—118.

вается в многочисленных ссылках, цитатах из ветхо- и новозаветных источников и поучений «отцов церкви», в аналогиях, ассоциациях и уподоблениях древнерусской действительности событиям, излагаемым в священном писании. Весьма показательны в этом отношении сравнительные обороты, имеющие своим источником библейские тексты. Данные обороты выполняли двоякую функцию, и их можно разделить на две разновидности. К первой относятся библейские цитаты, чаще всего в составе поучений, обращенные к пастве вообще, безотносительно к конкретному лицу, например: «аще ли призриши на на (с̃) яростью г(с̃)и[ищезнемъ яко утреняя роса» [МолИлар 55 (Псалтирь 133.3)]. Ко второй относятся библейские цитаты, главным образом в составе летописей и житий, используемые в данном случае, по отношению к данному конкретному лицу или факту, например: «неч(с̃)твыя и поганыя... проливающа кровь хр(с̃)тьянскую акы воду» [ЛН 140—140 об. (Псалтирь 78. 3, Плач Иеремии 3.48)]; «тако свѣтящеся акы двѣ звѣздѣ свѣтлѣ посредѣ темныхъ наричаю же бориса и глѣба [ЧтБГ 8б (Книга пророка Даниила 12.3)]. Заимствования второго типа, на наш взгляд, представляют наибольший интерес. Они служили не только для оценки происходящего. Их идеологическая функция была гораздо значительнее: этим приемом древнерусский автор хотел подчеркнуть ситуативно-тематическое тождество древнерусской действительности и ветхозаветного прошлого, усилить, повысить значимость того или другого события или конкретного лица.

Для древнерусского книжника основным источником ссылок служили греческие канонические тексты. Параллели, устанавливаемые текстологическим сопоставлением, достаточно убедительны [20]. В аспекте нашего исследования вопрос можно поставить шире и устанавливать не столько контекстное цитирование, сколько усвоение греческой средневековой (византийской) манеры книжно-литературного изложения. А. П. Каждан пишет: «Традиционализм лежал ...в самой основе христианского мировоззрения, и человеческая мысль с самого начала ориентировалась не на творчество, но на преклонение перед авторитетом. „Не люблю ничего своего“,— этот девиз, провозглашенный Иоанном Дамаскином, характерен не для него лично, но для всего средневекового мышления. Апелляция к авторитету казалась в ту пору более существенной, чем апелляция к разуму: в пересказе чужого, но благочестивого сочинения усматривали не плагиат, а немалую заслугу; цитата представлялась наиболее могущественным аргументом в споре» [21].

Таким образом, стабильность нормы русского языка старшей эпохи определялась целым рядом причин, среди которых оказывались и собственно языковые факторы, и специфика литературного изложения, и генетические связи с византийской канонической литературой.

Но были ли эти факторы достаточными для создания прочного барьера, препятствующего явлениям живой действительности, которые могли бы поколебать установившуюся норму книжно-литературного изложения? Эти явления обычно представляют собой факты общественного, военно-политического, экономического и социально-культурного порядка. Разумеется, в соответствующей временной и общественной модификации такого рода факты были и в древней Руси. Народные возмущения против феодального засилья в Киеве, Новгороде, Полоцке, Смоленске, Галиче Южном, во Владимире на Клязьме являются яркими событиями исторической жизни того времени и свидетельствуют о росте политического

[20] См., например: А. А. Шахматов, Повесть временных лет, I — Вводная часть. Текст. Примечания, Пг., 1916; Е. М. Верещагин, Из истории возникновения первого литературного языка славян, М., 1971—1972.

[21] А. П. Каждан, указ. соч., стр. 105.

значения древнерусских городов [22]. Эпоха Древней Руси знаменуется длительной борьбой с враждебными соседями (татаро-монголами, половцами, шведами, немцами, литовцами). В то же время многообразные международные контакты Руси, укрепляемые через дипломатические каналы и поддерживаемые родственными связями, находили особенно широкий выход в торговых отношениях: с арабскими странами, Византией, с Западной Европой (Моравия, Чехия, Польша, Южная Германия) [23].

Таким образом, в эпоху древнерусского книжно-литературного языка не было недостатка в экстралингвистических факторах, способных так или иначе повлиять на самый язык. Однако это влияние в подавляющем большинстве случаев относится к некоторым лексическим заимствованиям, словам, имеющим конкретное значение [24]. Что же касается воздействия экстралингвистических факторов на собственно книжно-литературное изложение, то в данную эпоху оно не было сколько-нибудь ощутимым. Факт действительности становился фактом книжно-литературного изложения, но при этом явления живой действительности, находя свое отражение главным образом в летописях и грамотах, не оказывали влияния на манеру и стиль этого отражения. Описания сражений, посольских переговоров, городских смут, разделенных подчас не десятилетиями, а веками, производились почти идентичными языковыми средствами.

Данное явление нельзя объяснить исключительно опорой на авторитетность церковно-книжной традиции. Видимо, уже на древнерусской почве сложилась своя традиция — хотя бы в изложении светских событий,— которая базировалась не только на ассоциативной связи факторов, но и на воспроизведении формы изложения этих фактов. Авторитетность «экстралингвистическая» становится тем самым авторитетностью собственно лингвистической и определяет складывание этой традиции, пронизывающей древнерусский язык во всем его функционировании.

Все эти явления, наблюдаемые в книжно-литературном языке, на наш взгляд, обусловлены более общей причиной. Между письменным языком, или, точнее, письменным текстом, и окружающей действительностью не было столь органической и тесной связи, какая возникла впоследствии. Сама сфера создания текста принадлежала к духовной области человеческой деятельности, а духовная область в то далекое от нас время была нечто качественно иное, чем реальная жизнь, в которой человек трудился, воевал, страдал и радовался. Вероятно, в силу этого внешние по отношению к языку факторы и не могли оказывать того воздействия на языковое развитие и языковую норму, какое они оказывали в дальнейшем и оказывают в настоящее время.

---

[22] См. об этом: М. Н. Тихомиров, Древнерусские города..., стр. 197—212.

[23] В Регенсбурге в конце XII в. существовала даже «специальная категория купцов, торговавших с Русью,— „рузарии“» (см.: «Очерки истории СССР», ч. 1, М., 1953, стр. 343).

[24] См., например: сб. «Тюркизмы в восточнославянских языках», М., 1974. В. Д. Аракин пишет здесь: «...существенную помощь могут оказать критерии экстралингвистические, и в первую очередь учет исторической эпохи, исторических условий, связанных с рассматриваемым словом. Так, появление в русском языке слова *алый* может быть отнесено только ко времени русско-золотоордынских связей, в частности ко второй половине XIII в., когда на Руси появились ханские ярлыки, данные русским князьям и митрополитам, скрепленные красной ханской печатью» (В. Д. Аракин, Тюркские лексические элементы в памятниках русского языка монгольского периода, стр. 114).

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

НОВЫЕ РАБОТЫ О ДИАЛЕКТАХ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ В СССР

На территории Советского Союза имеются представители почти всех ветвей индоевропейской семьи языков, причем некоторые из них распространены преимущественно в нашей стране. Поэтому ясно, какое значение для науки имеют материалы, поступающие из индоевропеистских исследовательских центров. В последнее десятилетие в Риге, Вильнюсе и Душанбе изданы систематические собрания диалектных текстов [1].

Ценность рецензируемых книг, разных по своему характеру и назначению, в том, что они дают широким кругам языковедов возможность ознакомления с труднодоступными или впервые публикуемыми материалами; представляют новые лингвистические факты индоевропеистам, все чаще обращающимся от традиционных литературных языков к живым диалектам; предлагают лингвистической типологии такие тонко структурированные и интересные системы и субсистемы, как, например, жемайтийские интонационные схемы, факты акцентологического и морфологического строя чрезвычайно оригинальных тамских диалектов или разнообразие глагольных парадигм в различных таджикских диалектах. Рецензируемые книги дают новые материалы и для проблемы языковых контактов (в данном случае — латышско-литовских, литовско-белорусских, таджикско-узбекских, таджикско-памирских).

В период первоначального собирания существовали лишь описания отдельных литовских, латышских, таджикских диалектов, на основе которых были написаны предварительно-обобщающие труды, подводившие итоги определенному этапу накопления материала, а также ставившие задачи дальнейшей работы [2]. Следующей ступенью явилось создание обобщающих теоретических монографий [3]. В настоящее время, с появлением систематических сборников диалектных текстов, встает неотложнейшая задача исторической интерпретации собранных материалов в их совокупности и соответственной модификации реконструируемого праязыкового состояния.

Композиция рассматриваемых книг обусловлена, прежде всего, их назначением и характером материала: они делятся на главы по диалектам, на параграфы — по говорам и подговорам. Приведем вытекающие из расположения материала в в этих книгах классификации диалектов и говоров.

Литовский [4]

I. Жемайтийский:
1. Dounininkai.
2. Dūnininkai.
3. Donininkai.

[1] «Lietuvių kalbos tarmės», sudarė E. Grinaveckienė, A. Jonaitytė, K. Morkūnas, B. Vanagienė, A. Vidugiris; redagavo E. Grinaveckienė, K. Morkūnas, Vilnius, «Mintis», 1970 518 стр.; M. Rudzīte, Latviešu izlokšņu teksti, Rīgā, Pētera Stučkas Latvijas Valsts Universitāte, 1964, 108 стр.; М. Эшниёзов, Машғулиятҳои амалӣ аз шевашиносии тоҷик, Душанбе, чопи Университети давлатии Тоҷикистон ба номи В. И. Ленин, 1969, 280 стр.

[2] См., например: М. С. Андреев, Краткий обзор некоторых особенностей таджикских говоров, Ташкент, 1930; А. З. Розенфельд, Некоторые вопросы таджикской диалектологии, «Вестник ЛГУ», 1961, 7; J. Endzelin, Lettisches Lesebuch, Heidelberg, 1922; его же, Baltu valodu teksti, Rīgā, 1936; G. Gerullis, Litauische Dialektstudien, Leipzig, 1930.

[3] M. Rudzīte, Latviešu dialektoloģia, Rīgā, 1964; В. С. Расторгуева, Опыт сравнительного изучения таджикских говоров, М., 1964; Z. Zinkevičius, Lietuvių dialektologij, Yilnius, 1966.

[4] В качестве классификационного признака здесь использованы разные формы слов *dúona* «хлеб» и *pántis* «путы», которые приводятся в одном ряду с географическими пометами.

II. Аукштайтские:
1. Восточный: а) северные, б) вялюонские, в) южные.
2. Центральный.
3. Западный: а) puntininkai (восточные, центральные, западные), б) pantininkai, в) pontininkai.
4. Дзукский: а) западные, б) восточные.

Каждый из «поддиалектов» представлен параграфами по говорам отдельных пунктов; тем самым получается классификация более детализированная, чем та, которая была разработана З. П. Зинкявичюсом, «спускавшимся» лишь до бывших волостей. Приводятся также материалы по литовским говорам Белоруссии и Польши, словарь редких слов, а также карта расположения 704 пунктов.

Латышский

I. Говоры, испытавшие ливское влияние:
1. Курземские: а) глубинно-тамские, б) ближне-тамские.
2. Видземские: а) близкие к испытавшим ливское влияние, б) руиенские, в) близкие к центральным, г) типичные.

II. Центральные говоры:
1. Куронские.
2. Земгальские: а) курземские, б) близкие к аукшземским, в) анаптиктические, г) без анаптиксиса.
3. Видземские: а) близкие к аукшземским, б) типичные, в) близкие к испытавшим ливское влияние.

III. Аукшземские говоры:
1. Селонские: а) глубинные, б) ближние.
2. Не-селонские: а) западные, б) восточные.

Эта классификация близка к другой схеме, также предложенной М. Рудзите [5], хотя полностью с нею и не совпадает [там выделялось 16 говоров: А. Ливонский диалект: 1) глубинно-курземский, 2) ближне-курземский, 3) видземский, 4) говоры с ливонскими чертами, 5) говоры с куршским субстратом; Б. Среднелатышский диалект: 6) куронский, 7) земгальский, 8) говоры с земгальскими чертами, 9) видземский, 10) типичный среднелатышский, 11) говоры с верхнелатышскими чертами, 12) говоры с верхнелатышскими интонациями; В. Верхнелатышский диалект: 13) ближний, 14) глубинный, 15) селонский, 16) говоры с селонскими чертами]. Тексты также приводятся по отдельным населенным пунктам, а не по районам.

Таджикский

I. Северный: бухарский, самаркандский, пянджикентский, ленинабадский, канибадамский, исфаринский, ура-тюбинский, шахристанский, аштский, чустский, касансайский, риштанский, чирчикский.

II. Центральный: мастчинский, фальгарский, гисарский (каратагский, варзобский, собственно-гисарский, орджоникидзеабадский, яванский и колхозабадский говоры).

III. Южный: севернокулябский, южнокулябский, тагнобский, рогский, каратегинский.

IV. Юго-восточный: дарвазский, ванчский.

V. Сурхандарьинский: дарбандский, байсунский, шерабадский, сари-асияский.

VI. Кашкадарьинский: шахрисябзский, китабский, хардурийский, каршинский.

Эта схема следует за классификацией В. С. Расторгуевой [6]; обращает внимание тщательность анализа сурхандарьинского и кашкадарьинского материала. К юго-восточным говорам необходимо добавить бадахшанский [7], который, вероятно, делится на говоры в соответствии с ареалами памирских языков.

Таким образом можно видеть, что иерархическая структура приведенных классификаций неодинакова: трехступенчатая для таджикского, четырехступенчатая для литовского и латышского.

Три рецензируемые книги имеют различное назначение: книги М. Рудзите и М. Эшниязова — это в первую очередь учебные пособия (из них последнее — предназначенное для практических занятий по таджикской диалектологии), литовская антология — академическое издание. Назначением обусловливается объем книг и их строение. Так, в основных разделах литовской хрестоматии параллельно представлены диалектные и литературные тексты, здесь же дана теория классификации диалектов. Латышское издание в свою очередь интересно не только уникальными текстами, но и серией диалектных карт, удачно их дополняющих. Отличительная черта таджикского пособия —

[5] М. Рудзите, Диалекты латышского языка. АДД, Рига, 1966 (см. карту 1).

[6] В. С. Расторгуева, Опыт классификации таджикских говоров, в кн.: «Труды XXV Международного конгресса востоковедов», 2, М., 1963, стр. 296—304.

[7] А. З. Розенфельд, Таджикские говоры Бадахшана, Л., 1972.

это то, что наряду с большим количеством современных текстов даются тексты из старых записей, а также лаконичная, но продуманная система диалектологических упражнений. Все книги содержат библиографические разделы; литовское и таджикское издание включают и диалектные словари, естественно, различные по своему объему.

Каждая из трех книг содержит немало оригинальных, впервые публикуемых текстов. Так, в хрестоматии М. К. Рудзите приведен образец анценского подговора глубинно-тамского говора (из курсовой работы Э. Шваненберга «Описание прибрежного говора бывшей Анценской волости», ЛатГУ, 1958), вот фрагмент из него: *v^{i}enreĩz baruõn dęl͡s adbroûcs uz mũs ciêm. laĩkəm baruõn əm kâc bi pateîcs, ka Vil͡emeĩr meššârks pa doũʒ buk̃s šoũ* «Однажды сын барона приехал в нашу деревню. Вероятно, барону кто-то сказал, что лесник Вилемир слишком много коз стреляет».

В этом тексте обращает внимание характерное начальное ударение, например, в словах *v^{i}enreĩz*, *baruõn*, *adbroûcs*, своеобразное распределение слоговой интонации в словах *Vil͡emeĩr*, *buk̃s*. Слово *baruõn* подтверждает гипотезу М. К. Рудзите об архаичности «тамского» ударения [8] и, следовательно, об относительно недавнем закреплении ударения на первом слоге. Для разъяснения непрозрачных фонетических отклонений от литературного языка автором применен удобный прием: *adbroûcs* (*-tb-*), т. е. лит. *atbr^{0}*; *kâc* (*-ds*), т. е. лит. *kads*; *meššârks* (*-zs-*, *-gs*), т. е. лит. *mežsargs*.

Литовская антология содержит тексты ко всем 704 пунктам подготовленного к печати диалектологического атласа. В качестве образца приводится начало текста пикеляйского говора dounininkaiского поддиалекта жемайтийского диалекта; текст, записанный А. Гирдянисом в 1962 г. у информанта 1901 г. рождения, хранится в диалектологическом архиве института. Приведем следующий фрагмент: *givẽ·n^{a} gìr'ûo mûotin^{a} i turîei̯^{e}· dùkter^{i}s t'rìs, i dẹ̀d'lê· pagar'sî·nt^{a}s, gràž^{è}·s/kệi^{k}-kavalĩer'^{u} tẹ̃·n važ'ộus,— nègrĩ·š/i bọ̀.u̯^{a}ı'rĩ·s brûolê·* «Жила в лесу женщина и имела трех дочерей, очень славившихся красотой. Сколько кавалеров туда ни ездило, (ни один) не возвращался. И было три брата».

На примере этого фрагмента видно, как много нового можно выявить для исследования диатопии литовского вокализма и просодики, морфологических вариантов и даже синтаксиса. К условностям, вызванным недостаточностью полиграфической базы, относится замена в хрестоматии надстрочных знаков знаками в скобках: *givẽ·n(a)*, *mûotin(a)*, *dùkter(i)s* и т. п.

Тщательное обследование нередко исчезающих таджикских диалектов за пределами Таджикистана — актуальная для иранистики задача, так как именно на окраинах таджикоязычного ареала сохраняется много своеобразного и архаического. В этих условиях интерес представляет публикация самаркандских диалектных материалов. В частности, в книге М. Эшниязова приводится прежде не публиковавшийся текст на самаркандском говоре северного диалекта (из фольклорных фондов АН ТаджССР, записан в 1923 г. И. И. Сухаревой у четырнадцатилетнего информанта): *soni b^{i}rinǰf^{u}rûš guft ki «buzat-a namef^{u}rûši-mi?» un kalča guftas: «ha, mef^{u}rûšam».— «čam pul?» guft.— «yak iškamam-a ser kuned a b^{i}rinǰ!»* «Затем продавец риса спросил: „Ты не продашь ли свою козу?“ Тот лысый отвечал: „Да, продам“,— „Почем?“, спросил.— „Наполни разок мой желудок рисом!“».

То, что хрестоматия таджикских диалектов целиком переписана рукой составителя и издана как старый «чопи сангӣ» (литография) на ротапринте, не уменьшает ее ценности; такой метод исключает опечатки, вызываемые сложностью набора. Книга М. Рудзите изготовлена офсетным способом. Литовская же антология — выдающееся произведение полиграфического искусства.

В настоящее время исследование диалектов достигло того уровня, когда необходимо печатание диалектологических атласов. Возникает вполне реальная перспектива того, что весь индоевропейский ареал будет покрыт подробными региональными атласами.

Л. Г. Герценберг

[8] M. Rudzīte, Par uzsvara vietu salikumos tāmnieku izloksnēs, «Baltistica», VI, 1, 1970.

«Otázky slovanské syntaxe», III. Sborník symposia «Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích». Brno 27—30 září 1971. Universita J. E. Purkyně. —Brno, 1973. 399 стр.

Сборник «Вопросы славянского синтаксиса. III» содержит материалы третьего международного симпозиума по вопросам синтаксиса в Брно. Такие симпозиумы Брненский университет организует начиная с 1961 г. через каждые пять лет. Эти симпозиумы — заметное явление в развитии науки о синтаксическом строе славянских языков. Первый симпозиум (1961) был посвящен общим теоретичес-

ким, программным и методологическим вопросам изучения славянского синтаксиса в историческом, сравнительно-историческом и типолого-сопоставительном аспектах. Его материалы составили сборник «Otázky slovanské syntaxe», Praha, 1962. На втором симпозиуме (1966) обсуждался вопрос о структурных типах славянского предложения и их истории (см. «Otázky slovanské syntaxe», II, Brno, 1968). Предметом обсуждения на третьем симпозиуме (1971) был вопрос о модальности высказывания, интерес к которому, не затихавший никогда, в последнее время особенно оживился. В выборе этой проблемы проявилась внутренняя логика деятельности брненских симпозиумов, обсуждающих центральные синтаксические проблемы, закономерно переходящие одна в другую: рассмотрение понятия структурного типа предложения в разных планах и прежде всего в парадигматическом на втором симпозиуме с неизбежностью привело к проблеме модальности.

Материалы рецензируемого сборника сгруппированы в три части: 1) общие вопросы модальности предложения (стр. 13—173), 2) модальность предложения в славянских языках (стр. 175—293), 3) исторический, сравнительно-исторический, диалектологический и стилистический аспекты проблемы модальности предложения (стр. 295—386). Это деление, как справедливо отмечают в своей вступительной статье редакторы, в значительной степени условно: большинство материалов, вошедших в первую часть, содержит не только общетеоретические положения (определение модальности, ее характеристика с семантической, логической, собственно синтаксической точек зрения, отношение модальности к другим семантическим и синтаксическим явлениям, классификация средств выражения модальности и под.), но и конкретные наблюдения, характеризующие какие-то стороны механизма модальности в тех или иных славянских языках. И, напротив, в большинстве материалов второй и третьей части сборника рассматриваются и общетеоретические вопросы.

Сборник открывается обзором современного состояния учения о модальности славянского предложения, сделанным С. Жажей. С. Жажа характеризует область модальности в ее современном понимании как «весьма сложный комплекс вопросов, который разными исследователями понимается и интерпретируется поразному» (стр. 15) и утверждает, что в «настоящее время нельзя говорить ни о каком единстве в понимании модальности и ни о какой общей методологической базе изучения модальности» (там же). Эту оценку нельзя не признать вполне реалистической. Материал сборника в целом — яркое свидетельство ее справедливости.

Обзор С. Жажи хорошо дополняется содержательным докладом Р. Зимека «Модальность высказывания и ее глубинная структура», в котором показаны некоторые пути толкования модальности в генеративной грамматике. Автор стремится найти и акцентировать такие положения, которые сближают генеративную грамматику с традициями чешского и вообще славянского языкознания и с его современными идеями.

Другие материалы первой части сборника (а также в значительной мере и двух последующих) содержат различные попытки вычленить круг явлений, который объединяется понятием «модальность предложения», определить его и показать, какую внутреннюю организацию он имеет. Полнее всего представлено, разумеется, то понимание модальности, которого придерживаются опирающиеся на национальную лингвистическую традицию синтаксисты Чехословакии, выступившие на симпозиуме, судя по материалам сборника, в основных положениях единодушно.

Теоретические позиции хозяев симпозиума, брненских синтаксистов, нашли наиболее яркое выражение в докладе М. Грепля «О сущности модальности», который вслед за обзором С. Жажи открывает первую часть сборника, а также в докладе Р. Мразека «Дифференциация славянских языков в сфере модальности», открывающем вторую часть сборника. Отметив комплексность понятия «модальность», М. Грепль выделяет в нем три аспекта: общую модальность, волюнтативную модальность и модальность достоверности. Общая модальность конститутивна для высказывания, волюнтативная модальность и модальность достоверности факультативны, они могут быть и не реализованы в высказывании. Общая модальность основана на том, что «говорящий дает грамматическому образцу предложения (větnému vzorci) при его реализации в речи статус сообщения, вопроса, побуждения или желания» (стр. 23), в результате чего возникает высказывание одного из четырех возможных типов, различающихся по виду общей модальности: повествовательное, вопросительное, побудительное или желательное (оптативное). Волюнтативная модальность — это выражаемые преимущественно лексически значения необходимости, возможности и и намерения (стр. 29). Она может присутствовать в повествовательных, вопросительных и желательных предложениях и исключена в побудительных (потенциальная возможность высказывания типа *А ты захоти и смоги сделать это* выражать волюнтативную модальность во внимание не принимается). Модальность достоверности (персуазивная) определяется как выражение убежденности говорящего в реальности содержания его высказывания (стр. 34; ср. понятие субъективной модальности в современных работах советских русистов).

М. Грепль решительно отделяет от системы модальных значений разного рода эмоциональные оттенки, а также утверждение и отрицание. В последнем с ним не согласны П. Адамец и Р. Мразек, включающие в рамки модальности отрицание, а также Ч. Бартула и М. Затовканюк, считающие модальность и эмоциональность категориями, неразрывно связанными между собой и комплексно представленными во многих явлениях, свойственных славянским языкам. В остальном же позиция М. Грепля типична для синтаксистов Чехословакии. Основные положения, высказанные в его докладе, разделялись почти всеми его соотечественниками, чье участие в дискуссии по общим вопросам учения о модальности отражено в рецензируемом сборнике (см. доклады и выступления Р. Мразека, В. Скалички, Я. Светлика и др.), а также многими учеными из других стран (см. доклады и выступления Б. Панцера — Мюнхен, И. Молнар — Будапешт, П. Рестана — Осло, Ч. Бартулы — Краков и др.).

Это направление кладет в основу понятия модальности коммуникативное намерение говорящего. Отсюда вытекает, что носителем модальности является предложение не как формальная структура, а как коммуникативная единица, т. е. в ы с к а з ы в а н и е (ср. название симпозиума), а основной оппозицией внутри категории модальности предложения выступает противопоставление повествовательности, вопросительности, побудительности и желательности.

Этому широко и разнообразно представленному на симпозиуме направлению участники дискуссии противопоставляли другое понимание модальности, согласно которому она основана на оппозиции реальности/ирреальности и включается в предикативность, а следовательно свойственна п р е д л о ж е н и ю как формальной структуре. Это направление было представлено советскими работами. Оно нашло отражение в докладе Г. А. Золотовой «Модальность в системе предикативных категорий», излагающем известное по более ранним работам автора толкование основной модальности предложения как категории, входящей в предикативность, в отличие от других типов модальных значений, которые не являются компонентами предикативности.

Участники дискуссии хорошо знакомы с тем воплощением учения о модальности как компоненте предикативности, которое дано в «Грамматике — 70», и потому они часто обращались к обсуждению соответствующих положений этой книги (см. выступления Я. Попелы, Р. Мразека, Д. Станишевой и др.).

Я. Попела поддерживает выдвижение оппозиции реальность/ирреальность, так как она «действительно постигает сущность модальности в современном русском языке, а также, например, и в современном чешском» (стр. 159). Р. Мразек считает весьма плодотворным парадигматический подход к «синтаксическим наклонениям», осуществленный в «Грамматике — 70».

Оба направления, представленные на симпозиуме и отраженные в рецензируемом сборнике, различаясь в определении того, что является основой модальности предложения, по-разному выделив и определив эту основу, сходятся, однако, в том, что одинаково констатируют, что синтаксическая модальность, т. е. релевантные для синтаксиса значения, традиционно называемые модальными (а следовательно, интуитивно объединяемые по некоему признаку), и средства их выражения, представляет собой явление более широкое, чем то, что соответствует принятому определению. В результате возникает различение нескольких рядов модальных значений (ср. названные выше три вида модальности у М. Грепля; предикатная, диктальная и рематическая модальности у П. Адамца; три типа «модальных отношений» у Г. А. Золотовой; объективная и субъективная модальность в «Грамматике — 70»).

Ряды эти строятся по-разному (хотя известное соответствие и имеет место), но бросающейся в глаза общей чертой этих построений (отражающей, очевидно, современный уровень постижения данного объекта) является то, что теоретическая мысль не направлена на поиски связей и соотношений между разными видами модальности, которые, однако, рассматриваются в границах некоего общего явления — синтаксической модальности в широком смысле слова, получающего, таким образом, лишь суммарную характеристику.

Зато на симпозиуме отчетливо выявилась тенденция рассматривать во взаимосвязи синтаксическую модальность и наклонение глагола. Мысль о связи между этими явлениями с большой остротой высказал В. Скаличка: «Модальность предложения явственно связана с модальностью глагола. Грубо говоря, то, что имеет силу для глагола, имеет силу и для предложения» (стр. 99).

Исследователь славянского сослагательного наклонения Б. Панцер в докладе «Модальность и наклонение в лингвистике» развивает идею о первичной релевантности наклонения глагола для синтаксической модальности и предлагает выделять виды синтаксической модальности на основе обобщения типологически различных систем глагольных наклонений. С ним солидарен Я. Попела, который считает, что «модальность в традиционном понимании является значением, выходящим за пределы морфологии (в ее выражении участвуют и лексико-синтаксические и интонационные средства), однако морфологизация должна быть указателем

ого, какие именно „модальные" значения стилизованы в конкретных языках как наиболее важные, она призвана способствовать различению отдельных значений, которые обычно подводят под понятие модальности, и подвести к сущности, respective к ядру модальности (к модальности в собственном смысле)» (стр. 159). Сходные мысли развивали Г. Горак и Й. Новотны.

Много внимания участники симпозиума уделили и другим средствам выражения модальных значений, в частности лексическим. В многочисленных докладах и выступлениях анализируются модальные глаголы и предикативы в отдельных славянских языках порознь или в сопоставительном плане (см., в частности, публикации Р. Ружички, Ф. Михалка, Й. Коренского, Е. Бенешовой, Р. Грегорчиковой, З. Масарика). Большинство участников дискуссии рассматривает лексические средства выражения модальных значений как факты синтаксического уровня. Наиболее четко эту мысль выразил Р. Мразек в заключительном слове, обобщающем рабочие итоги симпозиума: «... лексические средства нельзя игнорировать даже при рассмотрении модальности на синтаксическом уровне, по крайней мере не такие средства, которые: а) изофункционально взаимодействуют с грамматическими, б) являются носителями основных модальных значений воли, возможности и необходимости» (стр. 392).

Предметом обсуждения были (хотя и в меньшей мере) и функция незнаменательных слов, участвующих в формировании модальных значений: вводных слов, частиц, союзов (см. публикации И. Лекова, Й. Мистрика, Й. Бартошека, доклад Р. Мразека),— а также специфические модальные значения отдельных формальных классов (структурных схем) предложений (см. доклад М. Ивич, публикации О. Уличного, З. Тополинской, Х. В. Шаллера).

Отраженные в сборнике наблюдения над механизмом формирования и выражения модальных значений в славянских языках убедительно свидетельствуют о том, что между отдельными славянскими языками в этой области есть существенные различия, что делает сопоставительное изучение относящихся к этой сфере фактов актуальной задачей славянского языкознания, имеющей как теоретическое, так и практическое значение.

Из относительно частных, но существенных вопросов, обсуждавшихся на симпозиуме и представленных в сборнике, обращает на себя внимание вопрос о модальности сложного предложения. В ряде материалов сборника (см. публикации К. Свободы, Й. Седлачека, Й. Оравеца, В. Барнетовой, Й. Блажека) обсуждается своеобразие модального оформления придаточных предложений и его связь с модальными характеристиками главных предложений.

В некоторых материалах сборника (преимущественно входящих в третью его часть) содержатся отдельные наблюдения, относящиеся к истории способов выражения модальных значений в славянских языках, выдвигаются задачи и указываются пути изучения соответствующего славянского материала в историческом и сравнительно-историческом направлении (см. открывающий третью часть сборника доклад Ч. Бартулы «Проблематика модальности в старославянском и праславянском языках», публикации Р. Вечерки, С. Иванчева, К. Писарковой, Ф. Сверака, Л. Пацнеровой).

В статьях Й. Хлоупека, В. Барнета и Й. Скулины ставится вопрос о своеобразии модальных характеристик синтаксических построений, возникающих в живом коммуникативном акте и свойственных разговорной речи. К ним тематически и идейно примыкают немногочисленные материалы, содержащие наблюдения над сферой модальности в диалектах.

Статьи М. Елинека, Е. А. Иванчиковой и А. Стиха представляют опыты стилистических толкований некоторых модальных средств отдельных славянских языков.

В составе сборника есть две статьи, непосредственно не связанные с проблемой модальности и рассматривающие другие актуальные вопросы. Это доклад Н. Ю. Шведовой «О соотношении грамматических и семантических характеристик предложения» и доклад Й. Фирбаса «Замечание о роли темпоральных и модальных указателей личной формы глагола в актуальном членении». В докладе Н. Ю. Шведовой дается анализ смысловых типов (семантических структур) предложений, построенных по структурной схеме Inf cop Inf (*Простить значит забыть*), в соответствии с тем пониманием семантической структуры и той методикой ее анализа, которые известны из другой публикации автора [1]. В докладе Й. Фирбаса обсуждаются некоторые вопросы актуального членения, вытекающие из постулируемого автором понимания темы как «части высказывания, образованной элементами с наиболее низкой динамичностью высказывания, которые функционируют в качестве основания, на котором строится собственно сообщение» (стр. 139); в частности, как и в ряде предшествующих работ, констатируется семантическая комплексность личной формы глаго-

[1] См.: Н. Ю. Шведова, О соотношении грамматической и семантической структуры предложения, в кн.: «Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Доклады советской делегации», М., 1973.

ла и обусловленное ею разное отношение личной формы глагола к коммуникативному динамизму.

Таким образом, рецензируемый сборник интересен прежде всего тем, что он привлекает внимание к проблеме модальности во всех ее аспектах и показывает возможность разных направлений ее разработки.

В. А. Белошапкова

А. В. Суперанская. **Общая теория имени собственного.** — М., «Наука», 1973. 366 стр.

Для отечественной ономастики последнее десятилетие характеризуется не только накоплением эмпирических фактов и расширением диапазона изучаемых проблем, но и стремлением перейти от частных наблюдений к обобщающим теоретическим выводам. И, действительно, часто можно наблюдать, как отмечает автор рецензируемой монографии, что «чистая» наука еще не может дать тех выводов, которые необходимы науке «прикладной», и тогда «прикладники» обращаются к теории и разрабатывают ее. Именно таким путем шла А. В. Суперанская, известная своими работами по транскрибированию, акцентологии, морфологической структуре и грамматическим особенностям собственных имен. Издание монографии по теоретическим вопросам ономастики нужно рассматривать в ее творческой биографии как факт закономерный.

В книге «Общая теория имени собственного» рассматриваются проблемы семантики и стилистики имен собственных, определены принципы классификации имен и их функционирование в языке и речи, охарактеризован статус собственного имени как языкового знака. Решение теоретических вопросов ономастики требует четкого отграничения ономастики от других дисциплин, без которых, в то же время, она существовать не может. Это сделать нелегко, так как собственное имя всегда представлено одновременно в двух сферах: в языке и в обществе, и это отражается на многих определениях и характеристиках ономастических проблем. В книге последовательно доказывается, что ономастика как особая лингвистическая дисциплина оказывается связанной с комплексом гуманитарных наук, а также с науками о Земле и Вселенной. Все они, помогая выявить специфику именуемых объектов, а вместе с тем и статус имен, являются вспомогательными для лингвистики, методами которой проводятся ономастические исследования. В то же время лингвистика — это вспомогательная дисциплина для историков, географов, литературоведов, археологов и др., помогающая извлекать из анализируемых имен неязыковую (историческую, географическую и т. д.) информацию (стр. 35).

Таким образом, выход ономастики за пределы лингвистики осуществляется за счет экстралингвистических компонентов, которые обязательны для ономастики, а отсюда вполне закономерно рассмотрение связи ономастики с логикой, с историческими дисциплинами, географией, астрономией, социологией, литературоведением.

А. В. Суперанская развивает в монографии идею А. А. Реформатского о гипертрофированной номинативности собственных имен [1], подчеркивая, что непременным условием установления языкового статуса имени собственного следует считать знакомство с именуемым объектом (стр. 44). Эта идея получила в книге детальную разработку и привела в ходе исследования к новым теоретическим выводам.

Впервые в отечественном языкознании автором предложена последовательная история изучения имен собственных. При этом следует подчеркнуть, что А. В. Суперанская тесно связала проблему изучения имен собственных с историей общелингвистических теорий. Так, например, в разделе «Индивидуализация и обобщение» четко аргументировано, почему названия предметов, единственных в своем роде (*солнце*, *луна*, *небо*, *земля*), отнесены к нарицательным существительным. Выделяются такие признаки, как понятийность, наделенность полисемией, перенос на другие аналогичные предметы, допущение синонимии и антонимии, абстрагирование их основных черт (стр. 94—95). Эти критерии важны для разграничения имен собственных от имен нарицательных, а также при анализе случаев перехода имен собственных в нарицательные и имен нарицательных в собственные.

В разделе «Связь слова с понятием и предметом» (гл. II) автору удалось проанализировать отношения некоторых обобщенных категорий имен нарицательных и собственных с понятием и объектом и при помощи схем показать семантические процессы, наблюдающиеся при переходе имен собственных в нарицательные и имен нарицательных в собственные (стр. 122—135). Этот раздел имеет определенный интерес не только для специалистов по ономастике, но и для исследователей семантики.

---

[1] А. Реформатский, Введение в языковедение, М., 1967, стр. 60.

В III главе введен в научный оборот термин «ономастическое пространство», который позволяет членить имена собственные на своеобразные секторы, внутри которых выделяются отдельные зоны или поля. В зависимости от специфики денотатов автор выделяет антропонимы, топонимы, зоонимы, фитонимы, космонимы, астронимы, хрононимы, хрематонимы, мифонимы и др. Выделяется группа имен, которые занимают промежуточное положение между именами собственными и именами нарицательными и не включаются в ономастическое пространство. Это подтверждает мнение, что ономастическое пространство не замкнуто и что вполне возможно появление новых групп собственных имен в зависимости от увеличения важности тех или иных объектов или явлений в жизни человека.

Много внимания автор уделяет функционированию собственных имен в языке и речи (гл. IV). Решение этой проблемы, по справедливому замечанию А. В. Суперанской, связано с выяснением объема реального и потенциального словаря отдельного человека и языкового коллектива, определением реальности существования имен собственных в языке. Наблюдения показывают, что в ономастической лексике процент имен, активно употребляемых в данном языковом коллективе, значительно ниже, употребляемых в этом же коллективе апеллятивов, но именно «регулярное воспроизведение в общественном масштабе» и есть критерий, позволяющий массе людей, пользующихся данным языком, считать определенные слова именами своего языка (стр. 217). Собственные имена существуют в языке на правах цитат, но сама система собственных имен отличается от системы нарицательных имен не только составом лексем, но и моделями, в соответствии с которыми образуются имена. Жизнь собственного имени в языке и функционирование его в речи имеет принципиальное различие. В речи различных речевых коллективов постоянно возникают новые имена, часто «однодневки». В языке же имеется ограниченное количество активно употребляемых имен. Частотность имен, специфика их употребления в различные эпохи у разных социальных групп несомненно относится к исследованию на уровне речи, в то время как звуковые и морфологические изменения относятся к изучению на уровне языка. А. В. Суперанская в этой же главе имплицитно поддерживает мысль о том, что не только язык системен, но и речь также системна, хотя критерии определения системности в речи несколько иные.

Значительная часть монографии посвящена проблеме семантики собственных имен (гл. V). Это вполне правомерно, так как семантика собственных имен — область не только не исследованная, но и не определенная (стр. 255). А. В. Суперанской в этом аспекте потребовалось попутно (с критической точки зрения) рассмотреть целую группу лингвистических понятий, подчеркивая их специфику в ономастике. Кроме того, много внимания уделено раскрытию содержания таких понятий, как знаменательность, значимость, ценность, информация, значение, функция в приложении к имени собственному. В частности, представляется интересным утверждение автора (хотя с некоторыми оговорками), что наличие апеллятивного значения у имени собственного является интегральным, а не дифференциальным признаком.

Как интересную гипотезу следует рассматривать мысль автора, что имя собственное это — языковый знак, непосредственно соотнесенный с именуемым объектом. В отличие от А. А. Реформатского, А. В. Суперанская допускает определенную опосредствованную связь с понятием через «родовое определяемое», такое, как *город*, *река*, *юноша* и т. п. (стр. 266). Таким образом, у А. В. Суперанской эта связь для имени собственного выглядит так: «звуковой комплекс — вещь — понятие», в то время как у имен нарицательных такая связь непосредственная: «звуковой комплекс — понятие — вещь». Это позволило А. В. Суперанской сделать заключение, что имена собственные в некотором смысле более социальны, чем имена нарицательные.

Кроме чисто лексического компонента, в значение имен собственных входят экстралингвистические компоненты, в том числе эстетический, аффективный, морально- и социально-оценочный (стр. 266). Все это наблюдается в речи при соотнесении имени с денотатом. Но говоря о значении имени собственного, А. В. Суперанская всегда подчеркивает, что оно не равно понятию его апеллятива и никогда не ограничивается им даже в тех случаях, когда фонетически и морфологически с ним совпадает. Значение имени — фактор его известности, фактор общественно-исторический.

Характеризуя функции собственных имен (коммуникативную, апеллятивную, экспрессивную), автор подчеркивает параллельное функционирование имен собственных и нарицательных. Действительно, в языке у имен собственных нет своих особых грамматических функций: так же как и у имен нарицательных основной грамматической функцией собственных имен является выражение в предложении подлежащего и дополнения, а основной лексической функцией — номинация. Но кроме общности функций, можно выделить и специальные ономастические функции, которые свойственны всем собственным именам. К ним А. В. Суперанская относит функцию идентификации объекта, включающую в себя ряд подфункций: различение (дифференциацию), адрес (на-

хождение координат объекта), выделение, противопоставление, характеристику (описание).

По-новому, с учетом особенностей ономастики, А. В. Суперанская рассматривает такие явления, как омонимия, полисемия, синонимия и антонимия. Так, например, специфика омонимии собственных имен определяется их тесной связью с денотатом, а также закономерностями, вытекающими из распределения слов по лексическим полям. Если имена собственные принадлежат к разным полям (*город Бабушкин*, *курсант Бабушкин*), то они выступают как омонимы. Если же они принадлежат к одному полю (два человека по фамилии *Бабушкин*), то это два разных применения одного и того же слова.

Интересны наблюдения А. В. Суперанской о стилистике собственных имен. Она выделяет особые стилистические поля собственных имен внутри каждого подъязыка, что позволяет выделить нормы употребления имен собственных в каждом подъязыке. В основе стилистики собственных имен всех типов лежит ряд разнообразных факторов: языковых (арсенал специальных моделей для имен определенных типов; апеллятивное значение лексем, участвующих в именованиях, и др.), синонимические и омонимические ряды, логические группировки и т. д. Нарушение нормы ведет к своеобразной стилистической отмеченности имени собственного.

Книга содержит, с нашей точки зрения, и ряд спорных положений. Так, касаясь проблемы способности различных частей речи быть именем собственным, автор доказал, что «быть собственным именем» — это свойство, присущее и слову и предложению (стр. 109). В то же время в книге ставится под сомнение возможность субстантивации глагольных фраз типа *На всякого мудреца довольно простоты*, *Я шагаю по Москве* (стр. 112). С этим трудно согласиться. Во-первых, они выступают в предложении как самостоятельный член предложения, подобно существительным. Во-вторых, они ведут себя как неизменяемые простые собственные имена типа *Рабле*, *Балли*. В-третьих, *Я шагаю по Москве* как имя собственное денотирует один конкретный предмет — фильм. Для полной субстантивации совсем необязательно наличие словоизменительной и словообразовательной парадигмы.

А. В. Суперанская называет имена собственные лексической категорией, а не грамматической (стр. 105). Положение спорное само по себе. Кроме того, в работе приводятся примеры, которые свидетельствуют о стремлении имен собственных отделиться от нарицательных и грамматическими формами: *лев — львиный*, *по-львиному*, *Лев — Львов — львовский*; *любовь — любви*, *Любовь — Любови*.

Утверждение о том, что объект, именуемый собственным именем, всегда определен и конкретен, далеко не так очевидно, как кажется на первый взгляд. Если согласиться с этим мнением, то надо допустить, что человек знает все денотаты, именуемые именами собственными, т. е. допустить, что все люди входят в одно и то же социальное поле.

Книга А. В. Суперанской — нужная и своевременно изданная работа. Специалисты по ономастике получили стройную рабочую теорию собственных имен. Без преувеличения можно назвать эту работу в числе лучших по ономастике за последние годы.

В. И. Болотов, С. И. Зинин

Н. Г. Корлэтяну. **Исследование народной латыни и ее отношений с романскими языками. — М., «Наука», 1974. 304 стр.**

Автор рецензируемой книги является одним из известных специалистов-романистов нашей страны. Его перу принадлежат многочисленные труды, главным образом, по молдавскому языкознанию, опубликованные как в нашей стране, так и за рубежом. Рецензируемая книга родилась на базе спецкурса «Народная латынь», разработанного Н. Г. Корлэтяну и читаемого им в университете на протяжении более двух десятилетий.

Предметом исследования рецензируемой книги является поздняя, или народная латынь. Перед автором стояла задача показать, как после распада Римской империи продолжался процесс дифференциации разговорной латыни по территориальному принципу, который привел в конечном счете к образованию романских языков.

От изданных ранее в нашей стране специальных работ по той же тематике книга Н. Г. Корлэтяну выгодно отличается тем, что ее автору удалось привлечь обширный материал восточной Романии. Когда знакомишься, например, с «Народной латынью» (1959) М. С. Гурычевой, то невольно бросается в глаза некоторая односторонность исследованного материала, ибо тут описывается эволюция языковых явлений народной латыни, как правило, в западнороманских языках. У Н. Г. Корлэтяну наблюдается глобальный охват фактических данных, отражаю

щих судьбу латыни и в западных, и особенно в восточных романских языках (так называемая балканская латынь). Автору удалось ввести в общероманский научный оборот специфические особенности восточнороманских языков в сравнительно-сопоставительном плане с западнороманскими языками и тем самым более полно и объективно осветить некоторые проблемы современной романистики. Кроме того, в книге широко проводится социолингвистический подход к явлениям народной латыни, что, безусловно, дало возможность глубоко уяснить «теоретические этапы, через которые прошла латынь до формирования нынешних романских языков» (стр. 15). Такое многоаспектное исследование народной латыни проводится в нашей стране впервые.

Рецензируемая монография состоит из двух органически связанных между собой частей: «Внешняя история народной латыни» (стр. 16—127) и «Фонетико-грамматическая система и лексический состав народной латыни» (стр. 128—246). Каждая часть распадается на соответствующие главы и параграфы.

В I главе первой части дается краткий очерк развития латинского языка и литературы. Известно, что латинский язык не являлся гомогенным. В процессе своего развития, примерно, с середины первого тысячелетия до н. э., он впитал в себя элементы из других языков Апеннинского полуострова: умбрского, оскского, этрусского, греческого и др. К 200 г. до н. э., когда Италийский полуостров находился уже под властью Рима, латинский язык постепенно ассимилировал языки и диалекты нелатинских народов полуострова. Тем не менее, латынь еще долгое время оставалась под влиянием этрусского языка и культуры. Более глубокое и продолжительное влияние на латынь оказали греческий язык, греческая литература и культура в целом. В латинском языке имеется несколько тысяч слов греческого происхождения, а также некоторые элементы парадигматического характера (стр. 27—28).

С 241 г. до н. э. по 106 г. н. э. происходят крупнейшие завоевания Рима и распространение латыни за пределами Италии. В книге дается подробный исторический очерк дако-римских войн и покорения Дакии в 106 г. н. э. Романизация завоеванных территорий проходила по-разному и завершилась неодновременно. Процесс и характер романизации зависел от периода завоевания провинции, от степени связей с метрополией, от устойчивости римского владычества и др. (стр. 42—43).

Говоря о судьбе романизованного населения Дакии, Н. Г. Корлэтяну, пользуясь услугами археологических открытий советских и зарубежных ученых в последние годы, поддерживает точку зрения, согласно которой бо́льшая часть местного населения Дакии не покинула свои родные края в 271 г. н. э., когда римские легионы отступили за Дунай (стр. 68—69). Местное романизованное население продолжало жить на старых местах и позже, во время нашествия гуннов на карпато-дунайские земли (IV — V вв. н. э.).

Вопреки некоторым зарубежным ученым, которые пытаются снизить значение славянского элемента в восточнороманских языках, Н.Г. Корлэтяну неоднократно подчеркивает решающую роль славянского населения, проникшего на Балканы примерно с V в. н. э., в процессе окончательного формирования восточнороманских языков (см. § 8 «О роли славян на Балканах», стр. 70—77). Экстралингвистические и лингвистические данные убедительно говорят о тесных взаимосвязях славянского и романизованного населения на территории бывшей Дакии и вообще на Балканском полуострове. Славянские народы сыграли на Балканах весьма важную роль «как в социально-политическом и культурном отношении, так и в отношении дальнейшей судьбы восточнороманских языков» (стр. 76).

Удачна II глава «Народная латынь — основа формирования романских языков» (стр. 78—103). Здесь рассматриваются такие важные и во многом спорные вопросы, как: термин «народная латынь», периодизация народной латыни, проблема формирования и генетическая классификация романских языков. Автор считает, что народная латынь — это народно-разговорный аспект латинского языка вообще, его живой вариант, находившийся постоянно в эволюционном движении. Эту латынь можно было услышать на рынках, в мастерских ремесленников (sermo vulgaris), в деревнях (sermo rusticus), среди солдат (sermo militaris), в семье и в общении со слугами (sermo cotidianus или consuetudo) и т. д. Народная латынь отражена в памятниках латинского языка с древнего периода и вплоть до VII—VIII вв. н. э., т. е. до появления современных романских языков (стр. 79).

В истории народной латыни Н. Г. Корлэтяну различает пять периодов [1]: первый — это период проникновения латинского языка в язык соседних с Лацием италийских народов (III—IV вв. до н. э.); второй — период распространения латыни на всей территории Италийского полуострова; третий — период распространения народной латыни в римских провинциях (до 14 г. н. э.— смерть императора Августа); четвертый — период ощутимого изменения народной латыни в отношении фонетики, грамматики, лексики и фразео-

[1] Несколько иную периодизацию дает О. А. Домбровский в статье «К вопросу о периодизации вульгарной латыни» («Проблемы диахронии и синхронии в изучении романских языков», II, Минск, 1970, стр. 3—14).

логии (до падения Западной Римской империи — 476 г. н. э.); пятый — период приобретения народной латынью самостоятельного характера и своих особенностей в каждой провинции (с 476 г. до VI—VII вв. н. э.). Дается краткая характеристика каждого периода (стр. 84—88).

В специальном параграфе (§ 9) предпринимается критический разбор существующих теорий образования романских языков: теория субстрата (Г. Шухардта, Г. Асколи и др.), хронологическая теория (Г. Гребера, К. Гренджента и др.), диалектная теория (Ф. Моля) и др. Автор резонно полагает, что в проблеме формирования романских языков следует особенно выделить значение распада Римской империи как главного фактора самостоятельного развития определенных диалектов и превращения их в самостоятельные романские языки (стр. 91). Кроме того, в Западной Романии значительную роль в развитии своеобразного, самобытного пути романских языков сыграли германские (в меньшей степени арабские) языки, а в Восточной Романии характерные языковые черты развились во многом под воздействием славянских языков (стр. 92).

II глава завершается параграфом о генетической классификации романских языков. Проанализировав существующие классификации этих языков, начиная от Данте и кончая нашими днями, Н. Г. Корлэтяну пришел к выводу, что при попытке дать достоверную генетическую классификацию романских языков исследователь обязан иметь в виду не только интралингвистические факторы структурно-грамматического порядка, но и социально-политические, экстралингвистические факторы, которые, безусловно, имеют «огромное значение в распределении современных романских языков» (стр. 96). Отталкиваясь от такой постановки вопроса, автор книги признает существование 14 романских языков. Они разделяются на две большие группы: з а п а д н о р о м а н с к и е и в о с т о ч н о р о м а н с к и е языки. Западнороманские подразделяются на три подгруппы: иберо-романская подгруппа (португальский, испанский и каталанский), галло-романская подгруппа (французский и провансальский) и итало-романская подгруппа (итальянский, сардинский, реторомanский). Восточноромanские языки распадаются на ю ж н о д у н а й с к и е (далматский, истриотский, мегленитский и арумынский) и с е в е р о д у н а й с к и е (молдавский и румынский).

В книге проводится сжатый, но содержательный лингвистический анализ источников народной латыни (стр. 104—124). Известно, что не существует ни одного памятника языка, написанного целиком и полностью на народной латыни. Все считали, что пишут на литературном языке, однако по разным причинам в произведения писателей (сатириков, эпиграммистов, комедиографов) проникали народноразговорные элементы. В этой связи особое место отводится разбору латинских грамматик, в которых их авторы весьма часто упоминают о различии между литературной и народной латынью.

Немаловажное значение для изучения народной латыни имеет небольшая тетрадь-приложение к грамматике «Основы наук» (Instituta artium — IV в. н. э.), автором которой ошибочно считается Валерий Проб. В данной тетрадке, известной под названием «Appendix Probi», содержатся 227 примеров с отклонениями от фонетических и грамматических норм литературной латыни (например, Vetulus non veclus, probavimus non probaimus и т. д.).

Содержательна и в т о р а я часть книги. В I главе этой части подробно описываются некоторые особенности фонетической системы народной латыни: ударение, консонантизм — вокализм и др. (стр. 128—160).

Во II главе рассматриваются различные аспекты морфологической структуры народной латыни по частям речи: существительное, прилагательное, местоимение, числительное, глагол, наречие, предлог (стр. 161—200). В III главе исследуются некоторые синтаксические особенности народной латыни. Выявляется ряд специфических черт, касающихся синтаксиса простого и сложного предложений (стр. 218—221).

Хочется отметить как весьма положительный тот факт, что эволюцию отдельных грамматических форм в народной латыни Н. Г. Корлэтяну объясняет порой взаимодействием факторов внутрилингвистического и экстралингвистического (социального) характера. Например, древний латинский вокатив на *-e* (типа лат. *amice*, *lupe*) не унаследован западноромanскими языками, но широко употребляется в восточноромanских языках (молдавском, румынском, мегленитском) в результате влияния славянских языков [2], тесно соприкасавшихся на протяжении долгих веков с романизованным населением Дакии и всего Балканского полуострова (стр. 169).

IV глава целиком посвящена характеристике народнолатинской лексики (стр. 222—247). Н. Г. Корлэтяну отмечает, что в народной латыни происходила лексическая дифференциация в зависимости от территориального расположения и других особенностей каждой провинции Римской империи.

[2] Подробнее об этом см.: N. K o r l ă t e a n u, Asupra interacţiunii lingvistice romano-slave, «Actele celui de al XII-lea Congres internaţional de lingvistică şi filologie romanică», II, Bucureşti, 1971, стр. 1046.

В «Заключении» (стр. 247—258), помимо общих выводов по всей работе, высказываются также и соображения о проблеме диалектности народной латыни. Основная мысль та, что многочисленные и пестрые по языковому составу народы, входящие в Римскую империю, после распада последней, стали ускоренными темпами отходить от единой языковой нормы, продиктованной римскими завоевателями. Несмотря на то, что все эти народы были романизованными, в их повседневной латинской речи наблюдались существенные различия, которые могут быть названы территориальными или диалектальными. Именно эти языковые особенности, а также контакты с мигрирующими народами сыграли решающую роль в самом процессе образования романских языков.

Рецензируемая монография завершается списком принятых сокращений, богатой научной библиографией (свыше 261 наименований), обширным указателем слов (на 24 страницах), указателем имен и комментариями к иллюстрациям.

Давая общую оценку книги, необходимо упомянуть и тот факт, что она написана интересно, ее автор зачастую прибегает к уместным отступлениям, цитируя остроумные изречения античных авторов, а также стихи Овидия, Петрония, Лукреция Кара, Байрона, Пушкина, Эминеску и др., что, бесспорно, оживляет чтение.

При внимательном знакомстве с книгой можно заметить местами и некоторые упущения.

На страницах монографии порой встречаются неточности терминологического порядка. Так, в тексте книги на стр. 97—101 говорится о трех п о д г р у п п а х западнороманских языков: иберо-романской, галло-романской и итало-романской. Однако, спустя две страницы, на сводной схеме классификации романских языков, эти же подгруппы именуются уже г р у п п а м и: иберо-романская группа, галло-романская группа и итало-романская группа (см. стр. 103). Вполне очевидно, что указанные разновидности романских языков следует признать п о д г р у п п а м и.

В этой связи можно отметить также, что выделение автором 14 романских языков и манера их классифицировать вряд ли могут считаться бесспорными. В литературе вопроса встречаются и другие мнения по поводу количества романских языков и способа их классификации. С этими мнениями нельзя не считаться при попытке выработать новую, свою классификацию.

Думается, что предложенная в книге классификация романских языков основывается главным образом на фонетических и морфологических данных. Однако, если учесть и синтаксические показатели, то в эту классификацию можно было бы ввести ряд поправок, поскольку «синтаксические тенденции родственных языков могут развиваться иначе, чем тенденции морфологические и фонетические» [3]. Понятно, таким образом, почему «синтаксическая группировка родственных языков обычно оказывается шире группировки фонетико-морфологической» [4].

На стр. 45 автор пишет, что дако-гетский язык «совершенно исчез в северных областях Дуная в VI веке», а чуть дальше, на стр. 46, читаем, что «вся территория Римской империи, кроме Греции и Малой Азии, была романизована к IV веку н. э.». Трудно допустить, что дако-гетский язык, носители которого «были распроданы римлянами в рабство» (стр. 40), а по словам римского историка Флавия Евтропия «население Дакии было истреблено, особенно мужское население», смог продержаться до VI в. н. э. Очевидно, логичнее было бы предположить, что дакогетский язык исчез в северных областях Дуная на много раньше VI в. Некоторые исследователи прямо утверждают, что «в VI в. о даках сохранилась только память. Дакия была заселена романским населением, которое разговаривало на латыни: не на латыни Цезаря и Цицерона, а на живой, преобразованной, обогащенной определенными дакскими элементами, народной латыни» [5]. Как бы там ни было, но дако-гетский язык никак не мог сохраниться до VI в. н. э., как предполагается в рецензируемой работе.

В этой связи можно заметить и следующее. Разбирая те факторы, которые способствовали ускорению процесса романизации (в частности, населения Дакии), автором упускается из поля зрения вопрос о генетическом смешении местного населения с завоевателями. Если иметь в виду, что Дакия находилась в составе Римской империи около 170 лет и что размещение на ее территории римских колонистов стало обычным явлением, то можно с уверенностью предположить вынужденное генетическое смешение дакийцев. Такое смешение вряд ли целесообразно не принимать в расчет при трактовке проблемы романизации.

В книге разделяется точка зрения некоторых ученых, согласно которой синтаксис романских языков «приближается скорее к германскому или новогреческому типу» (стр. 204). К сожалению, это положение не разъясняется, и читатель остается не убежденным в правоте высказанного тезиса. Можно привести немало доводов в пользу того, что синтаксис романских языков имеет свою специфику,

---

[3] Р. А. Будагов, Язык, история и современность, М., 1971, стр. 244.

[4] Там же, стр. 245.

[5] H. Daicoviciu, Dacii, Bucureşti, 1965, стр. 249.

которая явно отличает его от синтаксиса германского или новогреческого языков [6]. Больше того, известно, что между собой романские языки по-разному «сходятся» и «расходятся» на различных уровнях. Р. А. Будагов, например, поддерживает мнение Й. Йордана, что такой язык, как румынский, «по своему строю (фонетике и морфологии) ближе к итальянскому, чем к испанскому, а в синтаксическом и лексическом планах румынский тяготеет к французскому и значительно меньше к испанскому» [7].

Уместно добавить, что, например, в плане выражения отправной точки сообщения при помощи личных и других местоимений восточнороманские языки приближаются к итальянскому и существенно отходят от французского. Таким образом, вряд ли можно судить en bloc о «приближении» синтаксиса романских языков к германскому или новогреческому типу.

Автор монографии полагает, что появление в народной латыни «усиленного отрицания» (т. е. использование двух отрицательных слов вместо одного) следует объяснить тенденцией к избыточности этого языка (стр. 215—216). Получается, таким образом, что классическая латынь была более «экономна», а народная латынь менее «экономна» в плане выражения отрицания. Такая постановка вопроса представляется спорной. Дело в том, что каждый язык располагает своими специфическими средствами передачи одних и тех же грамматических категорий. Тот факт, что к концу Римской империи общеупотребительны стали обороты типа *non respondet nihil* «ничего не отвечает», *non vidi neminem* «я не видел никого» и др., еще не говорит о том, что в народной латыни «ясно выступает тенденция к избыточности» (стр. 215). Появление новых средств для выражения усиленного отрицания объясняется, очевидно, тем, что в живом языке возникла необходимость в новых и своеобразных приемах передачи дифференцированной негативной информации, вызванных потребностью самой коммуникации.

Отмеченные нами отдельные мелкие недочеты и упущения ни в коей мере не снижают важности и ценности незаурядного труда Н. Г. Корлэтяну. Широкая аргументация, богатый фактический материал, интересная, порой своеобразная и оригинальная интерпретация трудных, еще до конца не решенных в романском языкознании вопросов, вдумчивое и логичное изложение материала — все это придает книге строго научный характер и вместе с тем доступность. Работа написана в духе лучших отечественных традиций в области классической филологии.

А. И. Чобану

[6] См.: «Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков. Проблема структурной общности», М., 1972, стр. 337—403.

[7] Р. А. Будагов, Понятие архаичности языка в романской лингвистике, сб. «Philologica. Исследования по языку и литературе. Памяти акад. В. М. Жирмунского». М., 1973, стр. 204.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 3 1975

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

11—16 ноября 1974 г. в Москве проходила Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания, организованная Научным советом по теории советского языкознания при Отделении литературы и языка Академии наук СССР. На конференции, посвященной наиболее актуальным проблемам теоретического языкознания, были представители всех направлений лингвистической науки нашей страны, а также лингвисты Болгарии, Венгрии, ГДР, Чехословакии и Польши.

Вынесенная на обсуждение конференции теоретическая проблематика группируется вокруг пяти основных тем пленарных заседаний: 1) Философские вопросы языкознания, 2) Общественная природа и функционирование языка в обществе, 3) Типология языка, 4) Методы лингвистических исследований, 5) Лингвистическая семантика. Обсуждение этих тем было продолжено и на секционных заседаниях.

Конференцию открыл акад. В. И. Борковский, посвятивший свое вступительное слово соотношению теории и практики в советском языкознании. Органическое единство теории и практики характерно для советского языкознания на всех этапах его развития. Языковеды нашей страны работали над созданием и реформированием алфавитов для бесписьменных и младописьменных языков. В настоящее время много занимаются разработкой общественно-политической и научно-технической терминологии. Большое развитие получило издание словарей, подготовка учебников для средней и высшей школы, популяризация научных знаний о языке в научно-популярных книгах, журналах, по радио и телевидению. Обширны и важны задачи, стоящие перед нашей наукой в эпоху научно-технической революции, неуклонного роста культуры советского народа.

В коллективном докладе «Основные проблемы марксистского языкознания» В. Н. Ярцевой, Г. В. Колшанского, Ю. С. Степанова, А. А. Уфимцевой (Москва) отмечалось, что из многочисленных аспектов исследования языка в настоящее время необходимо выделить главный, который можно сформулировать как методологию теоретического языкознания. В современных условиях методология приобретает особую роль как основной критерий оценки и выбора пути исследования. Два главных положения могут рассматриваться как фундаментальные для дальнейшей разработки марксистско-ленинского языкознания — принцип социальности языка и принцип неразрывной связи языка и мышления. Развитие теории языка на диалектико-материалистических позициях означает также осмысление конкретной специфики языковых данных, добытых исследователями различных направлений на материале самых разнообразных языков. Настоящий этап в развитии языкознания свидетельствует в пользу того, что должна быть предпринята дальнейшая разработка единой социально-гносеологической теории языка, осмысление накопленных фактов и результатов исследований на основе марксистского определения языка.

Б. А. Серебренников (Москва) в докладе «О содержании марксистской теории языка» указал, что теория языка должна включать в себя следующие компоненты: основу теории, представляющую известную сумму базисных теоретических положений, теорию познания языковых явлений и теорию лингвистических методов. Теория языка должна обладать большой объяснительной силой, служить компасом в лингвистических исследованиях и быть мощным орудием борьбы против антимарксистских теорий в языкознании. Развитие теории невозможно без всестороннего и повседневного изучения самого объекта лингвистической науки — языка.

А. С. Чикобава (Тбилиси) в докладе «О философских вопросах языкознания» отметил, что в теории любой науки основными являются проблемы: а) предмета науки, б) специальных методов, используемых для изучения данного предмета, в) отраслевого членения содержания науки и г) ее места в системе других наук. В понимании этих основных проблем в современной лингвистике наблюдается исключительный разнобой. Это касается таких вопросов, как основные функции языка, язык и речь, их взаимо-

отношения, системность языка и природа языкового знака, знак и сущность значения, система языка и его история, развитие языка, единицы языка и аспекты их изучения, индукция и дедукция, их соотношения в лингвистических теориях, место языкознания в системе наук.

А. С. Мельничук (Киев) выступил с докладом «Философские проблемы языкознания» [1].

В докладе Г. В. Колшанского (Москва) «Структура языка в гносеологическом аспекте» подчеркивалось, что одним из кардинальных в лингвистической науке является вопрос о соотношении индивидуального характера речепроизводства, субъективной стороны языка и его интерсубъективного качества как всеобщего средства коммуникации. Известное решение вопроса о соотношении индивидуального и общественного у последователей Соссюра было односторонним. Суть проблемы заключается не в исследовании социально-психологической стороны языка, а в гносеологическом обосновании объективного характера закономерностей строения и функционирования языка. Глубинные свойства структуры языка являются постоянной детерминантой любого языка. Всеобщий характер глубинной структуры языка есть проявление всеобщего, единого характера отражательной способности человеческого сознания.

В. З. Панфилов (Москва) выступил с докладом «Отражательная функция естественных языков и проблема языкового знака» [2].

В. А. Аврорин (Ленинград) в докладе «О предмете социальной лингвистики» отметил, что выделение социолингвистики как особого относительно самостоятельного направления в науке о языке не только возможно, но и вполне оправдано [3].

В докладе Р. А. Будагова «Некоторые особенности языка в эпоху научно-технической революции» рассматривалась связь языка с уровнем культурного и технического развития общества. Научно-техническая революция воздействует на такие три (из множества других) лингвистические проблемы, как научная терминология, формализация языка и особенности его структурных функций. Вместе с тем в эпоху научно-технической революции, как и на протяжении всей предшествующей истории, естественные языки остаются языками прежде всего человеческими, со всеми вытекающими последствиями: органической многозначностью слов, полифункциональностью грамматических категорий, постоянными историческими изменениями любой синхронной системы языка и т. д.

И. К. Белодед (Киев) в докладе «Функционирование языков народов СССР в условиях расцвета социалистических наций» говорил о сложившейся в языковой жизни социалистических наций и народностей СССР практике гармонического двуязычия, при котором языки народов СССР сочетают свои функции с функциями общего языка межнационального общения и единения народов СССР [4].

Ф. П. Филин (Москва) в докладе «Литературный язык как историческая категория» показал, что литературный язык — явление сложное, комплексное. Его нельзя определять только по одному какому-либо, пусть и весьма существенному признаку. Письменное оформление, относительная устойчивость норм, тенденция к объединению, совместимости разных типов речевого общения, наддиалектность, обслуживание государственных, культурных и иных потребностей общества — одно связано с другим. Выявление общих всем литературным языкам признаков, сравнительно-типологическое их изучение в синхронном и диахронном аспектах приведет к более глубокому пониманию своеобразия каждого из литературных языков в их истории и современном состоянии. В то же время будут более ясными существенные отличия между литературными языками эпохи нации и донационального периода.

Выступивший с сообщением «Основные направления зарубежной социолингвистики» А. Д. Швейцер (Москва) обратил внимание на ограниченность перспектив рассматриваемых направлений, определяемую их общей методологической ориентацией, на отсутствие единой точки зрения у зарубежных ученых на предмет социолингвистики.

Т. В. Гамкрелидзе (Тбилиси) выступил с докладом «Лингвистическая типология и диахроническая лингвистика». По мнению докладчика, в индоевропейском сравнительно-историческом языкознании до последнего времени достаточно строго не учитывались типологические критерии лингвистической вероятности постулируемой исходной языковой системы, что приводило к реконструкции языковых структур, маловероятных с типологической точки зрения. Это касается в первую очередь системы индоевропейских смычных. Приведение системы смычных в соответствие с данными языковой типологии заставляет пересмотреть традиционно реконструируемую систему индоевропейских смычных.

[1] Доклад будет опубликован в одном из ближайших номеров «Вопросов языкознания».

[2] Доклад В. З. Панфилова опубликован в «Вопросах языкознания», 1975, 3.

[3] Доклад В. А. Аврорина будет опубликован в одном из ближайших номеров «Вопросов языкознания».

[4] Доклад И. К. Белодеда будет опубликован в одном из ближайших номеров «Вопросов языкознания».

В докладе В. Н. Ярцевой (Москва) «Типология языков и проблема универсалий» рассматривались принципы и методы типологического исследования, а также его отличие от других форм анализа языкового материала. При типологическом сравнении языков различия между ними могут проявиться 1) в приемах передачи сходных значений, 2) в типологии построения самих систем грамматических или иных значений. Второй план сравнения оказывается наиболее перспективным для выяснения общих законов развития содержательной стороны языковых явлений. Рассмотрение универсалий в пределах только одного языкового уровня чревато опасностью сведения их только к грамматическим или иным категориям. Однако игнорирование форм выражения универсалий может привести к их отождествлению с «чистыми» понятиями.

М. М. Гухман (Москва) в докладе «О содержании и задачах исторической типологии» отметила, что конечной целью исторической типологии является установление диахронических констант, обладающих бо́льшей или меньшей обязательностью. Особое значение для теории языка и для исторической типологии имеет вопрос о возможности и закономерностях трансформации целостных языковых систем. Системный подход к выделению диахронических констант — дело будущего, но только он даст прочную базу структурной исторической типологии.

Г. А. Климов (Москва) сделал сообщение на тему «К понятию языкового типа». Понятие языкового типа остается центральным для современной лингвистической типологии. Практика типологических классификаций показывает необходимость различения формальных и контенсивных языковых типов. Контенсивные типы, в отличие от формальных, способны охватывать широкие совокупности разноуровневых явлений, мотивированных глубинными структурами, что делает их разработку более перспективной.

Т. С. Шарадзенидзе (Тбилиси) посвятила свое сообщение теме «Типологическое изучение языков в синхронном и диахронном плане». На повестке дня стоит разработка лингвистических методов для всестороннего типологического изучения языков. Типологическое сравнение языков требует восполнения диахроническими исследованиями.

В докладе Г. Б. Джаукяна (Ереван) «О принципах построения универсальной лингвистической модели» развивалась мысль о том, что главной задачей общей теории языка должно быть построение универсальной лингвистической модели и определение условий ее реализации в языках мира. Универсальная лингвистическая модель должна быть максимально экономной, единой и полной, т. е. охватывающей язык во всех его проявлениях.

В докладе Э. А. Макаева (Москва) «Соотношение сравнительного и общего языкознания» говорилось о том, что современный этап сравнительного языкознания характеризуется синтезированием различных методов исследования, нашедших применение в общем языкознании. Однако специфика сравнительного языкознания ограничивает использование некоторых приемов лингвистического анализа, заявивших о себе в разных направлениях общего языкознания середины и второй половины XX в.

Ю. С. Степанов (Москва) в докладе «Проблема общего метода современной лингвистики» указал, что общий метод лингвистики существует в двух видах — содержательном и формализованном. Содержательный вид общего лингвистического метода совпадает с «филологическим кругом», а формализованный вид представляет собой гипотетико-дедуктивный метод. Путь к устранению недостатков общего лингвистического метода пролегает через развитие общей теории языка и во многом остается в настоящее время еще не выполненной, перспективной задачей.

С. Д. Кацнельсон (Ленинград) в докладе «О грамматической семантике» охарактеризовал качественные различия между грамматической и лексической семантикой. К проблеме разграничения грамматических и собственно лексических значений лучше всего подойти со стороны предложения. Функциональные различия между двумя типами значения отражаются также в их внутренней структуре. Вычленение категорий грамматической семантики невозможно без учета сложных и противоречивых отношений между формой и содержанием в языке.

В докладе А. А. Уфимцевой (Москва) «Проблемы значения при исследовании знакового аспекта языка» развивался тезис о том, что естественный язык представляет собой семиотическую систему с двойной структурацией и двойным «означиванием» ее элементов. Отсюда семиотическая теория должна рассматривать язык как систему и язык как речь.

В докладе Н. Ю. Шведовой (Москва) «О значениях единиц разных уровней языка» рассматривались категориальные и конкретные значения и их соотношения на разных уровнях языковой структуры. По мнению докладчика, категориальные и конкретные значения языковых единиц различаются как по характеру абстракции, так и по своему языковому статусу. Как сами эти значения, так и их соотношения у единиц, принадлежащих к разным уровням языка, обнаруживают такие внутренние расхождения, которые служат объективным основанием для выявления реально существующих внутрисистемных противопоставлений.

Выступивший с сообщением «О семантической относительности языковых единиц» В. Г. Гак (Москва) полагает, что отрицание относительного, подвижного характера связи между означающим и означаемым ведет к отрыву коммуникативной функции языка от экспрессивной функции, функции отображения. Относительный характер семантической стороны отражает диалектическое единство объекта и субъекта познания.

В сообщении А. В. Бондарко (Ленинград) «Проблемы лингвистической семантики» говорилось о соотношениях двух уровней лингвистической семантики — глубинного и поверхностного. При выделении разных типов лингвистической семантики необходимо искать различия в самом плане содержания, прежде всего в характере его структурной организации.

По проблематике, вынесенной на обсуждение пленарных заседаний, были прослушаны выступления В. В. Акуленко (Харьков), П. М. Багова (Нальчик), Л. С. Бархударова, Е. М. Верещагина, В. Г. Костомарова, Н. А. Слюсаревой, В. М. Солнцева (Москва), В. А. Лисицкого, З. Д. Поповой (Воронеж), А. Нойберта, А. Ноймана (ГДР), М. В. Мачавариани (Тбилиси), В. М. Павлова (Ленинград).

Доклады, сообщения и выступления на пленарных заседаниях вызвали оживленную дискуссию. В ней приняли участие Л. И. Баранникова (Саратов), С. Г. Бережан (Кишинев), А. Г. Волков, М. М. Гухман, В. К. Журавлев, Вяч. В. Иванов, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Ф. П. Филин, И. А. Хабаров, Н. С. Чемоданов, А. Я. Шайкевич, О. С. Широков (Москва), Б. Н. Головин (Горький), Л. Деже (ВНР), А. В. Десницкая (Ленинград), А. С. Чикобава (Тбилиси), Г. Фойдель (ГДР) и др.

На заседаниях секции социолингвистических проблем языка и теории литературных языков обсуждались задачи социолингвистики и ее понятийный аппарат. А. Д. Швейцер (Москва) предложил определения понятий единой социально-коммуникативной системы языкового коллектива, стратификационной (социально обусловленной) и ситуативной вариативности, социолингвистических переменных, для выбора которых существенно различие статуса участников коммуникативного акта и их ролевых отношений, понятие социолингвистической установки. В. А. Ицкович и Б. С. Шварцкопф (Москва) подчеркнули значение речевой практики, определяющей соответствие кодификации современной языковой норме, указали на соотношение объективного и субъективного факторов в нормализаторской деятельности. Н. Н. Семенюк (Москва) рассмотрела функционально-стилистическую дифференциацию литературного языка в качестве одного из видов социолингвистического варьирования. В. Д. Бондалетов (Пенза) дал классификацию социальных диалектов в их отличиях от территориальных говоров и разновидностей литературного языка в зависимости от их социальной функции и характера лексико-понятийной системы. А. П. Феоктистов (Москва) на материале языков народов СССР охарактеризовал проблемы периодизации истории литературного языка.

В выступлениях Т. П. Ильяшенко (Кишинев), И. Е. Гальченко, Х. А. Токазова (Орджоникидзе), В. А. Сенкевича (Магнитогорск), К. Х. Ханазарова, А. А. Дарбеевой, В. Ю. Розенцвейга, А. Н. Иванова, Л. Б. Никольского (Москва), Р. Р. Каспранского (Горький), В. Е. Гольдина, Л. И. Баранниковой (Саратов), М. Закиева (Казань), С. С. Линского (Днепропетровск), Н. Г. Самсонова (Якутск), Б. И. Ваксмана (Калинин), Т. А. Тарасенко (Одесса), П. Ондруса (Братислава) и др. с различных сторон характеризовались лингвистические ситуации в республиках, краях и областях СССР и зарубежных странах, обсуждались актуальные проблемы развития литературных языков и их функциональных стилей, деятельности языковедов в области нормализации и культуры речи.

Секция сравнительно-исторического языкознания и ареальной лингвистики имела две подсекции. На заседании по проблемам ареальной лингвистики Н. З. Гаджиева (Москва) на материале тюркских языков показала возможности системной реконструкции языковых архетипов с помощью сравнительно-исторического метода, внутренней реконструкции и приемов ареальной лингвистики. М. А. Бородина (Ленинград) охарактеризовала задачи ареалогии как учения о пространственном размещении языковых явлений и о закономерностях их развития. В выступлениях А. В. Десницкой (Ленинград), Д. И. Эдельман, Г. Ф. Благовой, Л. А. Покровской (Москва) и др. были освещены различные вопросы теории и практики лингвистической географии, интерпретации данных, получаемых в результате ареальных исследований.

На заседании подсекции сравнительно-исторических исследований был прослушан доклад В. И. Георгиева (София), связавшего происхождение именной и глагольной флексии в индоевропейских языках с сочетанием двух самостоятельных элементов по схеме «корень + лексически самостоятельная единица». Эта единица с течением времени подвергается десемантизации, становится служебным словом и, наконец, элементом флексии; значительная роль в этом процессе отводится ларингалам. А. А. Бе-

лецкий (Киев) говорил о значении реконструкции словообразовательных парадигм в этимологических исследованиях. Доклад А. Н. Кононова (Ленинград) был посвящен таким способам образования корневых и аффиксальных морфем в тюркских (resp. алтайских) языках, как фузия, гиперагглютинация и соположение слов. В коллективном докладе Л. В. Дмитриевой, В. Д. Колесниковой, К. А. Новиковой, В. И. Цинциус (Ленинград) на материале алтайских языков была предложена тематическая и семантико-морфологическая (по гнездам) разработка словарных данных в качестве исходных приемов сравнительно-исторического изучения лексики. А. А. Королев и В. П. Нерознак (Москва) подчеркнули важность для индоевропеистики изучения относительно изолированных языков: фригийского, мизийского, фракийского, мессапского, венетского, сабелльско-пеценского и др., относящихся к архаическому письменному периоду. А. Е. Супрун (Минск) высказался за соединение сравнительно-исторического исследования с типологическим анализом, что дает возможность при реконструкции грамматических явлений восстанавливать не только план выражения, но и план содержания.

В дискуссии приняли участие также Б. А. Серебренников, Вяч. В. Иванов, Э. Г. Туманян (Москва), Т. А. Гуриев (Орджоникидзе).

Заседания секции теории грамматики привлекли внимание наибольшего числа участников конференции. Е. И. Шендельс (Москва) предложила классифицировать грамматические оппозиции по признакам их количественной и смысловой характеристик, а также дистрибуционных возможностей. Коллективный доклад Л. А. Бирюлина, И. Б. Долининой, Н. А. Козинцевой, Е. Е. Корди, В. П. Недялкова, М. А. Смирновой, А. А. Холодовича и В. С. Храковского (Ленинград) был посвящен глагольным формам с возвратным и взаимным значением. М. А. Кумахов (Москва) показал локальный и вторичный характер категории отчуждаемой (неотчуждаемой) принадлежности в западнокавказских языках, что опровергает теорию ее архаичности. Е. М. Вольф (Москва) охарактеризовала влияние контекста на семантику местоименных групп. О. И. Москальская (Москва) говорила о формализации смысловой структуры предложения (его семантической модели). Е. В. Гулыга (Москва) посвятила свой доклад проблеме модальности предложения, зависящей от семантики высказывания, в частности, от позиции говорящего, его отношения к ситуации. Т. Б. Алисова (Москва) объяснила колебания в оформлении субъекта конструкции с неактивным предикатом его семантической (функциональной) близостью к объекту действия. По мнению Л. М. Ковалевой (Иркутск), существует парадигматика предложений на основании изменения отношений между глаголом и именами, т. е. переходности — непереходности глагола. Н. Д. Арутюнова (Москва) обратилась к различию семантических характеристик подлежащего, реализующего в предложении свое денотативное значение, и сказуемого с его сигнификативным содержанием. О структурно-лексической основе предложения, понимаемого в качестве номинативно-коммуникативной единицы, говорил Б. А. Абрамов (Москва). И. П. Сусов (Тула) выделил три уровня семантической структуры предложения.

Основная дискуссия развернулась вокруг таких вопросов, как значение в грамматике, грамматическая категория, теория словосочетания, понятия так называемого семантического синтаксиса. Выступили: З. И. Керашева (Майкоп), Э. Ш. Генюшене (Вильнюс), Е. А. Иванникова (Ленинград), Г. В. Судаков (Вологда), З. Г. Абдуллаев (Махачкала), А. М. Ломов (Воронеж), В. Ф. Егоров (Калуга), М. Я. Блох, М. Д. Потапова, Н. Ф. Иртеньева (Москва), Ю. А. Левицкий (Пермь), Н. Н. Арват (Черновцы) и др.

В подсекции теории словообразования был прослушан доклад Е. С. Кубряковой (Москва) о самостоятельности объекта словообразовательного анализа и связи словообразования с другими лингвистическими дисциплинами. Доклад И. С. Улуханова (Москва) был посвящен системности словообразования. В. В. Лопатин (Москва) говорил о значении словообразовательного аффикса и способах формулирования этого значения. Теоретическим и практическим вопросам изучения гнезда слов были посвящены доклады А. Н. Тихонова (Самарканд) и Г. С. Зенкова (Фрунзе); П. А. Соболева (Москва) сообщила о составлении гнездовых словообразовательных словарей для ряда языков. В дискуссии приняли участие М. Д. Степанова, В. Н. Шевчук (Москва), Р. С. Манучарян (Ереван) и др.

В подсекции теоретических вопросов словосочетания Т. А. Тулина (Одесса) рассмотрела словосочетание как обладающее сложной смысловой структурой синтаксическое образование, по своей функции более близкое к высказыванию, чем к слову. Доклад В. Д. Аракина (Москва) был посвящен исследованию атрибутивных словосочетаний в индоевропейских, тюркских и австронезийских языках в связи с типологической классификацией. Е. В. Падучева (Москва) говорила об употреблении не входящих в словосочетания слов *тоже* и *также*.

В. С. Юрченко (Саратов) рассмотрел динамический аспект проблемы словосочетания. На заседании выступили А. Н. Печников (Ульяновск), В. И. Чуглов (Вологда), Ю. В. Фоменко (Новосибирск), Б. Ю. Норман, В. Н. Билан (Минск) и др.

На заседании секции теории лексикологии и лексикографии состоялись острые дискуссии, в частности, по докладу Р. С. Гинзбург (Москва), посвященному критике таких терминов, как «фразеологическое значение» и «словообразовательное значение». О. Н. Селиверстова (Москва) предложила определить значение как знаковую информацию, передаваемую через означающее языкового знака и получаемую любым носителем данного языка. Э. С. Азнаурова (Ташкент) на материале английского языка рассмотрела стилистическое значение в качестве компонента семантической структуры слова. С. Г. Бережан (Кишинев) говорил о необходимости при научном анализе лексико-семантических отношений проводить последовательные разграничения, основанные на учете антиномий: языка и речи, парадигматики и синтагматики и др.

Ряд докладов и сообщений был посвящен проблемам фразеологии А. В. Кунин (Москва) выступил с обоснованием выделения фразеологии в особую лингвистическую дисциплину, раздел общего языкознания. О принципах и объекте этой дисциплины как учении о сочетаемости слов говорил также М. М. Копыленко (Алма-Ата). Одним из универсальных языковых процессов назвала В. Н. Телия (Москва) несвободную сочетаемость слов, исследование которой необходимо вести в коммуникативно-функциональном аспекте. Особенности фразеологически связанного значения слова, проявляющиеся в воспроизводимом (немоделируемом) сочетании, были отмечены в докладе Е. Н. Толикиной (Ленинград). В. Д. Ушаков (Москва) предложил ввести понятия семасиологической идиоматичности, порождаемой специфическим функционированием означающего, и ономасиологической идиоматичности, связанной с передачей означаемого.

Проблемам лексикографии было посвящено специальное заседание секции, на котором Н. З. Котелова (Ленинград) показала возможности различных способов лексикографического описания для характеристики лексической системы с учетом системности соответствующих внеязыковых объектов. И. Р. Гальперин (Москва) посвятил свой доклад таким нерешенным проблемам двуязычной лексикографии, как раскрытие глубины семантической структуры слова, иллюстрирование статей цитатным материалом и др. Р. П. Рогожникова (Ленинград) остановилась на раздельнооформленных единицах (*то есть*, *вряд ли*, *несмотря на* и под.) как объекте описания в толковом словаре русского языка. И. Н. Шмелева (Ленинград) охарактеризовала трудности создания номенклатуры стилистических помет для общего словаря русского литературного языка.

На заседаниях секции выступили также Л. В. Малаховский, В. Н. Цыганова, В. П. Берков, Б. И. Игнатьев, А. Е. Карпович, В. М. Перерва (Ленинград), Л. А. Курицина (Кострома), А. К. Алекперов (Баку), Л. А. Черезова (Одесса), В. С. Виноградова, В. И. Шаховский (Волгоград), А. С. Юханов (Донецк), В. Б. Синюк (Чарджоу), Т. З. Череданцева, Д. Н. Шмелев (Москва) и др.

На заседаниях секции теории фонологии обсуждались главным образом две темы: основные единицы фонологии и морфонологии и содержание морфонологических исследований. В. Б. Касевич (Ленинград) охарактеризовал понятие оппозиции как отношения фонем (абстрактных объектов) в системе и указал на невозможность его применения при характеристике элементов речевой цепи. В. Я. Плоткин (Кишинев) предложил определения основных единиц фонологии: дистинктора (вместо традиционного «различительный признак»), фонемы и слога. М. В. Раевский (Тула) также подверг критике применение термина «различительный признак» и настаивал на употреблении предложенного Н. С. Трубецким термина (и понятия) фонологически релевантного признака. И. Г. Мелиқишвили (Тбилиси) охарактеризовала структуру дистинктивных признаков фонемы и их функционирование. О. С. Широков (Москва) предложил изучить возможность определения набора единых различительных фонемных признаков в рамках теории вариантов и вариаций фонем. В. А. Виноградов (Москва) говорил о типологии фонологических нейтрализаций на мерисматическом уровне. А. А. Реформатский (Москва) рассмотрел существующие определения морфонологии и единиц морфонологического анализа, принадлежащих фонологии и морфологии. Т. В. Булыгина (Москва) говорила о необходимости установления характера обусловленности морфонологических чередований и понятии морфонемы.

В дискуссии приняли участие С. А. Барановская, И. Г. Торсуева (Москва), С. И. Стацевич (Донецк), Л. В. Быстрова, В. В. Левицкий (Черновцы), Мати Хинт (Таллин) и др.

Заседания секции теоретических аспектов прикладного языкознания, язык в эпоху научно-технической революции показали значительные разногла-

сия во взглядах участников конференции на основные цели и ближайшие задачи прикладной лингвистики. В докладах Вяч. В. Иванова и И. А. Мельчука (Москва) излагались задачи создания языка формальной записи смысла текста, в зависимость от решения которых были поставлены все практические разработки, в том числе и машинный перевод. В докладах Р. Г. Пиотровского (Ленинград) и Р. Г. Котова (Москва) были поставлены вопросы, связанные с решением актуальных задач инженерной лингвистики и лингвистического обеспечения проектируемой Государственной системы вычислительных центров. Е. К. Гусева (Москва) затронула проблему соотношения семиотических и кибернетических систем. Доклад Б. Н. Головина (Горький) был посвящен особенностям языка науки. А. В. Гладкий (Калинин) указал на необходимость включения математической подготовки в систему лингвистического образования и желательность «гуманизации» преподавания некоторых вопросов математики.

На заседаниях секции выступили также А. Н. Клюкин, Л. Л. Нелюбин, Н. Н. Леонтьева, А. Я. Шайкевич, Ю. С. Мартемьянов (Москва), Л. Н. Засорина (Ленинград), В. А. Федосов (Волгоград), Н. О. Шенгелая (Тбилиси), В. Н. Мороз (Ташкент) и др.

Состоявшийся на конференции обмен мнениями по теоретическим вопросам языкознания был бесспорно полезен для дальнейшего развития советского языкознания. В ходе дискуссии выявились некоторые основные тенденции развития современного языкознания. На конференции подчеркивалась важность изучения содержательной стороны языка, исследования языковой структуры в широком плане как с синхронной, так и с диахронной точек зрения. Наряду с дальнейшим углублением анализа философских проблем языкознания, вопросов общественной природы и функционирования языка в обществе, типологии языка, лингвистической семантики и методов лингвистических исследований на конференции признано необходимым усиление разработки ряда других направлений советского языкознания, в частности сравнительно-исторического изучения языков народов СССР.

На заключительном пленарном заседании В. И. Борковский отметил, что обсуждение актуальных вопросов теоретического языкознания явилось подведением итогов теоретической работы советских лингвистов и новым стимулом дальнейшей разработки теории марксистского языкознания.

Существенным недостатком конференции явилась чрезмерная перегруженность повестки дня докладами и сообщениями, что не позволило в полной мере развернуть творческую дискуссию по наиболее важным проблемам теоретического языкознания и дать должную оценку высказанным взглядам и соображениям.

В. Я. Дерягин, М. А. Кумахов (Москва)

*

11—16 октября 1974 г. в пригороде Бостона Кембридже и местечке Амерст, штат Массачусетс, проходила первая советско-американская конференция «Новейшие теоретические и методические разыскания и преподавание русского языка в колледжах и университетах США». Конференция была подготовлена и проведена оргкомитетом под председательством профессоров Р. Брехта (Гарвардский ун-т) и Д. Дэвидсона (Амерстский колледж), по инициативе и при поддержке Гарвардского, Колумбийского, Принстонского и Вирджинского университетов, Массачусетского технологического института и других ведущих вузов США при активном участии советского Института русского языка им. А. С. Пушкина.

Конференция вызвала очень большой интерес: в ней участвовало около 500 американских русистов, советская делегация и гости из Австралии, Канады, Мексики и Швеции. Было прочитано 67 докладов и сообщений; работа проводилась по секциям в соответствии с аспектами языка и методики, но заседания секций проходили последовательно и все желающие могли участвовать в работе всех секций. Доклады были сгруппированы так, что после каждых четырех докладов было время для свободной дискуссии, в которой всего приняло участие свыше 100 человек. Тезисы основных докладов были опубликованы брошюрой на ротаторе, и многие докладчики размножили свои доклады в виде «препринтов» и раздали их слушателям. Полностью материалы конференции предполагается опубликовать отдельным томом в 1975 г.

В своем приветствии участникам конференции президент МАПРЯЛ акад. М. Б. Храпченко выразил надежду, что в обстановке международной разрядки и укрепления советско-американских отношений изучение русского языка в США поднимется на новую ступень. Конференция вполне подтвердила эту надежду как своим масштабом, так и высоким научным уровнем, которому способствовало участие в ней таких видных американских ученых и педагогов, как К. Досон, Ч. Таунсенд, М. Халле, Х. Лант, М. Шапиро и др. На конференции обсуждались первые результаты работы совместного советско-американского авторского коллектива по написанию

серии учебников русского языка для колледжей и университетов США; с большим успехом прошел показательный урок по материалам учебника первого года из этой серии. Члены советской делегации, выступившие с докладами по важнейшим вопросам лингводидактики, провели также шесть практических занятий типа семинаров (американцы называют их «мастерскими»— work-shops). Советский вклад в работу конференции был весьма заметным и вызвал высокую оценку всех участников.

Конференция обсудила практически все лингвистические и методические проблемы, признающиеся актуальными в преподавании русского языка. Характерно при этом внимание к ряду проблем, не кажущихся сложными при изучении русского языка и обучении ему в среде его носителей: настойчивый поиск формальных критериев для определения смысла с использованием трансформационных операций, попытки выведения инвариантов значения на разных уровнях языковой системы и правил синтеза их формальных показателей и т. п. Если в выдвижении этих проблем можно усмотреть влияние господствующих общеязыковедческих идей, а не только давление практического восприятия русского языка через призму английского, то в широком и остром обсуждении проблемы основы глагола, соотношения времен в частях сложного предложения и в целом тексте и т. п. повинно, несомненно, второе. Это было заметно при обсуждении вида, времени, модальности, префиксации глаголов, безличных предложений, порядка слов, актуального членения, лексико-семантических групп, стилистики, морфологии, фонологии, интонации, ритма и акцентуации. Иными словами, конференция наглядно показала, что широкое изучение русского языка в нерусской языковой среде не только ставит утилитарно-педагогические проблемы, но стимулирует новый, своеобразный подход к научному описанию русского языка в целом, к решению общетеоретических задач «большой лингвистики».

Конференция показала, что лингвистика и собственно методика в сфере преподавания русского языка имеют явную тенденцию все больше смыкаться и индуцировать друг друга. Примером может служить обсуждение проблем лингвострановедения, вовлекающего в обсуждение еще и данные культуры, истории, социологии. Из собственно методических наибольший интерес, кроме общих вопросов, вызвали проблемы чтения и отбора материалов для чтения, аудирования и разговорной речи, перевода. Остро обсуждались принципы строения современного учебника русского языка с учетом деления курса обучения на начальный, промежуточный и продвинутый этапы, границы которых часто совпадают с годами обучения в колледжах и университетах: первым, вторым и третьим. Самое понятие «учебника» все больше тяготеет к пониманию его как комплекса разных средств, а не только и не столько просто книги: звуковые приложения, слайды и т. п.

Комплекс методических докладов (Дж. Огеро — ун-т штата Вашингтон, Д. Дэвидсон — Амерстский колледж, Л. Хайен — Гавайский ун-т, Н. Баранова — Гарвардский ун-т, Л. Полушкина — Куинс-колледж, Дж. Холбрук — Военное училище в Уэст-Пойнте и многие другие), с одной стороны, отражает круг проблем, общий как для советской, так и для американской методики преподавания русского языка как иностранного: минимизация и «регуляризация» языка, коммуникативно-ситуативная ориентация учебного процесса, концентрически-поэтапное изучение языковой системы и т. д.; с другой стороны, он свидетельствует о любопытных расхождениях в расстановке акцентов за пределами этого общего круга проблем, а именно: американские методисты проявляют повышенный интерес к морфонологии, морфологии и словообразованию, т. е. к тем областям, в которых пролегает наиболее резкая типологическая граница между русским и английским языком. Не без влияния методики преподавания английского языка как иностранного (работы Ч. Фриза, Р. Ладо и др.) в советской методике преподавания русского языка как иностранного была преувеличена роль синтаксических моделей, синтаксиса вообще, в то время как американские методисты-русисты напоминают нам о центральном положении слова в структуре русского языка с его разветвленной морфологией и относительно свободным порядком слов.

В докладе О. П. Рассудовой (Институт русского языка им. А. С. Пушкина) о категории вида излагалась концепция асимметричности видовой оппозиции, активного участия категории вида в формировании семантики высказывания и зависимости вида от контекста. Докладчику представляется эффективным связывать вид с определенным набором контекстов, каждый из которых может служить образцом для продуцирования большого количества конкретных высказываний. Видо-временным формам русского глагола и применению одноосно́вного метода Р. О. Якобсона и семантического метода Ю. С. Маслова был посвящен доклад В. Гребенщикова (Карлтонский ун-т). В докладе Р. Брехта (Гарвардский ун-т) говорилось об употреблении глагольных времен в тех предложениях, в которых в английском языке действует правило «согласование времен». При обсуждении этого доклада выяснилось, что описание одних и тех же соответствий в употреблении времен для

англичан и американцев, изучающих русский, и для русских, изучающих английский язык, имеет глубокие и принципиальные лингвистические различия. В докладе Л. Крофта (ун-т штата Аризона) анализировалась в контрастивном плане категория модальности. Автор не пользовался термином «функционально-семантическая категория», введенным А. В. Бондарко. Л. Крофт рассматривает грамматическую категорию наклонения, модальные слова (modal words): *безусловно, небось, мол, дескать, явно* и под., модальные вспомогательные элементы (modal auxiliaries): *мочь, следовать, нужно, надо, можно, нельзя* и под. в единой системе функционально-семантических (по существу) координат.

В докладе Л. Ньюмана (ун-т штата Огайо) от категории лица отделяется (как это обычно делается) 1 и 2-е как особая категория, противопоставляемая категории 3-го лица. В докладах Р. Шупбаха (Стэнфордский ун-т), Д. Хэнсона (Брандейсский ун-т), М. Флайера (Калифорнийский ун-т), Д. Судаковой (Индианский ун-т) рассматривались различные стороны глагольной префиксации с учетом работ Ю. С. Маслова, А. В. Бондарко и др. Эти доклады носили очень частный, скорее чисто лексикологический, чем лексико-грамматический обобщенный характер. Хотя понятие способа действия (Aktionsart) и фигурировало в них, тем не менее сколько-либо широкие обобщения отсутствовали ввиду ограниченности обследованного материала.

В докладе К. Нэйлора (ун-т штата Огайо) на основе противопоставления форм типа *три интересных часá* и (*после*) *этого интересного чáса* делается вывод о наличии в русском языке особой «квантификативной» падежной формы, отличной от формы род. падежа ед. числа. Доклад А. Тимберлейка (Калифорнийский ун-т в Лос-Анджелесе) был посвящен анализу род. падежа при отрицании. Автор утверждает, что эта особенность глагольного управления как обязательное грамматическое правило уходит из современного русского языка, лексикализуется.

Горячо обсуждались вопросы синтаксиса. Доклад С. Уэйлен (Торонтский ун-т) о безличных предложениях основывался на модели Филлмора, различающей, с одной стороны, общие для ряда языков глубинные отношения синтактико-семантических ролей, обозначаемых как: предикаторы, лицо-предмет, испытывающий действие (experiencer), лицо-предмет, в интересах которого совершается действие (designative), объект, место и время, и, с другой стороны, цепочки словоформ в поверхностной структуре, синтаксические роли (значения) которых — такие, как: безличный глагол или глагол в личной форме, лицо (деятель) в дат. падеже, различные способы выражения обстоятельств места и времени и т. п., — которые являются характерными только для одного языка (например, русского) и по-другому выражаются в английском (при идентичности глубинных отношений для обоих языков). В этом докладе оставалось проблематичным следующее: поймет ли студент тонкие различия синтаксических вариантов личного и безличного предложений (*Вода залила подвалы*; *Водой залило подвалы*), даже если он овладеет формальным аппаратом установления соответствий в глубинной структуре? В этой связи доклад Н. А. Лобановой (МГУ) о лингвистическом эксперименте как средстве семантической дифференциации вариантных синтаксических структур (*Документы не были обнаружены*; *Документов не было обнаружено*, *Памятники не сохранились*; *Памятников не сохранилось*), не использующий понятия глубинной структуры и применяющий только контекстные видоизменения в поверхностной структуре (лингвистический эксперимент в понимании А. М. Пешковского и Л. В. Щербы, или элементы трансформационного анализа в современном смысле), по стечению обстоятельств оказался противопоставленным модели Филлмора, применяемой С. Уэйлен, и по существу дал более простые, обозримые и понятные правила с большой объяснительной силой.

Доклад Ж. Гандел (ун-т штата Огайо) о наречиях *тоже* и *также*, опирающийся на актуальное членение предложения, и доклад Г. А. Битехтиной (МГУ) о наречиях *очень, много, сильно, тяжело* и под., оперирующий понятием лексико-синтаксической сочетаемости, еще раз показали принципиальную возможность различных решений синтаксических проблем. В частности, участники дискуссии указали на возможность лексического решения вопроса о наречиях *тоже* и *также* без привлечения понятия актуального членения [1]. Много споров вызвало сочетание *тяжело работать*, звучащее по-русски очень натянуто и искусственно, не в пример своему английскому прообразу *to work hard*, отличающемуся высокой речевой частотностью и естественностью. Этот спор перерос в интересную дискуссию об объективности

[1] Надо сказать, что на кафедре русского языка для иностранцев гуманитарных факультетов МГУ уже давно правильное употребление слов *тоже* и *также* связывается с особенностями актуального членения высказываний, содержащих эти слова. В таком же плане было построено сообщение Е. В. Падучевой «О словах, не входящих в словосочетания» на Всесоюзной научной конференции по теоретическим вопросам языкознания, проходившей в Москве в ноябре 1974 г. (см.: ВЯ, 1975, 3, стр. 145).

критериев в области лексической сочетаемости слов, об интерференции английского и русского языков в речи русских, проживающих в США, и даже о принципах установления эквивалентов в двуязычной лексикографии.

Дискуссия по синтаксическим вопросам приобрела общетеоретический характер после полемического доклада Е. Н. Чвани (Массачусетский технологический ин-т), называвшегося в тезисах на английском языке «Proceed with caution», что автор, читавшая его по-русски, сама перевела как «Лингвистика — палка о двух концах».

Е. Н. Чвани призывает к большой осторожности при включении приемов и результатов теоретического языкознания в лингводидактику. Это привлечение таит в себе две опасности: 1) современная лингвистика больше всего интересуется универсалиями, которые бесполезны в практике преподавания иностранных языков; 2) современная лингвистика стремится к широчайшим обобщениям, а практика преподавания — к искусственному ограничению материала и к быстрой, хоть и временной систематизации этого ограниченного материала, к систематизации, которая может и не совпасть со «строгим» лингвистическим описанием. Современные синтаксические теории лучше упорядочивают свой материал, но весьма вероятно, что преподавание иностранных языков, в особенности русского, и в будущем будет по преимуществу опираться на морфологию, так как это самое трудное для американского студента.

Докладчик убежден, что дескриптивная лингвистика вообще и трансформационная модель Н. Хомского в частности не являются оптимальными моделями реального психолингвистического процесса практического усвоения иностранного языка. К недостаткам дескриптивизма относятся не допускаемое его адептами смешение уровней и их излишне жесткая иерархизация, пренебрежение к семантике (не только лексической, но и грамматической), ориентация только на текст, увлечение формальной записью лингвистических отношений без какой-либо принципиальной оглядки на естественные возможности рядового носителя языка, атомизация лингвистических единиц в ущерб их интеграционным отношениям и другие.

Участники развернувшейся после доклада Е. Н. Чвани дискуссии указывали также на то, что немаловажную роль играет нетерпимость и агрессивность приверженцев дескриптивизма и трансформационизма в научно-этическом плане, их претензия не на один из возможных путей построения лингвистической теории, а на единственно правильную теорию, причем все конкурирующие с ними теории отвергаются. В этом плане очень характерно звучала также полемика между М. Шапиро и Х. Лантом и их сторонниками по вопросу понимания существа грамматического анализа и по более общим проблемам.

Эта дискуссия при всей своей остроте относилась, так сказать, к сугубо внутренним делам американской лингвистики. В среде американских лингвистов и педагогов (особенно среди самых молодых) ощущается упрямое противодействие тоталитарным устремлениям дескриптивизма и трансформационизма, хотя, как нам показалось, у этих молодых людей еще нет своей собственной положительной программы. В этой дискуссии приняли участие Е. Н. Чвани, Л. Бэбби, М. Лаунер, А. Тимберлейк, Р. Бейкер, В. Гребенщиков и мн. др. В ходе дискуссии выкристаллизовалось понятие о различных критериях истинности в лингвистике и методике.

Среди других докладов, посвященных синтаксису, интересно было познакомиться с результатами, по-видимому, фундаментального исследования Й. Николс (Калифорнийский ун-т в Беркли) по классификации русских переходных глаголов, тонкое и изящное изложение Э. Кленин (Гарвардский ун-т) лексико-грамматического вопроса о местоимении-частице *себя* (*себе* и т. п.) и частице *-ся*. Доклад Л. Бэбби (Корнелльский ун-т) о недостаточности причастно-деепричастных форм у некоторых русских глаголов был выдержан в духе трансформационной модели и в ходе дискуссии был подвергнут критическому разбору М. Лаунером. К чести Л. Бэбби, он не стал доказывать непререкаемость трансформационного метода, а указал на его научно-исторические корни в методике лингвистического эксперимента Кирпичникова, Буслаева, Пешковского и Щербы, заключив: «So I'm not in a bad company» («Не в такой уж я дурной компании»).

Бо́льшая часть фонетических докладов была посвящена вопросам ударения и интонации, именно семантике интонации. Речь шла о различительных признаках звучащей речи. Неадекватность традиционной таксономической и стандартной генеративной фонологии была показана в докладе У. Дэниэлса (ун-т штата Огайо), который предложил взамен их свою «естественную фонологию», учитывающую особенности русского произношения и его специфические трудности для носителей английского языка. Дж. Лэйк (ун-т штата Массачусетс в Амерсте) в своем докладе проводил мысль о том, что объяснение русского синтаксиса, в частности, порядка слов и актуального членения может быть эффективным только при учете фразового ударения. М. Бэнсон (ун-т штата Пенсильвания), Дешембрайн, М. Лаунер (ун-т штата Флорида) и Е. А. Брызгунова (МГУ) говорили о проблемах

интонации, причем Е. А. Брызгуновой пришлось также самой продемонстрировать значения, выражаемые интонацией, и объяснить их на материале лексико-грамматических составов с местоименными и наречными словами (*какой*, *сколько* и др.).

По оценке советских специалистов, знакомившихся с материалами конференции, американские доклады по акцентуации, морфологии и альтернациям (М. Конноли — Бостонский колледж, М. Левин — ун-т штата Массачусетс в Амерсте, Р. Стил — Гарвардский ун-т, М. Элсон — Гарвардский ун-т, А. Донченко — Миннесотский ун-т, М. Халле — Массачусетский технологический ин-т, Х. Лант — Гарвардский ун-т, М. Шапиро — Калифорнийский ун-т в Лос Анджелесе и др.) не содержат каких-либо принципиально новых и лингводидактически конструктивных идей по сравнению с соответствующими советскими работами. Так, в дискуссии по докладу М. Халле, посвященному русскому ударению, высказывались сомнения о возможности реального использования на практике предложенных правил русского ударения. Правила М. Халле скорее объясняют передвижение (условия) ударения. В докладе Х. Ланта по морфонологии некоторое упрощение морфонологических правил, изложенных исчерпывающим образом, например, В. А. Редькиным в «Грамматике современного русского литературного языка» (М., 1970), достигается за счет произвольных пропусков некоторых блоков правил, причем, как правило, из числа наиболее тонких.

Надо сказать, что в преподавании русского языка в США большие надежды возлагаются на одноосно́вную теорию русского глагольного формообразования, выдвинутую более 25 лет назад Р. О. Якобсоном и переживающую сейчас «второе рождение»[2]. Об этом говорилось в докладах Р. Ч э н н о н а (Массачусетский технологический ин-т), Х. А н д е р с е н а (ун-т штата Нью-Йорк в Олбани) и В. Г р е б е н щ и к о в а (Карлтонский ун-т).

В области лексики и лингвострановедения было сравнительно немного докладов. Р. Б и э р д (Бакнелльский ун-т) и Ч. Т а у н с е н д (Пристонский ун-т) говорили о необходимости системного изучения лексики с учетом потенциального словообразовательного словаря, регулярной многозначности, интересной этимологии и т. п. Эти явления должны учитываться в словарных глоссах учебников и книг для чтения, о которых специально говорили П. Ф и ш е р (Хьюстонский ун-т в Клиэр Лэйк), Д. Д э в и д с о н (Амерстский колледж) и П. Н. Д е н и с о в (Институт русского языка им. А. С. Пушкина). К этой группе докладов примыкает и доклад Р. Б е й к е р а (Миддлберский колледж), посвященный проблемам англо-русского перевода на начальном этапе: * *Он шел по улице и превратился в магазин* (*turned into a shop*); * *Мы не хотели зацепиться* (*get stuck*) *в Лондоне*; * *У нас в гостиной есть большое пожарное место* (*fireplace*). По мнению Р. Бейкера, такие сложные вопросы, как употребление видов или порядок слов, можно освоить только при помощи упражнений в англо-русском переводе. В докладе Е. М. В е р е щ а г и н а и В. Г. К о с т о м а р о в а (Институт русского языка им. А. С. Пушкина) был дан краткий обзор проблематики советского лингвострановедения (culture-oriented language teaching). В известном смысле к лингвострановедению можно отнести также доклад И. У а й л а (Северо-Западный ун-т), посвященный беспереводному толкованию поэзии А. С. Пушкина с музыкальным и вокальным сопровождением.

Освещение докладов по обучающим машинам и автоматизации лингвистических исследований (Л. Бернхард — Ратчерский ун-т, Х. Олмстед — ун-т штата Нью-Йорк в Кортлэнде, Э. Пурселл — Южно-Калифорнийский ун-т, К. Досон — Иллинойский ун-т, Д. Курбурлис — ун-т штата Айдахо, Ф. Инграм — Мичиганский ун-т и мн. др.) потребовало бы слишком много места [3]. Скажем только, что эти работы опираются на машины четвертого поколения, строятся по принципу: мощный вычислительный центр с практически бесконечной памятью и огромное количество индивидуальных терминалов телефонного или телевизионного подключения. В перспективе имеется в виду создание коммерчески конкурентноспособной общенациональной системы самообразования, опирающейся на сеть вычислительных центров и на каналы телевидения как средства соединения центра с терминалами.

Из технических средств обучения демонстрировалась, в частности, обучающая система PLATO IV (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations), состоящая в принципе из вычислительного центра в Чикаго с большим объемом памяти и удаленных от него на значительные расстояния индивидуальных терминалов, связанных с центром по междугородному телефону. Эти терминалы, напоминающие обычный коммерческий телевизионный приемник, позволяют «набрать» любой урок курса, прочитать объяснение и выполнить серию упражнений, причем на экране

[2] R. J a k o b s o n, Russian conjugation, «Word», 4, 3, 1948.

[3] Сошлемся на статью: C. C u r t i n [e. a.], Teaching the translation of Russian by computer, «The modern language journal», LVI, 6, Oct. 1972.

возникает ответ «правильно — неправильно».

Первая советско-американская конференция продемонстрировала, что в США серьезно развивается как теоретическая, так и учебно-практическая русистика. Характерно, что значительная часть докладов и свободных дискуссий проходила на русском языке. Конференция дала толчок новым исследованиям, создала реальную основу для регулярных научных контактов советских и американских русистов, обсудив и одобрив ведущуюся уже более года совместную работу над серией учебников русского языка для университетов и колледжей США. Конференция имела и очевидное общественно-политическое звучание, о чем говорит уже тот факт, что при открытии ее участников приветствовали ответственные представители ряда авторитетных ведомств, в частности Государственного департамента США.

П. Н. Денисов, В. Г. Костомаров (Москва)

*

15—16 января 1974 г. в Институте славяноведения и балканистики АН СССР *состоялся* Симпозиум *по* грамматической типологии современных балканских языков (второе занятие постоянно действующего в Институте Семинара по балканистике). Предварительные материалы симпозиума опубликованы *отдельной брошюрой, в которой* помещен также подготовленный Т. В. Цивьян обзор основных изданий по современной лингвистической балканистике с приложением выборочной библиографии [1].

В докладах, прочитанных на симпозиуме, рассматривались как общие проблемы *балканского языкового союза* (БЯС) — построение общей грамматической схемы БЯС, критерии типологической характеристики балканских языков, так и более частные проблемы, касающиеся конкретных грамматических схождений в системе БЯС.

Одному из вопросов исторической диалектологии албанского языка в связи с межъязыковой интерференцией был посвящен доклад А. В. Десницкой (Ленинград) «Взаимодействие языков и историческая диалектология (из истории славяно-албанских языковых контактов)». Обнаруживаемое на территории албаноязычного ареала сходство фонетического развития всех гегских и одного изолированного тоскского (ляберийского) говоров в противоположность консерватизму остальной части тоскского диалекта А. В. Десницкая объясняет как результат общих фонетических тенденций, внутренне закономерных для албанского языка. Напротив, своеобразному консерватизму севернотоскского диалектного типа мог способствовать албано-славянский билингвизм, характерный для северной Тоскерии в период раннего средневековья. На юго-западе тоскского диалектного ареала в горах Ляберии примесь славянского населения была незначительной, и развитие фонетической системы говора, не задержанное влиянием внешних факторов, шло параллельно развитию гегского диалекта.

Три доклада было посвящено проблеме инфинитива в системе БЯС. М. А. Габинский (Кишинев) в докладе «Диахронно-типологические аспекты балканских сдвигов в сфере инфинитива» квалифицировал наблюдаемое в балканских языках возникновение инфинитива из имени действия как частный случай чисто эндогенного в разных балканских языках типа развития, прослеживаемого во многих языках мира. Напротив, утрату инфинитива в балканских языках он считает типологически необычным экзогенным явлением (при принятии субстратно-билингвистического ее объяснения) или, если и эндогенным в одном балканском языке (что сомнительно), то представляющим лишь свой собственный случай (при принятии греческого источника утраты).

В докладе Вяч. Вс. Иванова (Москва) «К типологическому и сравнительно-историческому исследованию инфинитива в балканских и других индоевропейских языках» была подвергнута сомнению теория автохтонного источника утраты (или сокращения) инфинитива в балканских языках. Хотя типологически наличие инфинитива в системе глагола не является обязательным, а в общеиндоевропейском единообразный инфинитив отсутствовал, тем не менее все и.-е. языки еще до своей письменной фиксации начали развитие в сторону создания инфинитива. Отсюда следует, что гипотеза об отсутствии инфинитива в древних и.-е. языках Балканского п-ова не может быть обоснована сравнением с другими родственными языками. Показательно наличие в албанском значительного числа и.-е. типов от причастных имен. Автор указывает, что при интенсивном двуязычии в условиях устного общения (балканская ситуация) инфинитив вытесняется в силу самой специфики этой категории по сравнению с другими глагольными категориями (с точки зрения трансформационной грамматики).

А. Б. Черняк (Ленинград) в докладе «К вопросу о реликтах первичного албанского инфинитива в тоскском» высказался против гипотезы М. А. Габин-

[1] «Симпозиум по грамматической типологии современных балканских языков (15—16 января 1974 г.). Предварительные материалы», М., 1973.

ского [2] об общеалбанском характере первичного албанского инфинитива типа *me ba*, предлагая рассматривать оборот *do me thënë* «значит» не как реликт инфинитива в тоскском, а как тоскизированный гегизм, а также подвергая сомнению возможность усматривать реликт инфинитива в причинном деепричастном обороте *me qënë*.

Ряд докладов был посвящен анализу структуры глагола в балканских языках (синтаксис, грамматическая интерференция, происхождение некоторых категорий). В. Ю. Розенцвейг (Москва) в докладе «О синтаксисе глаголов и синтаксисе инфинитивных предложений» рассмотрел два способа лингвистического описания синтактики слова и синтаксических правил, использующих эти сведения при анализе и синтезе предложения. При первом способе описания основная информация, необходимая при обращении со словом в ходе построения и разбора предложения, сообщается в словаре. Второе описание опирается на грамматику, сообщая здесь информацию, требующуюся для анализа и синтеза предложения, в том числе и сведения о синтаксических свойствах слов, используемых в предложении. По мнению докладчика, вопросы операционного описания имеют отношение к диахроническим описаниям (особенно синтаксической конвергенции контактирующих языков). Так, вытеснение инфинитивной конструкции придаточным предложением следует описывать, исходя из изменений синтаксических свойств глаголов, вводящих такого рода синтаксические построения, т. е. подходить к рассматриваемому изменению нужно со стороны словаря, учитывая особенности речевой коммуникации в условиях контакта.

А. П. Сытов (Ленинград) в докладе «Видо-временные системы болгарского, новогреческого и албанского языков», перечислив ряд сходств в строении и функционировании названных систем, пришел к выводу, что специфика этих систем определяется фактом одновременного наличия в них как унаследованных форм аориста, имперфекта и презенса, так и более поздних по образованию аналитических форм относительного времени.

В докладе «К вопросу о генезисе модальных категорий болгарского индикатива», построенном с привлечением материалов современных говоров, а также письменных памятников, Е. И. Демина (Москва), рассмотрев последовательности изменений системы болгарского глагола, приходит к выводу, что развитие указанных категорий характеризуется не только хронологически-территориальной неравномерностью, но и неравномерностью появления конкретных инноваций, преобразовывавших систему формально-семантических оппозиций индикатива.

В докладе Л. А. Покровской (Москва) «Методика исследования синтаксических особенностей гагаузского языка и балкано-турецких диалектов» сопоставительный анализ материала контактирующих языков предлагается вести на основе всей системы синтаксических средств, имеющихся в данных языках, поскольку средства выражения синтаксических отношений являются определяющими элементами структуры предложения и по своим типам (их четыре) сопоставимы в языках различного грамматического строя. Сделанный докладчиком вывод о сближении структуры гагаузского предложения с таковой болгарского и русского языков и о наличии регулярных изменений морфолого-синтаксических средств гагаузского языка проиллюстрирован образованием новых структурных типов сказуемого в гагаузском языке, не свойственных другим тюркским языкам.

Т. Н. Свешникова (Москва) в докладе «О грамматических трансформациях румынских конструкций с конъюнктивом в аспекте БЯС», рассмотрев более десяти синонимичных конъюнктиву конструкций, признала их в определенном смысле изоморфными на морфологическом уровне.

В докладе А. В. Жугры (Ленинград) «Албанские материалы для сопоставительной аспектологии» рассматривалось несколько типов аналитических конструкций, способных выражать аспектуальные значения. В частности, конструкции, образованные с помощью глагола *jam* «быть» и деепричастия, характеризуются признаком имперфективности, тогда как формы презенса (и имперфекта), сопровождаемые частицей *po*, выражают прежде всего признак актуальности действия.

В докладе Т. Б. Менской (Москва) «Морфологическая адаптация турецких глагольных заимствований в болгарском языке (категория непереходности/переходности)» отмечалось, что при взаимодействии турецкой и болгарской глагольных систем не происходило выделения иноязычной морфемы из большого числа заимствованных лексем и включения ее в систему словообразовательных средств заимствующего языка. Сопоставление результатов морфологической интерференции двух неродственных языков (турецкого и болгарского) и двух родственных (греческого и болгарского) обнаруживает неразложимость заимствований при интерференции из неродственного языка в отличие от разложимости заимствований из родственного.

В докладе К. И. Логачева (Ленинград) «Классификация балканских языков с точки зрения структуры речевых

[2] М. А. Габинский, Появление и утрата первичного албанского инфинитива, Л., 1970.

вариантов» предложены четыре критерия типологической классификации, имеющих отношение к структуре речевых вариантов (под речевыми вариантами понимаются разные типы отрезков речи, имеющие естественные границы,— высказывания, реплики), а именно: наличие — отсутствие 1) полипросопии, 2) морфологического выражения притяжательности, 3) падежных форм имен, 4) членных форм имен.

О. С. Широков (Москва) в докладе «Новогреческие и албанские падежи», сравнив системы падежных отношений новогреческого и албанского языков, а также говора албанцев Украины, пришел к выводу о том, что система бессарабско-албанских именных парадигм может служить типологической параллелью к реконструируемому протогреческому склонению.

Ю. А. Лопашов (Ленинград) в докладе «К интерпретации местоименной репризы дополнения в балканских языках» отметил, что краткие местоимения дублируют дополнение, обозначающее как определенный, так и неопределенный предмет. Причины появления и грамматикализации репризы докладчик видит в стремлении говорящих разграничивать с ее помощью синтаксически омонимичные формы, а также в наличии в балканских языках глаголов, выступающих как переходные и непереходные.

В докладе Т. В. Цивьян (Москва) «Предложения по сопоставительной грамматике балканских языков» были изложены принципы системного описания БЯС в терминах сопоставительной грамматики балканских языков. Грамматика такого рода соответствовала бы модели некоего метаязыка, с указанием способов перехода к каждому из конкретных языков. При этом должны учитываться следующие требования: 1) однородное описание синтаксических систем отдельных языков, что достигается описанием с помощью элементарных синтаксических конструкций, приводимых затем в соответствие с основными логико-грамматическими единицами, конституирующими фразу, 2) сведéние полученных описаний воедино и построение общей синтаксической системы БЯС.

Специальное заседание симпозиума было посвящено проблеме грамматического выражения определенности/неопределенности (в рамках БЯС). Для того чтобы достигнуть однородных результатов описания категории определенности/неопределенности на материале разных балканских языков, И. И. Ревзин в своем докладе предложил специальную анкету по описанию этой категории. Анкета призвана также служить организующим принципом в постановке проблемы и подготовить почву для подробного проспекта. По этой причине анкета содержит не только собственно языковую, но и метаязыковую часть, в которой сделана попытка выяснить, какие лингвистические вопросы вообще целесообразно привлекать для рассмотрения в связи с этой категорией, а также выявить точку зрения отвечающего и рассмотрение проблемы в соответствующей традиции. По многим вопросам в анкете дан комментарий (указание на литературу, примеры возможных ответов). Анкета ориентирована на структурно-системный подход к категории определенности.

В докладе Н. И. Толстого (Москва) изложены наблюдения над членом-артиклем и указательным местоимением в южнославянских диалектах. Подчеркнув генерализирующую функцию артикля как решающую для восприятия его в качестве отдельной категории или части речи, докладчик остановился на двух локальных и специфических моментах: 1) связь артикля и указательных местоимений может проявляться также в том, что сформировавшаяся (на базе указательных местоимений) система артикля иногда влияет на систему указательных местоимений в функциональном и даже в формальном (морфологическом) плане; 2) отмечено наличие связи артикля и относительных местоимений и наречий.

А. В. Жугра (Ленинград)

*

19—21 марта 1974 г. в Москве проходила конференция, посвященная проблемам «Лингвистики текста». Конференция была организована МГПИИЯ им. М. Тореза. В ней приняло участие 800 научных работников из пятидесяти городов Советского Союза, представителей 82 учебных и научных организаций, а также из четырех зарубежных стран (ВНР, ГДР, СРР, Швейцарии). На пленарных и секционных заседаниях было прослушано 73 доклада [1] и 27 выступлений.

Большое внимание на конференции было обращено на определение сущности лингвистического понятия текста. Текст определялся как явление, объективированное и от языка, и от речи, обладающее своей предикативностью и своей модальностью, отличной от предикативности и модальности предложения. Такая постановка проблемы, как отметил И. Р. Гальперин (Москва), открывает широкие перспективы изучения функционального аспекта языка.

Рассматривались семантические, грамматические, фонетические, коммуникативные, стилистические и другие характеристики текста как смыслового единст-

[1] См. «Материалы научной конференции „Лингвистика текста“», ч. I, II, М., 1974.

ва, с особым вниманием при этом к психологической основе «феномена цельности» текста (доклад А. А. Леонтьева, Москва). А. Д. Швейцер (Москва) в докладе «Социально-коммуникативный анализ текста» рассмотрел вопросы вариативности языковых средств с точки зрения факторов, определяющих их выбор в процессе коммуникации.

Проблема семантической структуры текста была в центре внимания докладов Г. В. Колшанского (Москва) и В. Г. Гака (Москва). Было обращено внимание на то, что коммуникативная сущность текста связана с исследованием его смысловой стороны, т. е. с определением *лингвистических, психологических* и гносеологических признаков текстовых фрагментов (доклад Г. В. Колшанского). Номинативный аспект выделен как основной аспект текста, поскольку язык в своем функционировании так или иначе обнаруживает соотнесенность с обозначаемыми им внеязыковыми объектами, реально существующими или мыслимыми (доклад В. Г. Гака). В докладе Л. С. Бархударова (Москва) «Текст как единица языка и как единица перевода» рассматривался вопрос о выявлении и установлении правил текстообразования, что имеет, как было подчеркнуто докладчиком, прямое отношение к теории перевода, поскольку «эквивалентность в переводе осуществляется, прежде всего, на уровне текста в целом». Г. В. Степанов (Москва) в своем докладе коснулся вопросов соотношения текста как целого и его конституентов, в частности слов, в художественном тексте. И. И. Чернышева (Москва) в своем докладе «Текстообразующие потенции фразеологических единиц» обратила внимание на одну малоисследованную область фразеологии, связанную с функциональным аспектом языка, а именно на «вторичные семантические процессы», которые можно наблюдать при функционировании фразеологических единиц в различных актах коммуникации. В докладе В. Д. Левина (Москва) «Структура художественного текста и история литературного языка» рассматривались вопросы организации текста в диахронном плане, предполагающем изменение принципов и приемов его построения. Проблемы текста в связи с функциональными стилями обсуждались в выступлении В. Флейшера (ГДР).

В докладах и сообщениях по общим проблемам лингвистики текста основное внимание было обращено на коммуникативный аспект функционирования языка. Г. Г. Почепцов (Киев) в своем докладе подчеркнул тот факт, что первый уровень анализа, связанный с построением связной речи, лучше изучен, чем второй, предполагающий сложное текстовое целое. В докладе З. Я. Тураевой (Ленинград) «Опыт описания видо-временной системы английского глагола» рассматривался вопрос о зависимости языковых единиц от «глубинной структуры» текста в целом. Э. М. Медникова (Москва) посвятила свой доклад вопросам прагматического аспекта текста, которые были рассмотрены на материале словопроизводства и компрессии речи. В докладе И. Г. Торсуевой (Москва) и Л. С. Сержана (Орехово-Зуево) нашла отражение проблема смыслового членения и интонационной структуры единиц связного текста. Г. П. Щедровицкий (Москва) в своем докладе поставил вопрос о новых путях и возможностях исследования текста *в соответствии с современными* требованиями изучения механизмов порождения и функционирования языка. Данная программа, как подчеркнул докладчик, предполагает широкие связи лингвистики с такими областями, как семиотика, логика, теория коммуникации, психология, социология и т. д. В докладе Е. Ф. Тарасова (Москва) также подчеркивалась необходимость выхода за пределы внутрилингвистического анализа при разработке проблематики текста.

На конференции обсуждались проблемы коммуникативного аспекта текста в плане изучения функционирования языка, вопросы актуализации языковых единиц в тексте, проблемы связности и построения текста, анализ содержательной структуры текста, вопрос о классификационных особенностях текстов. Кроме того, уделялось внимание и диахроническому аспекту «лингвистики текста», а также месту текста в дихотомии языка и речи.

При обсуждении грамматических проблем в центре внимания стояли вопросы соотношения структурно-синтаксических и семантических характеристик текста. Ряд докладов, в частности, посвящен проблеме соотношения сложного синтаксического целого и абзаца.

Во многих докладах дана функционально-коммуникативная характеристика отдельных грамматических явлений на фоне целого текста. В связи с коммуникативным заданием текста рассматривались употребление залога, вопросы «имплицитных грамматических значений» на уровне текста, природа и «лингвистический статус сложного синтаксического целого», определяемого как «сверхфразовое единство».

На секции «Стилистические проблемы организации текста» целый ряд докладов был посвящен значимости разных элементов художественного текста для смысла текста в целом, рассмотрению различных структурных элементов текста, в частности, обсуждались вопросы абзаца как стилистико-синтаксической категории и был затронут вопрос о «макропредложении» как синтаксической единице

художественного текста, а также коммуникативный аспект художественного текста.

Были прочитаны также доклады, посвященные проблемам текста в связи с функционированием в нем фразеологических единиц, контекстуальным связям слова и фразеологизма в художественном произведении, психолингвистическому и семантическому аспектам стилевой организации текста, соотношению устной и письменной форм текста.

На конференции был обсужден целый ряд докладов, посвященных также проблеме формализации, автоматизации и статистической обработки текста, а также проблеме межфразовых характеристик текста.

На заключительном пленарном заседании был прослушан ряд докладов и выступлений по прочитанным докладам.

Подводя итоги конференции, И. Р. Гальперин подчеркнул необходимость поисков также новых направлений при изучении такого лингвистического явления, как текст.

Конференция показала высокий уровень теоретического решения многих лингвистических вопросов и поставила ряд актуальных задач прежде всего в области выработки понятийного аппарата лингвистики текста, однозначного метаязыка, а также методов исследования текста.

В. Г. Варина (Москва)

CONTENTS

Articles: R. A. Budagov (Moscow). What is the social nature of language?; V. Z. Panfilov (Moscow). The role of natural languages in reflecting reality and the problem of the language sign; **Discussions:** F. P. Filin (Moscow). Some problems of functioning and development of the Russian language; N. A. Syromiatnikov (Moscow). How to distinguish loans from indigenous cognates in Altaic languages?; A. V. Fillipov (Puškino, Moscow Region). Indirect and direct signs and descriptive denotation in languages and other communicative systems; S. I. Kokorina (Moscow). Realisation of structural sentence models; **Materials and notes:** V. I. Lytkin (Moscow). Permian—Iranian contacts; B. G. Guzev, D. M. Nasilov (Leningrad). Some views on the category of noun number in the Turkic languages; K. V. Lomtatidze (Tbilisi). On the nature of sonants and their correlative pairs; N. G. Mikhailovskaja (Moscow). The problem of language-norm in Old Russian; **Reviews; Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: R. A. Budagov (Moscou). Qu'est-ce que la nature sociale du langage?; V. Z. Panfilov (Moscou). La rôle des langues naturelles dans le reflet de la réalité et le problème du signe linguistique; **Discussions:** F. P. Filin (Moscou). Quelques problèmes du fonctionnement et du développement de la langue russe; N. A. Syromiatnikov (Moscou). Comment distinguer les emprunts et les mots du fonds commun dans les langues altaïques?; A. V. Filippov (Pouchkino, region de Moscou). Signes directs-indirects et dénotation descriptive dans les langues et autres systèmes communicatives; S. I. Kokorina (Moscou). Réalisation de modèles structuraux de la proposition; **Matériaux et notices:** V. I. Lytkin (Moscou). Contacts entre langues permiennes et iraniennes; B. G. Guzev, D. M. Nasilov (Léningrad). Une interprétation de la catégorie du nombre des substantifs dans les langues turques; K. V. Lomtatidze (Tbilisi). Sur la nature des sonantes et leurs paires corrélatives; N. G. Mixajlovskaja (Moscou). Problème de la norme linguistique en vieux-russe; **Comptes-rendus; Vie scientifique.**

The Editorial Board of the journal «Voprosy Jazykoznanija» expresses its appreciation to the Publishers who send us their books for review. The Editorial Board regrets that it cannot guarantee the reviewing of all the books received due to space limitations. Two offprints of each review will be sent to the Publishers. Books received are not returned.

*

Le Comité de rédaction de «Voprosy Jazykoznanija» tient à exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les Maisons d'édition qui lui font parvenir leurs nouvelles parutions pour critique. Le Comité de rédaction ne peut pas garantir la publication d'un compte-rendu pour chaque livre reçu à la redaction. Les comptes-rendus seront publiés selon les possibilités de la rédaction. Deux tirages-à-part seront envoyés en ce cas aux Maisons d'édition respectives. Les livres reçus à la rédaction ne sont pas rendus aux éditeurs.

*

Die Redaktion der Zeitschrift «Voprosy Jazykoznanija» spricht allen Verlagen, die uns Rezensionsexemplare zukommen lassen, ihren tiefempfundenen Dank aus. Die Redaktion gibt bekannt, daß leider nicht alle bei uns einlaufenden Bücher besprochen werden können. Die Rezensionen werden den Möglichkeiten unserer Zeitschrift entsprechend veröffentlicht. Der Verlag erhält zwei Sonderabdrücke. Die von der Redaktion erhaltenen Bücher werden nicht an den Herausgeber zurückgesandt.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 стр., объем рецензии — 10 стр. машинописи.

3. Все цитаты и ссылки в статье должны быть тщательно выверены по первоисточникам.

4. При ссылках (в тексте и сносках) необходимо придерживаться порядка: автор, название книги или статьи, название издания (для статьи), заключенное в кавычки, место издания, год издания, страницы. (Страницы, определяющие границы статьи в издании, указываются лишь в критико-библиографических обзорах.)

5. Все примеры на иностранных языках должны быть снабжены переводами. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

6. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

7. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

8. Непринятые рукописи, как правило, не возвращаются.

9. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

10. Хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни. Объем хроникальной заметки — 3—5 стр.

Технический редактор *Сенченко Т. Н.*

Сдано в набор 28/II-1975 г. Т.—04283 Подписано к печати 21/IV-1975 г. Тираж 7375 экз.
Зак. 1808 Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Усл. печ. л. 14,0 Бум. л. 5 Уч.-изд. л. 15,6

2-я типография издательства «Наука». Москва, Шубинский пер., 10